

● НИЗОСТЬ И ВЕЛИЧИЕ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО –
роман Леонида Цыпкина "Лето в Бадене"

● КАССИР ВЕЧНОСТИ –
новая пьеса Нины Воронель

● ДИР-ЯСИН: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ –
исследование историка Ури Мильштейна

● РЕЛИГИОЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА –
гипотеза Михаила Вайскопфа

● БОЖЕСТВЕННАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ –
эссе Ильи Рубина (к 10-летию его смерти)

51

22

№ 51

МИРОВАЯ И

МОСКВА - ВЪЮМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год*

51

декабрь 1986—январь 1987



*издание общественного культурного фонда
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством израильского комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3 *ЛЕОНИД ЦЫПКИН*. Лето в Бадене (окончание)
72 *НИНА ВОРОНЕЛЬ*. Кассир вечности (невеселая комедия в трех действиях)

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 133 *УРИ МИЛЬШТЕЙН*. Об израильских мифах: что произошло в Дир-Ясине?

ИСТОРИЯ

- 172 *ЛЕОНИД ПРАЙСМАН*. Погромы и самооборона

РУССКИЙ ВОПРОС

- 188 *МИХАИЛ ВАЙСКОПФ*. Религиозная революция Михаила Горбачева

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 198 *ИЛЬЯ РУБИН*. Кто был никем...

ИСКУССТВО

- 206 *ЭДУАРД КАПИТАЙКИН*. Любовь при свете прожекторов

ЛЮДИ И КНИГИ

- 222 *БОРИС КАМЯНОВ*. О чем стук, или халтура — мое ремесло

На последней странице обложки — ИЛЬЯ РУБИН (фото 1976 года)

ЛИТЕРАТУРА

Леонид Цыпкин

ЛЕТО В БАДЕНЕ

(окончание,
начало см. в № 50)

Они снова, как и в Дрездене, наняли комнаты у какой-то очередной немки, державшей пансион, со служанкой Marie, очень живой и смуглой девочкой, похожей на итальянку, — Анна Григорьевна считала, что ей лет четырнадцать, но оказалось, что восемнадцать, — такой на вид она была совершенный ребенок — веселая, хохотунья, с горластым на весь дом "Ja", но удивительно тупая, как, впрочем, все немцы и немки, — ни за что сразу не поймет, что ей скажут, да и замечай ей хоть раз сто одно и то же, она все-таки не станет замечать — к обеду никогда не приносит столовой ложки, — удивительно тупая, — во дворе дома, в котором они поселились, помещалась кузнечная мастерская, и с четырех утра там стучали молотом, а в соседних комнатах плакали какие-то дети, заливаясь и закатываясь, — и все же первые дни пребывания в Бадене были похожи на утро ясного летнего дня: когда ночью прошел дождь, все умыто — и зелень, и асфальт, и дома, и трамваи, красные, словно покрытые свежим лаком, — и ты идешь, торопишься куда-то в предвидении чего-то необычайного, счастливого, что непременно должно произойти сегодня, — и первое время пребывания в Бадене Феде действи-

тельно даже везло, и кушак Анны Григорьевны, или, как она его называла, “мещочек”, в который к моменту приезда было зашито 80 монет, за несколько дней солидно пополнился и на десятый день уже содержал 180 монет, или 3000 франков. Федя курсировал меж домом и вокзалом, где была рулетка, иногда по нескольку раз в день, то проигрывая, то выигрывая, но больше выигрывая, а проигрывая все больше случайно, когда его толкали во время ставки на rouge или noire, pair или impair или от кого-нибудь из толпившихся вокруг стола слишком пахло духами, поскольку здесь встречались и дамы, или когда мешали назойливые поляк с полячкой, мельтешившие перед ним, заслоняя красные цифры, на которые ему хотелось поставить, и он из-за них поставил на черные, и, конечно, проиграл. Иногда он брал с собой Анну Григорьевну, но она тоже мешала ему, он проигрывал и сердился, так что вскоре она сама решила, что не приносит ему счастья в игре и перестала ходить в вокзал, хотя он требовал и сердился из-за того, что она отказывается, — она стала совершать прогулки по Бадену и его окрестностям и однажды решила выйти на Zichtenhuler Allee, но вышла почему-то совсем в другое место — к католическому мужскому монастырю и, прогулявшись немного по монастырскому двору, повернула домой, а другой раз, пройдя версты две или три, она вышла к Старому замку, и там у входа висел матовый фонарь, и Анне Григорьевне все это показалось необычайно красиво, но ей было немного страшновато заходить так далеко, потому что она боялась споткнуться и упасть, чтобы не выкинуть будущих Сонечку или Мишу, а кроме того Федя, наверное, уже ждал ее в аллее на скамейке под старым каштаном — она издалека, по одному его виду, безошибочно угадывала, проиграл он или нет, — его черная шляпа лежала рядом, на скамейке, лицо было бледно, руки опирались на колени, будто он собирался подняться, он беспокойно озирался, вглядываясь в фигуры людей, показывающихся вдаль, в глубине аллеи — ей иногда становилось просто смешно, потому что он не замечал ее, даже когда она подходила к самой скамейке, и все искал ее взглядом где-то вдаль, иногда отрывая руку от колена, чтобы стереть платком капельки пота, выступившие на висках и затылке, — он смотрел на нее, но почему-то не видел, что это она, а все заглядывал куда-то в глубь аллеи, а она уже стояла подле него и почти смеялась — почти, потому что он мог принять это за насмешку, — “Я все проиграл”, — говорил

он ей, поспешно поднимаясь со скамейки, в то время как она усаживалась, чтобы отдышаться и обмахнуться веером, — “Где ты пропадала?” — он с недоверием окидывал ее взглядом с ног до головы, словно незнакомку, — через несколько минут они уже шли по направлению к дому по аккуратно вымощенным улицам, обсаженным аккуратно подстриженными деревьями, мимо аккуратных немецких домов с закрытыми от полуденного солнца ставнями — он чуть впереди, держа в руке свою черную шляпу, более похожую на котелок, — он купил ее в Берлине по настоянию Анны Григорьевны, но сейчас в ней было жарко, и кроме того она напоминала ему ту шляпу, которая была изображена в так называемом дружеском шарже, а попросту говоря, в карикатуре, помещенной в одном из номеров “Иллюстрированного альманаха” вскоре после опубликования “Господина Прохарчина” в “Отечественных записках” Краевского — на картинке он расшаркивался перед Краевским, держа в руке такую же точно шляпу, — впрочем, нет, кажется, шляпа была надета, и он только собирался ее снять — на рисунке она была непропорционально больших размеров, так же как и сама голова, так что туловище его и подчеркнута короткие ноги представляли собой как бы придаток к голове и шляпе — это без сомнения следовало понимать как намек на его преувеличенные представления о собственных умственных способностях и талантах, — а через несколько лет, когда он уже прошел каторгу и находился в ссылке — но даже это их не остановило — Панаева, этого фигляра со свисающими вниз и почему-то всегда мокрыми усами, и всю прочую компанию — в “Современнике” появилась заметка о том, что он, Достоевский, просит Некрасова печатать “Бедных людей” в золотой рамке, и все это подавалось в комическом виде, тоже с издевкой, — самое же ужасное заключалось в том, что в споре с кем-то из панаевцев, в запальчивости, почти теряя сознание от бешенства, до которого его довели, он на самом деле выкрикнул что-то насчет того, что по сравнению с тем, что печатается, так его могли бы и в рамке напечатать, чтобы понятна была читателям разница между настоящим литературным произведением и пошлостью, а заодно и некоторым писателям и критикам не мешало бы это знать — он намекал на этого лоснящегося Тургенева, первое время слушавшего его с выражением веселого удивления и даже наивного изумления, точно ему впервые приходилось столкнуться со столь оригинальным суждением, —

это выражение неподдельного участия приглашало куда-то дальше и дальше — хотелось еще больше изумить этого немножко наивного барина, увлечь его своими идеями, а заодно подогреть и себя самолюбивыми мечтами — все дальше и дальше, в глубь самого себя, раскрываясь до конца, потому что мысленно он уже видел себя парящим где-то высоко — вместе с Тургеневым, своим новым, но уже закадычным другом, к тому же столь почитаемым, что слава этого молодого, но уже знаменитого писателя становилась и его, Достоевского, славой, а слава его, Достоевского, еще начинающего, но уже тоже известного литератора, распространялась на Тургенева, и оба они, озаряя друг друга этой своей славой, обмениваясь ею, взаимно купаясь в ее лучах, парили над всеми, и эти все восхищались их необыкновенной дружбой, эдаким необычайным, неслыханным до этих пор сливанием сердец, — пока Тургенев не стал вдруг подставлять ему ножку, такую, на первый взгляд, невинную, что, казалось, он делал это случайно, ненароком, или даже по ошибке, — однако Достоевскому с каждым разом становилось все очевиднее, что он просто попадал в хитро сплетенный лабиринт, в невидимо составленные сети и беспомощно бился в них, пытаясь вырваться, — он вдруг видел себя сидящим на стуле перед этим высокомерным барином, ерзя, пытаясь встать, опираясь руками на колени, но тело не слушалось его; — он продолжал сидеть, то бледнея, то покрываясь краской, а вокруг все смеялись — над ним! над его дружбой! — и Тургенев, его кумир, небрежно облокотившись на спинку кресла, приставив к глазам холодно поблескивающий лорнет, тоже смеялся с остальными, чуть поглаживая рукой свою холеную бороду, — его намек в споре с кем-то из панаевцев относился также к Некрасову и даже к Белинскому, которые на литературных вечерах вдруг почему-то стали играть в преферанс — эдакое тупоумное занятие — усаживаясь за стоящий где-то в стороне, возле ниши, ломберный столик, словно его, Достоевского, и не существовало, — он нарочно, по несколько раз за вечер подходил к ним, заглядывая в карты, так что и сам уже понимал, что это становится неприлично, и покашливал, но они даже не поднимали головы, словно его вовсе и не существовало, — а однажды, находясь в гостях у Белинского, он прямо напросился к нему и к Некрасову в партнеры, но они, как только он стал усаживаться, поднялись и отошли в противоположный конец гостиной, где затеялся какой-то оживленный разговор об оче-

редной пассивности княгини Волконской и даже образовался небольшой кружок, — он сидел, стискивая ладони до хруста и боли в пальцах, зажав их между коленями, почти опираясь грудью на ломберный столик, — неужели это был тот Некрасов, который явился к нему тогда, поздно ночью — или рано утром? — на улице было светло, потому что стояли белые ночи — явился к нему, весь запыхавшийся, словно он бежал всю дорогу от своей квартиры до Графского переулка, где жил Достоевский, — явился, держа за спиной рукопись “Бедных людей”, словно подарок, — и неужели это был тот же Белинский, который, прочтя рукопись, принял его у себя в кабинете — в этой же квартире, в неурочный час — и посадив напротив себя, возле огромного, заваленного бумагами письменного стола, сначала пытался держаться менторского тона, но это ему не давалось, и он, вскочив из-за стола, принялся быстро ходить по кабинету и горячо говорить и жестиковать, — неужели вся эта горячность и восторженность, переходившие в ликование, относились к нему, Достоевскому, и к его роману? — часом позже он стоял на Невском возле дома, где жил Белинский, на углу Фонтанки, глядя на синее небо, на прохожих, на спящие экипажи, и все происшедшее с ним казалось ему неестественным, потому что о таком он не смел даже мечтать, настолько это походило на сон — а через несколько дней о нем заговорил весь литературный Петербург, и даже нелитературный, — Белинский представлял его всем знакомым, как некую знаменитость, как подают к концу званого обеда пикантное блюдо, — мелькали почтительно склонившиеся седые головы петербургских именитостей, с бакенбардами и с орденами в петлицах, и женские взгляды, о которых он не смел мечтать, устремлялись на него с интересом, кокетливо, подобострастно, а в гостиных, когда он входил туда, затихал говор, — неужели это были те же Белинский и Некрасов, теперь так равнодушно отошедшие от карточного стола, когда он сел за него, напрашиваясь к ним в партнеры, только бы напомнить им о себе, чтобы своим присутствием, даже просто тем, что он им мешает, вымолить у них хотя бы несколько лестных слов о “Двойнике”, ну хотя бы намек, пусть даже и не лестный, пусть критику, но только не это ледяное молчание! — ах, с каким интересом они обсуждали сейчас в противоположном углу гостиной, в окружении этих нескольких бездарностей, ставших теперь модными в петербургских салонах, с каким интересом обсуждали они светские сплетни о графине

Волконской, — они, эти, с позволения сказать, передовые умы, литераторы! — он одиноко сидел за ломберным столиком, все ниже склоняя голову и прижимаясь грудью к его твердому краю, так что ему становилось трудно дышать, и каждый удар сердца отдавался у него в ушах, заглушая оживленный шум голосов, доносившихся теперь из центра гостиной, куда переместился весь кружок, еще большей сжимал ладони между коленями, и несмотря на горевшие ярко свечи в хрустальных люстрах лица присутствующих казались ему серыми, — он встал, но вместо того, чтобы пройти в прихожую и, небрежно накинув на себя пальто, покинуть этот дом на Невском, возле которого он еще не так давно стоял, не осмеливаясь верить в сбывшуюся свою мечту, — вместо этого, словно мелкая рыбешка, привлекаемая невидимыми химическими веществами к пасти морского чудовища, он направился к ним, протискиваясь между гостями, и стал жадно заглядывать в глаза Белинского и Некрасова, которые, конечно, уже находились в центре внимания кружка, став его средоточием, и пытался плоско острить, вымаливая их взгляды, — начал спор с кем-то, стал горячиться, кричать, понимая, что говорит нелепости, а потом, полностью потеряв надежду, принялся поддакивать, но его все равно никто не слушал — морской гигант плыл, не желая даже проглотить мелкую рыбешку, брезгуя ею, до того она была мелка и непривлекательна, — короткая, полуденная тень, отбрасываемая его чуть согнувшейся и устремленной вперед фигурой, следовала сбоку от него, скользя по серому клинкеру мостовой, — тень была короткой оттого, что солнце стояло высоко, почти в самом зените, да еще в разгаре лета, так что удивительно было, что фигура человека и дерева и дома могли вообще отбрасывать какую-либо тень, — Анна Григорьевна шла рядом с ним, но чуть позади, так что ее тень скользила вслед за его и хотя была такой же короткой, но в то же время какой-то более изящной, несмотря на то, что будущие Миша или Сонечка должны же были, в конце концов, изменить ее фигуру, — иногда его тень накладывалась на ее, когда он чуть замедлял шаг или она начала идти чуть побыстрее, иногда же тени их скрещивались — впрочем, это могло только так казаться, потому что противоречило самым простым законам физики, — раз или два он видел здесь, в Бадене, мимоходом, Тургенева и Гончарова, — Гончаров тоже бывал у Панаевых, но в те годы они так и не познакомились, это случилось уже после ссылки, — Гончаров был такой же вялый

и одутловатый барин, как и его Обломов, за которого ему платили 400 рублей с листа, — и это в то время, как ему, Достоевскому, при его нужде платили всего 100 рублей, — глаза у него были какие-то тухлые, как у вареной рыбы, и весь он был пропитан запахом канцелярии, хотя при таких-то доходах мог бы и не работать, но, верно, скупость брала свое, — что, впрочем, не мешало ему останавливаться в лучшем отеле Бадена, в “Европе”, — здесь же, кстати, стоял и Тургенев — сюда он поселил своего Литвинова из “Дыма”, бесплотного героя того бесплотного романа, в котором так тужился Потугин, этот вредный болтун, поносящий Россию, ломающий шапку перед последним немецким бургером и посещающий Литвинова в этой первоклассной гостинице, куда их с Анной Григорьевной не пустили бы даже в вестибюль, так они были бедно одеты, — и сюда же, в эту гостиницу, к Литвинову, тайно приходила госпожа Ротмирова, красавица, жена генерала, — опустив вуаль, она неслышными шагами входила к нему, а потом он так же тайно пробирался к ней в номер, тоже в фешенебельную гостиницу, лестница которой была устлана коврами, и куда их с Анной Григорьевной тоже, вероятно, не пустили бы, — и все это происходило под аккомпанемент потугинских рассуждений о том, что России давно пора бы уже провалиться куда-нибудь в тартарары и что если бы это произошло, то никто бы даже этого и не заметил, — первый раз он увидел Тургенева неподалеку от здания вокзала — Тургенев шел с какой-то дамой по аллее, чуть склонив свою крупную голову, небрежно поигрывая лорнетом на золотой цепочке, слушая даму только из учтивости, и встречные прогуливающиеся замедляли шаг, а потом оглядывались, чтобы посмотреть еще раз на знаменитого писателя, — Достоевский тоже чуть замедлил шаг, как-то механически, даже сам того не осознавая, потом хотел метнуться в сторону, но было уже поздно — Тургенев заметил его — лицо его выразило наигранно-радостное удивление, словно встреча с Достоевским была для него чрезвычайным сюрпризом, как будто он никак не ожидал увидеть его среди этой праздно шатающейся, расфранченной публики на этом европейском курорте, при его-то образе мыслей, хотя Тургенев отлично знал, зачем он здесь — его игра не была ни для кого секретом, — Тургенев был одет в легкий светло-серый костюм, и его дама была тоже в чем-то легком и дорогом — “Какими судьбами, батенька?” — спросил он его своим высоким женским голосом, так не вяза-

вшимся с его представительной фигурой, — приостановившись, он приподнял легкую белую шляпу, так что показалась вся его знаменитая львиная грива, теперь седеющая и поэтому, как утверждали его поклонники и в особенности поклонницы, особенно благородная, — “Познакомьтесь”, — сказал он, обращаясь по-французски к даме, — “Господин э-э, — он сделал небольшую паузу, словно не мог сразу вспомнить имени, — господин Достоевский, бывший инженер, а ныне петербургский литератор”, — узкая рука в тонкой перчатке небрежно протянулась к нему — он попытался принять эту руку и сказать что-то светское, кажется, насчет погоды или еще чего-то, но руки, пахнувшей какими-то особыми, утренними духами, уже не было — Тургенев и его спутница уже уплыли куда-то, а он стоял все на том же месте, в своем черном не по сезону костюме, держа в руках черную шляпу, словно Трусоцкий из “Вечного мужа”, — Тургенев никогда не упускал случая, чтобы назвать его инженером или, в крайнем случае, бывшим инженером, подчеркивая тем самым как бы искусственную причастность Достоевского к литературному миру, в котором по праву царил он, Тургенев, а Достоевский был только выскочкой, рагвелус, — после возвращения из ссылки они несколько раз виделись и даже как будто заново сошлись — участвовали в одном или двух благотворительных спектаклях, обменивались письмами — Достоевский пытался привлечь Тургенева в свой журнал “Время”, который издавал вместе с братом, — в нескольких письмах, написанных за границу, он просил Тургенева немедленно прислать “Призраки” для своего журнала, но выходило как-то так, что он не просил его, а умолял, да еще как-то судорожно, и тут же в письме объяснял ему, что он хотел его видеть или что прошлое их свидание не все разъяснило им обоим, надо бы еще объясниться и свидеться, и все это он писал по несколько раз в одном и том же письме, но опять же как-то судорожно, навязываясь в друзья, понимая это и оттого еще больше навязываясь, — в первое время после возобновления их знакомства Тургенев был как-то осторожен с ним, может быть, жалел его, но потом сквозь эту осторожность снова стало проглядывать наигранное изумление, приглашавшее собеседника к полному раскрытию, и хотя расставляемые капканы и подставляемые ножки не были столь откровенными, как во времена панаевского кружка, приходилось все время быть начеку и даже спотыкаться — он чувствовал себя в роли канато-

ходца, который мог в любую минуту сорваться и полететь вниз, — с каждым разом канат, по которому он ходил, оказывался все менее надежным, и порой он еле удерживал равновесие, балансируя с помощью вытянутых рук, — взгляд, полный наигранного интереса и поддельного участия, торопил его — скорее, скорее — проделать все “па” до того, как он сорвется и полетит в бездну, — только бы услышать этот лживо-искренний смех, заслужить хотя бы некоторую взаимную откровенность, ради этого можно было отплясывать канкан, даже уже сорвавшись, летя вниз, проделывая в воздухе пируэты, — приставив к глазам холодно поблескивающий лорнет, Тургенев снисходительно-пристально следил за ним, сидя напротив него в своем просторном гостиничном номере с белой инкрустированной золотом мебелью, с расписанным потолком и огромными окнами, задрапированными в малиновый бархат, — пришедшему удалось обойти оберкельнера, который накануне бесцеремонно загородил ему дорогу, заявив, что барина нет дома, — на этот раз, как бы невзначай прогуливаясь мимо стеклянной двери гостиницы, он выбрал момент, когда оберкельнер отлучился куда-то из вестибюля, и быстро прошел в дверь, а оттуда, не оглядываясь, словно ему могли выстрелить в спину, почти пробежал до широкой мраморной лестницы, устланной ковром, а затем вверх по ней, словно его преследовала стая гончих, и уже несколько спокойнее, стараясь обрести должное достоинство, по коридору, минуя множество белых дверей с золотистыми вензелями, — “Ах, да это вы!” — говорил Тургенев своим высоким женским голосом, встречая гостя наивной, радостно-изумленной улыбкой, — он был одет в длинный халат, отчего казался еще выше ростом, темная густая, чуть седеющая борода, знаменитая львиная грива, внимательный, приглашающий взгляд темно-серых глаз с чуть зеленоватыми искорками, — “Много, много наслышан про вас и про ваш роман, хотя сам еще не имел счастья прочесть”, — сказал он, проводя гостя в просторный кабинет с большим письменным столом, заваленным книгами и рукописями, и с широким диваном, на котором лежали небрежно сложенный плед и подушки, — “Однако, дайте же на вас поглядеть, как следует”, — Тургенев отошел на несколько шагов от гостя, словно мастер, оценивающий свою картину, и на секунду поднес к глазам лорнет на золотой цепочке, — “Ну, да вы теперь самый что ни на есть натуральный литератор, с эдакой-то манишкой”, —

зеленоватые искорки, таившиеся на дне глаз, ярко вспыхнули и тут же погасли — лицо его снова приняло выражение радости и внимания — “Однако, усаживайтесь-ка поудобнее”, — и он подвинул гостю стул, сам же уселся в кресло, заложив ногу на ногу, чуть подрагивая узкой длинной туфлей, расписанной на манер его турецкого халата, — эту манишку они выбрали с Анной Григорьевной в Дрездене, она показалась им какой-то особенной, потому что была с чуть закругленными уголками воротничка, и они решили, что это модно, и вчера Анна Григорьевна долго отглаживала манишку — он сел, беспокойно оглядываясь по сторонам, не зная куда положить шляпу, — неужели он пришел сюда чтобы выслушивать это? — разве затем он унижался перед оберкельнером, чтобы сидеть здесь жалким посетителем, даже скорей просителем, хотя он ничего не просил? — еще секунда и он, пожалуй, начнет отплясывать свой канкан — он находился сейчас на краю пропасти, стоило сделать только шаг, и он сорвется и полетит в бездну, — он все еще беспокойно оглядывался, — “Извините меня за некоторый беспорядок, — сказал Тургенев, перехватив взгляд гостя, — или, как говорят немцы, “Unordnung” — А по-моему, так вы уже давно немец, так что вам нечего и извиняться”, — выпалил он невпопад, как всегда, когда хотел съязвить, но это только еще больше раззадорило его — шаг к краю пропасти был сделан, — “И роман ваш целиком немецкий...” — теперь он летел вниз и возврат уже был невозможен — лицо Тургенева странно передернулось, он откинулся в кресле и приставил к глазам лорнет, словно щит, а пришедший, положив шляпу на стоявший между ними белый инкрустированный золотом ломберный стол, весь как-то подался вперед, словно фехтовальщик, вынимающий шпагу из ножен, — “Ваши слова я принимаю за похвалу, — парировал Тургенев, — литература, которая дала Гете и Шиллера...” — но гость сделал ответный выпад: “Вы никогда не знали и не понимали Россию, ваш Потугин, этот жалкий семинарист...” — теперь Тургенев весь подался вперед — “Однако, Россия располагает, видимо, весьма полезными средствами для воспитания квасного патриотизма”, — Тургенев, конечно, намекал на каторгу — это был удар ниже пояса, — “Поезжайте в Париж и купите там телескоп, через него рассматривайте Россию”, — он где-то прочел недавно про телескоп, установленный в Париже, и теперь выпалил это одним духом — Тургенев снова отклонился на спинку кресла, закрывшись

щитом-лорнетом, — они дрались на шпагах, нанося друг другу булавочные уколы, — этот поединок вошел в историю русской литературы как “ссора между Достоевским и Тургеневым на почве идейных разногласий, касающихся отношений России и Запада”, — уже подходя к своему дому, он вспомнил, как глаза Тургенева следили за ним сквозь лорнет с выражением пристального внимания, настороженности и даже затаенного страха, словно обладатель этого лорнета боялся что его сейчас укусит бешеная собака — эта мысль так понравилась ему, что он даже улыбнулся, — в комнатах было прохладно, темно и даже тихо — мастеровые из кузницы, наверное, обедали, а пронзительно кричавшие всю ночь и утро дети заснули, — на секунду ему захотелось сбросить с себя свой тяжелый сюртук и прилечь, но Анна Григорьевна открыла окна и ставни, которые она всегда тщательно запирала, когда они выходили, потому что она боялась воров, пожара и грозы, вместе с запахом цветущей акации и ярким солнцем в комнаты проникли звуки улицы — цоканье копыт по клинкеру, отрывистые громкие фразы, которыми обменивались женщины во дворе, грохот телег, на которых развозили не то воду, не то пиво, — нет, сейчас он не мог позволить себе этого, он должен был идти — принуждаемая его требовательным взглядом, Анна Григорьевна со вздохом достала мешочек и вынула оттуда несколько золотых монет — дрожащей от нетерпения рукой он засунул их в жилетный карман, хотя у него был кошелек, но так было быстрее, главное же удобнее во время игры, поскольку он никогда не знал, сколько еще у него оставалось, и поэтому мог ставить свободнее, не отвлекаясь мыслями об остатке и, следовательно, не производя ненужных вычислений, мешавших игре, — он шел чуть подавшись вперед, тень его скользила сзади него, потому что солнце светило теперь спереди, — он ежедневно, по несколько раз, курсировал между домом и вокзалом, отклоняясь от своего маршрута, только чтобы забежать на почту, но деньги от Каткова не приходили, или в лавку или на рынок, чтобы купить фрукты и цветы для Анны Григорьевны — на пути с вокзала, когда он бывал в выигрыше, — в общем он шел в гору, несмотря на запахи духов, исходившие от каких-то дамочек, случайных посетительниц, ставивших по одной монете, а также жидов и полячков, мельтешивших перед глазами, — он шел в гору, хотя иногда и спотыкался или вдруг неожиданно спускался, каждый раз думая, что это конец, но оказывалось, что это был только холмик на

подъеме, ведущем к вершине, которая медленно, но неуклонно приближалась, — иногда он даже видел ее сквозь прорывы облаков — покрытая нетронутыми снегами, она серебрилась в лучах солнца, а иногда даже отсвечивала золотом, — все они оставались внизу — Тургенев, Гончаров, Панаев, Некрасов — взявшись за руки, они водили какой-то жалкий хоровод у подножья горы, окутанные смрадным туманом низины, суетящиеся, снедаемые пустым тщеславием, — задрав вверх головы, они с завистью смотрели на него, поднимающегося к недостижимой вершине, — им было незнакомо это всеохватывающее чувство раскрепощения, которое испытывал он, равно как неведома им была та страсть, которая заставляла его идти, — он обязан, он должен был преступить, — подходя к зданию вокзала, он стал ступать более мелкими шагами, чтобы количество шагов, сделанных им от дома, составило 1457 — такая цифра, по прежним его подсчетам, была наиболее удачная — в эти разы он всегда выигрывал, — в общем удивительного тут ничего не было — последней цифрой была семерка и сумма цифр составляла семнадцать — опять семерка, — было что-то в этой цифре особое — резко нечетное, ни на что не делящееся, кроме себя самой, причем не только в чистом виде, но и в большинстве двузначных чисел — 17, 37, 47, 57, 67 и т. д. особая это была цифра, — последний шаг перед ступенями, ведущими в дверь вокзала, ему пришлось сделать совсем маленьким — даже не шаг, а какой-то шажочек получился, но все же в конечном счете цифра была его — 1457! — пройдя широкий вестибюль с фонтаном, вокруг которого стояло несколько оживленно беседовавших французов, он поднялся по широкой лестнице с безвкусными античными фигурами на второй этаж, — он начинал всегда с самой большой залы — сердце его стучало, словно перед свиданием, рукой он прощупывал сквозь ткань жилета монеты, чтобы убедиться, что не потерял их, — протолкавшись через толпу любопытных, окружавших стол, он объявил, что ставит три золотых на *impair*, потому что это был нечет — теперь он был спокоен — главное было протиснуться через толпу этих чужих и враждебных людей, протиснуться так, чтобы никто не оскорбил его или чтобы не показалось, что оскорбил, — не менее важным было начать игру, то есть заявить себя, — он старался громко выкрикнуть ставку и условие — ему казалось, что в этот момент взгляды всех сидевших и стоявших вокруг стола обращались на него и что все они думали, что он играет из-за денег, то есть из-за ну-

жды, и поэтому он старался выкрикнуть как можно небрежнее, громче, но получалось слишком просительно или, наоборот, вызывающе, так что опять-таки могли подумать, что у него какие-то чрезвычайные, особые обстоятельства, заставляющие его играть, — теперь это было позади, — он взял удар да еще на семерке — двойное везение и благоприятный предвестник, — он выиграл три золотых и поставил шесть снова на *imPAIR*, и снова взял, теперь, правда, на девятке, — надо было переходить на *manque*, так как *rasse* выходил уже три раза подряд, — он поставил пять монет из выигрышных девяти, — он брал удар за ударом — на *rasse*, на *manque*, на *rouge* и *poir* и даже два раза на *zero*, — груда монет возвышалась перед ним — кто-то услужливо подставил ему стул, но он не садился, чтобы не изменить хода игры, да он, пожалуй, и не осознал бы, что это стул, и что он должен с ним что-то делать — все кружилось вокруг него в каком-то бешеном вихре, он ничего не видел вокруг себя, кроме груды монет, лежащей перед ним, и мечущегося шарика, попадающего в загаданные им лунки, — он брал и брал, загребая руками выигранные монеты и приобщая их к груде, отсвечивающей золотисто-красным светом, — вершина горы, внезапно открывшаяся из-за облаков, которые остались где-то внизу, — он находился теперь так высоко, что даже не видел земли — все было покрыто белыми облаками, и он ступал по ним, и — странно — они выдерживали его и даже поднимали его к золотисто-красной нетронутой вершине, еще совсем недавно казавшейся недосыгаемой — “Вы взяли мою монету, сударь, извольте отдать!” — услышал он чей-то неприятный скрипучий голос — столпившиеся вокруг стола игроки и любопытные все еще вращались вокруг него, словно едущие на карусели, — кто-то потянул его за рукав — господин, бритый, с плоским лицом и нафабранными усиками, в упор глядел на него выпуклыми бесцветными глазами — он говорил по-французски, но с каким-то неприятным акцентом — не то польским, не то немецким, — карусель внезапно остановилась, хотя ехавшие на ней продолжали еще крениться вперед по инерции — они застыли наподобие живой картинки, но взгляды их были устремлены на него, и даже крупье, сидевшие по обе стороны стола, подняли свои бесстрастные лица, — он вдруг осознал, что этот господин обращался к нему и что он каким-то образом загреб монету этого незнакомого господина, но какое все это могло иметь значение по сравнению с его полетом к открывшейся ему вершине, — он пробормотал какое-то

извинение и сказал, что это вышло по рассеянности, — все еще продолжая по инерции плыть в облаках и не осознавая всего происходящего, — “А я так думаю, что не по рассеянности”, — отчеканил своим скрипучим голосом незнакомец, все так же вызывающе глядя на него и выдыхая ему в лицо запах бифштекса и красного вина, — на секунду ему показалось, что он уже давно предвидел все это, и он с необыкновенной легкостью покатился с горы — стремглав, вниз, туда, где из болотного тумана вырисовывались быстро приближающиеся знакомые фигуры, — они все еще водили свой странный хоровод, но теперь он не был жалким — взявшись за руки, они распевали какие-то куплеты, а в промежутках между куплетами выкрикивали какие-то слова, и слова эти относились к нему, но он не мог разобрать их смысла, хотя, судя по всему, слова эти содержали насмешку, и кто-то еще участвовал в хороводе — лиц их он не мог еще разглядеть, но одно, кажется, уже вырисовывалось — багровое с рысьими глазами, а также лица каких-то женщин — не тех ли, которые заглядывали через зарешеченное окно кордегардии? — он снова пробормотал что-то невнятное и даже, кажется, попытался вручить незнакомцу монету, но его уже не было — он увидел только удаляющуюся его спину, где-то далеко, уже за пределами кольца игроков и любопытных, окружавших стол, — “Подлец”, — сказал он, потому что, наверное, в подобных случаях следовало так сказать, но он произнес это слово по-русски да еще как-то тихо и невнятно, словно адресуя это к себе, — заложив руки за спину, незнакомец победно удалялся, мерно чеканя каждый свой шаг, словно уходящий командор, — странная тишина воцарилась в игорной зале — впрочем, это уже был конец ее, — желтый свет хрустальной люстры с трудом пробивался через табачный дым, и углы залы тонули в полумраке, — внезапно, словно он вынул вату из ушей, он услышал голоса, кашель, — оказалось, люди двигались, говорили, крупье выкрикивали результаты, игроки — ставки и условия, — он поставил на *passé* и взял, но это уже было похоже на бег человека, получившего смертельное ранение — следующий удар он проиграл, еще один проиграл, поставил на *zero*, и груда его монет сразу уменьшилась почти вдвое, — он продолжал свое падение — лицо Тургенева, увеличившееся теперь до необыкновенных размеров, выражало наигранное удивление и сочувствие, и его крупная фигура выделялась среди остальных ведущих хоровод, сопровождая его комическими припевками, остальные

тоже лихо приплясывали и подпевали, — дневной свет удивил его, когда он вышел на улицу — он думал, что давно уже ночь, — отцы семейства с женами возвращались из церкви или после прогулки, ведя за руки детей, по улице ехали экипажи и кареты, дорогу ему перебежала черная кошка, и по привычке, из суеверия, он остановился, но потом разглядел, что это была болонка, и кроме того хуже, чем было, уже не могло быть, — “Подлец”! — сказал он незнакомцу по-французски и ударил его ладонью по лицу, плоскому, чем-то похожему на корыто, с плоскими оттопыренными ушами, так что руке его стало больно, — незнакомец пошатнулся и стал медленно оседать на пол — играющие и любопытные расступились, чтобы дать ему место на полу, а затем собрались вокруг него, остальные бросились к ударившему и стали его выводить из зала, но он с захватывающим дух иступлении расшвырял их всех и, подойдя к игорному столу, сорвал весь банк на zero — он был на самой вершине горы и оттуда, сколько хватало глаз, виднелись необозримые пространства с игрушечными городами и темно-зелеными лесами, казавшимися с такой высоты зарослями низкорослого кустарника, а еще дальше виднелось безбрежное синее море, сливающееся с таким же синим небом, — еще лучше было ударить его по лицу перчаткой и, как ни в чем не бывало, продолжать игру, спокойно объявляя ставки, словно ничего не произошло, или вызвать его на дуэль — ранним утром в окрестностях Бадена, где-нибудь в ущелье за Старым замком, они сходились с расстояния двадцати шагов — он целился незнакомцу прямо в грудь и в последний момент, перед тем как выстрелить в него, великодушно прощал ему, и незнакомец падал на колени и целовал ему ноги, а он поднимал его с земли — человек в черном костюме, без шляпы, которую он позабыл в гардеробе, шел по Zichtenhafer Allee, не замечая встречных, жестикулируя и иногда произнося что-то вслух, — теплый летний ветер, дувший откуда-то из Шварцвальда или Тюрингена, слегка развеивал его редящие волосы, отчего его знаменитые лобные бугры казались еще более выпуклыми — поезд шел, оставив далеко позади Бологое с его призрачным киоском на платформе, освещенной керосиновой лампой, — вагон раскачивался из стороны в сторону вместе со всеми сидящими в нем пассажирами, вместе с матовыми плафонами и чемоданами, многократно отражающимися в темных окнах, за которыми бежали невидимые снежные пространства, так что “Дневник” Анны Гри-

горьевны приходилось удерживать, чтобы он не свалился с выдвинутого столика на пол и чтобы строчки не прыгали перед глазами, — придя домой, Федя упал на колени перед Анной Григорьевной, так что она даже опешила и стала отступать куда-то в угол комнаты, но он пополз на коленях вслед за ней, повторяя: “Прости, прости” и “Ты мой ангел”, — но она все отступала куда-то в сторону, и он, вскочив на ноги, принялся ударять кулаками в стену, а затем бить себя по голове, и это выглядело так, будто он делал это нарочно, словно разыгрывал какой-то фарс, так что на секунду ей сделалось даже смешно, но она боялась, что хозяйка может услышать и, кроме того, это могло кончиться припадком, — она подбежала к нему и попыталась удержать — лицо его было бледно, губы дрожали, борода сбилась на бок, — стоя на коленях, он каялся перед ней за проигрыш, за то, что делает ее несчастной, но она не могла ни оценить, ни даже понять всей глубины его страдания и унижения и, стоя в углу комнаты, смотрела на него удивленно и даже с какой-то недоброй усмешкой — уж не смеялась ли она над ним? — и тогда он вскочил с колен и стал барабанить кулаками в стену, чтобы она наконец поняла, чтобы они все поняли — пусть знает хозяйка! пусть знают все!.. — он в исступлении колотил в стену, но за стеной никто не шелочнулся, а Анна Григорьевна продолжала стоять в углу, — он стал бегать по комнате, натываясь на стулья, отшвыривая их в сторону, ударяя себя кулаками по голове, так что ладоням сделалось больно, — подбежав к нему, она попыталась удержать его — теперь лицо ее выражало только испуг — ага, она боялась шума, огласки, не более! она стыдилась его! — так пусть же она не зря стыдится его! — он оттолкнул ее и закричал, что выпрыгнет сейчас из окна, понимая в то же время, что он этого не сделает, — они тяжело дышали, глядя друг на друга, она — со страхом и с мольбой, он — с ненавистью и ожесточением затравленного зверя — губы его по-прежнему дрожали, лицо исказила мучительная судорога, — “Федя, голубчик!” — она кинулась к нему и, обхватив руками его голову, прижалась к нему — все обиды, горести и оскорбления сегодняшнего дня, накопившиеся внутри него, разом подкатились к его горлу сладко-горьким комком, как в детстве, когда после очередного скандала, учиненного отцом, в детскую к нему тайком проскальзывала мать и, неслышными шагами подойдя к его кровати, наклонялась над ним и, думая, что он спит, тихонько гладила его по лицу и целовала, — комок, застрявший в

горле, прорвался рыданием, сначала глухим, сдерживаемым, а затем громким, облегчающим, мучительно-сладким, взхлеб, — поддерживая его, утирая ему своим платком слезы, Анна Григорьевна повела его к кровати, сняла с него сюртук и жилет, помогла ему лечь, укрыла его, — ей было странно, что такой серьезный и умный человек, как ее муж, мог плакать — это было что-то вроде припадка, та же болезнь, и ее наполнило острое чувство жалости к нему и вместе с тем какой-то ответственности (перед кем?), словно он был ее ребенком, — он еще всхлипывал, но это уже были затихающие всплески воды от упавшего в озеро камня, — она хлопотала вокруг него, повязывая ему голову влажным полотенцем, а он целовал ей руки и называл ангелом, а затем, сбиваясь и путаясь, рассказал ей историю, которая вышла с ним в игровой зале, но она сказала, что это все ничего и что, конечно, тот услышал, как Федя назвал его подлецом, потому что слово это хоть и по-русски, но все знают, а если он не понял, так остальные-то поняли, и что вообще с таким подлецом и связываться не следовало, и он снова целовал ее руки, потому что был теперь вдвойне ей благодарен, — но после обеда, когда они пошли пройтись по Zichtenhaler Allee, где в этот час прогуливалось много народа, Федя стал задевать плечом встречных мужчин, шедших в одиночку или даже с дамами, — плоское лицо господина с оттопыренными ушами, оскорбившего его, снова встало перед его глазами — теперь он знал, что ему следовало тогда сделать: просто толкнуть его эдак небрежно, но достаточно энергично, чтобы тот упал или хотя бы просто пошатнулся — чтобы он почувствовал, что его выходка не прошла ему даром, — незнакомец с плоским лицом и с выпученными бесцветными глазами был вездесущ — он то появлялся из какой-нибудь боковой аллеи, и тотчас Достоевский спешил ему наперерез, чтобы преградить путь, то шагал навстречу своей самоуверенной, чеканной походкой, и его нужно было сбить с этой походки, напомнив о себе, то убегал, и тогда его следовало нагнать и дать надлежащий урок, — Анна Григорьевна пыталась удержать Федю, но он все бросался наперерез шедшим навстречу добропорядочным немцам или принимался вдруг догонять каких-то незнакомых господ, так что на несколько минут она даже оставалась одна среди этой разнаряженной фланирующей публики, с зонтиком и с кружевной мантилей в руках, — в конце концов ей удалось увлечь его в одну из боковых аллей, где народа почти не было, — на немец-

кий курортный город Баден спускался июльский вечер, где-то вдалеке, над Шварцвальдами или Тюрингенами, нависли фиолетовые тучи, за которыми, уже совсем где-то далеко, вспыхивали зарницы, а ближе к городу, на окружающих его холмах, покрытых темной растительностью, виднелись Старый и Новый замки, сложенные из красного кирпича, с зубчатыми башнями, и еще какие-то старинные рыцарские развалины, — несколько дней спустя Анна Григорьевна бежала по каменным ступенькам одного из них — она убегала от Федя, который, проигравшись, стал бы просить у нее последнюю оставшуюся монету, — она бежала по лестнице как-то необычайно легко, словно у нее под сердцем не было ни Сонечки, ни Миши, но когда добежала до третьей площадки, ей вдруг сделалось нехорошо, сильно заболел живот и затошнило, так что она вынуждена была сесть на скамейку, и все проходившие мимо оглядывались на нее, потому что видели, что она почти в обмороке, — а когда Федя разыскал ее, он снова упал перед ней на колени, прямо тут же, на площадке, на глазах у всех, и она закрыла лицо руками, чтобы не видели посторонние и потому что тошнота подступила к самому горлу, — он бил себя кулаками в грудь и говорил, что сделал ее несчастной, но ее это уже не пугало, как прежде, потому что она привыкла к этому, — она дала ему монету, хотя знала, что он ее проиграет, но это было несколько дней спустя, а сейчас они сидели на лугу возле здания вокзала и слушали австрийскую музыку, — играли "Эгмонта" и в этой музыке было что-то созвучное громаздящимся вдали горам с нависшими над ними фиолетовыми тучами, подсвечиваемыми отблесками зарниц, — словно они взбирались по круче, она — легко и быстро, следуя прихотливым изгибам тропинки, вьющейся среди кустарника, скал и развалин рыцарских замков, он — по отвесному, почти неприступному склону, по камням и ледникам, на которые никогда еще не ступала нога человека, оскальзываясь, падая, снова поднимаясь, оставляя где-то внизу и позади себя море хохочущих голов и пляшущих фигур, показывающих на него пальцем, — иногда тропинка, по которой она взбиралась, переходила в лестницу с каменными или даже деревянными ступенями, похожая на ту, которая вела к Старому замку — она бежала по ступеням вверх, почти не отдыхая на площадках, а только оглядываясь, чтобы посмотреть на открывающийся внизу величественный ландшафт, и затем снова поднималась по тропинке, протоптанной

среди скал и альпийских лугов с белыми цветами, названия которых она не знала, — из-под его ноги с грохотом катились вниз камни и огромные льдины, увлекая в своем падении еще большие камни и глыбы льда, производя обвал, шумный, грохочущий, с многоголосым эхо, многократно повторяющимся, отдающимся в предгорьях, заглушающим собой голоса хохочущей толпы, — толпы, хоть и поверженной, но продолжавшей хохотать и бесноваться в своем тупом упорстве и непонимании, указывая на него огромным перстом, грубым и вымазанным в грязи, что напоминал собой перст одного из той, другой толпы — в картине “Поругание Христа”, которую он видел в Дрездене, — он не запомнил имени художника, написавшего ее — Христос в терновом венце, похожем на колючую проволоку, сидел там на ступенях в позе отрешенной и задумчивой, опершись локтем о колено, так что рука его с длинной и узкой кистью безжизненно свисала вниз, а один из толпы, крепкий мужлан с лицом бюргера, отвисшими пунцовыми щеками и таким же пунцовым носом-картошкой, указывал на него коротким и волосатым пальцем — в сидевшего на ступенях летели камни, кто-то плюнул ему в лицо, окружавшая его чернь бесновалась и гоготала, — но этот гогот заглушался теперь гулом многократно повторяющегося эхо, потому что он поднимался все выше и выше, преодолевая страшную крутизну, к самой вершине горы, — туда, где в фиолетовой туче, прорезаемой вспышками молний, таился хрустальный дворец, эта мечта человечества и его собственная мечта, взлелеянная им и глубоко затаенная, он иногда нарочно сам обсмеивал эту мечту, — но теперь этот горный обвал, заглушающий хохот беснующейся толпы, и удары грома, обрушивающиеся из фиолетовой тучи, вселяли в него веру в осуществимость этой мечты, а сидевший на ступенях подсказывал путь, которым следовало идти, — и он уже был на этом пути, взбираясь по отвесной круче, под торжествующие звуки музыки, которые лились с возвышения, на котором играл оркестр, — отголоски горного обвала порой достигали слуха Анны Григорьевны, но ее путь был по-прежнему свободен и легок, и только потом этот путь пересекся с его дорогой в одном-единственном месте — там, где тропинка нависла над самой кручей и он взбирался по ней, цепляясь за камни, оскальзываясь и падая, в изодранной одежде, с исцарапанными в кровь руками, — она протянула ему руку и помогла ему взобраться на тропку, по которой шла, — и вот они

уже шли вместе, рука об руку, — мелодия, которую вели валторны и флейты, была все еще торжествующей, но уже угадывалась в ней какая-то усталость или, скорее, надломленность — они сидели рядом на скамейке, он — в своей любимой позе, положив ногу на ногу, обхватив руками колена, с увлажнившимися или, может быть, еще не высохшими от слез глазами, она — чуть подогнув ноги, чтобы не было видно ее потертых сапог, требующих ремонта, зябко кутаясь в свою мантилью, — на секунду взгляды их встретились, он взял ее руку и нежно погладил, — вокруг площадки, на которой помещалось возвышение для музыкантов и стояли скамейки для публики, горели фонари, но было еще вполне светло, и двойной этот свет создавал какую-то неверную и призрачную картину, в которой что-то было недовершено или что-то не начато, — а ночью, когда он пришел прощаться с ней и они поплыли, встречное течение стало сносить его в сторону, и он почувствовал, что тонет всерьез. Она пыталась помочь ему, то заплывая вперед и оглядываясь, приглашая его следовать за собой, то подплывая к нему совсем близко, вплотную, заглядывая ему в глаза, протягивая ему руки, почти поддерживая его, — но его продолжало сносить, неумолимо и быстро, — он почти не боролся, — вода все чаще смыкалась над ним, — из ее зеленой, колышущейся массы проступало плоское лицо с выпуклыми бесцветными глазами — лицо это набухало, раздувалось, словно наполняемый воздухом шар, — становилось багровым, превращаясь в то давнее, хорошо знакомое лицо с рысьим взглядом, — и десятки, сотни рук — тех, кто накануне, стоя у подножия горы, хохоча и беснуясь, указывал на него, — теперь тянулись к нему наподобие щупалец гигантского скорпиона, — он сделал несколько последних, отчаянных усилий — тело его безвольно обмякло — он быстро и неотвратно шел ко дну...

Он лежал, бессильно откинувшись на подушку и закрыв глаза, а она, приподнявшись на локте, вытирала пот с его лба. Вокруг головы его, тонувшей в подушке, образовались складки, расходящиеся в виде лучей, — как потом, на картине Крамского, изобразившей его на смертном одре, — только сейчас в лице его не было ни строгости, ни умиротворения.

* * *

Фиолетовые тучи, висевшие над Шварцвальдами и Тюрингенами, истратив свои электрические заряды, превратились в обыкно-

венные серые облака, которые медленно наползли на Баден, сея мелкий дождь на его островерхие крыши и покрытые клинкером улицы — лето перевалило за свою вторую половину, и хотя впереди было еще немало жарких дней, Анна Григорьевна, обрадовавшись этой передышке, принялась за починку белья и платьев, сидя на кровати со своим рукоделием, по привычке пряча свои ноги в стертых башмаках и надеясь, что плохая погода сможет ускорить их отъезд. Федя по-прежнему курсировал между домом и вокзалом, иногда принося домой ройнглоты, виноград и сливы, мокрые от дождя, пряча их за спиной, чтобы удивить и поразить Анну Григорьевну, чаще же падая перед ней на колени, называя ее ангелом, прося у нее прощения за то, что делает ее несчастной, — она отрывалась от шитья, молча с подавленным вздохом подходила к комоду и отдавала ему последние фридрихсдоры, гульдены или франки — он ненавидел ее в эти минуты и сердился на нее, когда она кашляла или чихала, потому что это были ее деньги, деньги ее матери, и она безропотно и кротко отдавала их ему, подавляя его своим благородством, — он снова падал перед ней на колени и говорил, что он украл ее деньги, что она должна его ненавидеть, но только еще больше ненавидел ее и себя — она чихала нарочно и кашляла нарочно и сидела, как швея, дома, не желая выходить с ним на улицу — что ж за беда, что дождь, ведь у них еще пока есть зонты — он произносил эту фразу с нажимом на словах “пока еще”, как будто это не по его вине они сидели без денег, — потом, вдруг увидев, с какой прилежностью, даже чуть высунув кончик языка, она зашивала свое потершееся платье, вдруг преисполнялся чувством умиления и жалости к ней, и целовал ей руки и край ее юбки, и снова становился на колени — теперь уже от всей души — и нежно гладил ее плечи и затылок, над которым были приподняты ее волосы, собранные в тяжелый узел, что делало ее несколько старше и, возможно, даже мудрее — на волосы ее, даже когда она не выходила из дома, почти всегда была наброшена косынка, легкая и прозрачная и в то же время черная, словно она носила траур по кому-нибудь, — гипюровая косынка — он всегда просил снять эту косынку, но она почему-то делала это с неохотой, — стоя возле нее на коленях, он гладил ее волосы, погружая в них руки, глаза ее смотрели на него тяжеловато, чуть исподлобья, — он называл ее “буккой”, но иначе она не умела смотреть, даже на него, — отложив в сторону шитье, опершись подбородком на ладони, она тяжело взды-

хала и в задумчивости гладила его по голове, словно ей было известно что-то неведомое ему, и она старалась уберечь его от этого — он почти не выигрывал теперь ни на pair, ни на impair, ни на чем — хотя ему удавалось уложиться в те же 1457 шагов, несмотря на дождь и ветер, мешавшие ему идти, — войдя в здание вокзала, отдавая шляпу и мокрый зонт швейцару, а затем поднимаясь по лестнице и входя в игорную залу, он с бьющимся сердцем высматривал своего незнакомца, но того не было, и он облегченно вздыхал, потому что не был уверен, что, встретив его, решится хотя бы толкнуть его плечом — желтый свет люстры падал на лица игроков и любопытных, толпившихся вокруг стола, — он протискивался в их круг, и на мгновение его охватывало чувство, подобное тому, которое он испытывал когда-то в молодости, усаживаясь за свежесервированный стол где-нибудь у Доминика или Лерха на Невском, куда они ездили шумной компанией, — он чувствовал себя в особенности легко и молодцевато после второй рюмки шампанского, — и все было еще впереди: веселые тосты, и черная икра в серебряных бочонках, и смех, и, возможно, даже поездка “туда” — фрак сидел на нем отлично и свеженакрахмаленное белье приятно холодило тело — он чувствовал себя центром внимания и все старался произнести какой-нибудь особенно остроумный тост, чтобы уже совсем окончательно покорить всех, — но однажды, еще во время службы по инженерному ведомству, он и еще пять-шесть чиновников решили по какому-то поводу сложиться и поехать в ресторан, и с ними был один столоначальник, которому он непосредственно подчинялся — человек туповатый, но многосемейный, всегда нуждавшийся и к тому же находившийся под каблуком у своей жены, которая отбирала у него все деньги до копейки, — случилось так, что столоначальник этот присутствовал приговоре поехать и высказал желание участвовать, но денег не внес, сказав, что отдаст после, — никто в это особо не верил, потому что уже по прежнему опыту знали, что он не отдаст — взяли его пожалуй, больше из озорства, — Федя был в этот вечер в особенно хорошем расположении духа — метрдотель подошел именно к нему, чтобы договориться, как обслуживать компанию, в соседнем кабинете за перегородкой слышались веселые голоса и женский смех, и если чуть привстать, можно было увидеть высокие прически дам, их лица и даже оголенные плечи — выпитый бокал шампанского придал ему еще больше уверенности и в

голове он уже сочинил остроумный тост, которым собирался поразить всех, как вдруг столоначальник, до этого сидевший молча, вдруг пожелал сам провозгласить тост — поднявшись, весь красный от напряжения, он стал долго и нудно говорить о пользе службы для отечества и что-то еще в этом роде, — все переглядывались, подмигивая друг другу, — и когда все выпили, Федя, раздосадованный тем, что его тост перебили, но внутренне все еще гарцуя, сказал: “Легко поднимать бесплатные тосты” — он бросил это как бы мимоходом, больше обращаясь к своему соседу, вялому белесоватому молодому человеку, работавшему вместе с ним в подчинении у этого же столоначальника, — и даже не придал особого значения тому, что сказал, пока сосед этот, улучив момент, не прошептал: “Как это ты его так, а?” — но Федя не заметил в его тоне никакого укора и только лишний раз убедился в своем остроумии, — оно было настолько блестящим, что другие подхватывали его фразы просто на лету — завтра, наверно, весь департамент будет повторять его необыкновенную остроту, — на следующий день столоначальник вызвал его к себе и стал выговаривать за какой-то чертеж, будто бы неправильно сделанный, — Федя доказывал, что в чертеже все было верно, и сильно разгорячился при этом, — тот сидел за своим большим письменным столом, положив на него локти, весь красный, словно он снова только что выпил шампанского, тупо глядя на чертеж, лежавший перед ним, — но когда Федя, полагая себя победителем в споре, хотел было уже выйти из комнаты, тот, не поднимая головы, все такой же красный, словно его сварили, сказал: “Подождите минуту”, — голос его сел и был хриплым — “Вчера, после этой вашей фразы, мне следовало отхлестать вас по щекам, не знаю, почему я этого не сделал”... Федя стоял перед ним, онемев от изумления, чувствуя, как забилося сердце и как к голове и к ушам стала приливать кровь, словно его действительно только что отхлестали по щекам, — он пробормотал что-то извинительное, как сделал несколько дней назад в вокзале во время истории с незнакомцем, — “Вы свободны, — сказал ему столоначальник, — идите” — и с этих пор жизнь его в департаменте сделалась невыносимой. Первые две, иногда даже три ставки он обычно брал, — но затем начинал проигрывать и чем больше пытался держаться какой-то системы, тем более проигрывал, — сначала он заложил свое обручальное кольцо, потом золотые серьги и брошь Анны Григорьевны, которые он подарил

ей к свадьбе, и когда он ушел с ними, Анна Григорьевна стала плакать и рыдать, может быть, впервые за все это время и даже ломать себе руки, чего в присутствии Феде она никогда себе не позволяла — по крайней мере, так она пишет в своем “Дневнике” — проиграв деньги, вырученные за брошь и серьги, он принял за ее кружевную мантилью — ее нигде не хотели брать — сначала он побежал с ней к ювелиру, но тот сказал, что берет только золотые вещи, и указал на какого-то Weismann’a, но дверь у Weismann’a была заперта, и Федя прибежал домой весь измокший от дождя и пота, потому что, несмотря на возобновление солнечной погоды, иногда бывали все же кратковременные дожди, освежавшие улицы и деревья, — после обеда Федя снова побежал к Weismann’у, но Weismann сказал, что таких вещей не принимает, и дал адрес M-me Etienne — магазин ее находился на площади, и хотя Федя бывал на этой площади, он никак не мог найти ее и почему-то все время попадал в переулок, где находилась баня, — наконец он все-таки вышел на площадь, — бумага, в которую была завернута мантилья, расползлась от дождя, и он прижимал пакет локтем, чтобы мантилья не торчала оттуда, — M-me Etienne он в магазине не застал, но какая-то дама, вышедшая из двери, ведущей в комнаты, сказала, что она сестра M-me Etienne и пусть он зайдет завтра — он снова побежал домой, потому что сегодня он непременно должен был выиграть, и снова бросился на колени перед Анной Григорьевной — она дала ему свое обручальное кольцо, и он заложил его у Weismann’a, который, по словам Анны Григорьевны, был из жидов, — Феде пришлось его дожидаться, — на деньги, вырученные от залога кольца, Федя выиграл 180 франков — он принес назад два заложенных кольца, свое и Анны Григорьевны, и букет цветов, — но это уже был последний вдох перед начинающейся агонией — Федя метался между домом и вокзалом, забегая по дороге к закладчикам — или на почту в ожидании денег от Краевского — одетый в черный берлинский сюртук и такие же панталоны, он проделывал странные движения, то превращаясь в жонглера, обтянутого черным трико, с черным цилиндром на голове и в белых лайковых перчатках, ловко подбрасывающего вверх обручальные кольца, платья и меховую шубку Анны Григорьевны и так же ловко, на лету, схватывающего их, иногда добавляя к этому водовороту предметов свой черный цилиндр, то становясь балетным танцором, тоже в черном трико, исполняющим сложные “па” из дивертисмента

на фоне красно-кирпичных домов Бадена, — он передвигался путем вращения вокруг своей оси, простирая руки то к небу, то к Анне Григорьевне, — в ответ на его призыв она появлялась откуда-то сбоку, словно из-за кулис, закутавшись, словно Кармен, в свою все еще не заложенную мантилью, в длинной юбке, прикрывающей ее стоптанные башмаки, — при ее появлении он становился на одно колено и, пощелкивая не то пальцами, не то кастаньетами, исполнял что-то вроде серенады, а она, сорвав с себя мониеты, бросала их ему — он подхватывал их на лету и продолжал свою серенаду, оглушая ее звуками кастаньет — она бросала ему свою мантилью, затем, отщелкивая каблуками сношенных башмаков заданный партнером ритм, снимала с себя платье и отдавала ему — вскочив с колена, он подбрасывал в воздух мониеты, кольца, платье, мантилью, ловко жонглируя ими, — а она в это время заламывала руки над головой, совершая телодвижения, которые делают обычно восточные танцовщицы, — предметы, которые он подбрасывал, не возвращались к нему — он подбросил вверх свой цилиндр, и тот тоже исчез, затем снял с себя трико, оказавшееся его берлинским костюмом, и тоже запустил его куда-то вверх — они были должны хозяйке за четыре дня, и она вполне могла не прислать им обеда, а Marie, когда Анна Григорьевна попросила у нее утром кипяток, сказала, что дрова жечь даром не годится, — неужели это была та же Marie, громкоголосая девочка-подросток со своим гортанным "Ja", всегда готовая услужить и даже тупая в своем усердии? — они возвращались домой по Zichtenhaler Allee после очередной прогулки, потому что им ничего уже больше не оставалось, кроме как гулять или делать вид, что они гуляют, — Анна Григорьевна не хотела идти по этой аллее в своем затрапезном платье, почти единственном, оставшемся после заклада вещей, но Федя настоял на своем, и ей казалось, что все смотрят на нее, — солнце садилось, освещая гору с видневшимися там Старым и Новым замками, и Федя остановился, чтобы полюбоваться видом, и попросил ее тоже остановиться, чтобы посмотреть на эту картину, потому что это был чрезвычайно редкий момент, когда одновременно освещались оба замка и вершина горы, покрытая зеленью, — еще минута, и замки погрузятся в тень и исчезнет этот солнечный треугольник, — но Анна Григорьевна продолжала идти дальше, — она шла быстро, даже чуть наклонившись вперед, но, когда он крикнул: "Аня!" — она пошла еще быстрее,

почти побежала — он бросился вслед за ней — он бежал за ней по аллее, тяжело дыша, наталкиваясь на гуляющих, — она свернула в боковую аллею и на минуту исчезла из вида, но потом он увидел ее фигуру, мелькающую между деревьями, и ему показалось, что она закрыла лицо руками, словно рыдала, — они прибежали домой почти одновременно, но все-таки порознь — она вошла в дом, тяжело дыша, опустив голову, боясь встретить хозяйку, Marie или Терезу — другую служанку, — он же вбежал, еле сдерживая ярость, душившую его, — и как только они оказались в комнатах, он схватил ее за руку и потащил к дверям, — но она вырвалась и бросилась на кровать, как была, в платье, не снимая сапог, закрыв лицо руками, — она всегда портила ему самые редкостные минуты его жизни — неужели так трудно было остановиться хотя бы на мгновение и посмотреть на освещенную заходящим солнцем гору? — подойдя к кровати, он силой отвел ее руки от лица — оказывается, она вовсе не плакала — глаза ее были закрыты и лицо имело какое-то отчужденное, почти каменное выражение, — ага, она даже не хотела отвечать ему! — он стал кричать — она закрыла руками уши и стала мотать головой — вправо и влево, а затем, чуть приоткрыв рот, стала нарочно болботать языком что-то невнятное, словно поддразнивая его, — он метался между кроватью и окном, то хватая ее за руки, пытаясь отвести их от ее ушей, то крича, что он сейчас выбросится из окна, — но она ничего не хотела знать и, мотая головой, закрыв глаза, продолжала был-блывать, — тогда, сбросив с себя берлинский сюртук, он рванул на себе жилет, так что затрещала материя и пуговицы посыпались на пол — без жилета костюм не возьмут в заклад, но это только еще пуще раззадорило его, — теперь ему хотелось сделать что-нибудь совсем уже непоправимое — задушить ее, — он встал на колени возле кровати и начал с ненавистью всматриваться в ее лицо — она лежала на спине, закрыв глаза, заткнув руками уши, тесно сжав губы, словно желая отгородиться от окружающего ее мира, — кто-то постучал в дверь соседней комнаты — он вскочил с колен, словно пойманный с поличным, и побежал через соседнюю комнату к двери — это была Marie, — возможно, ее прислала хозяйка, а может быть, она пришла сама, но увидев жильца с всклокоченной бородой и в разорванном жилете, только широко открыла рот и тут же убежала, — когда он вернулся, Анна Григорьевна лежала, укрывшись с головой, и потертые сапоги ее стояли рядом с кроватью — один

из них даже завалился на бок и был виден почти наполовину стоптанный каблук — она так и не сумела отдать их в починку, — горячая волна нежности и умиления захлестнула его — он снова опустился на колени возле кровати и стал целовать край одеяла, укрывавший ее лицо, а потом, осторожно приподняв его, увидел, что она спала, — на следующий день утром, сопровождаемый напутствием Анны Григорьевны, он, крадучись, вышел из квартиры, неся в руке ее сиреневое платье, связанное в узел, — благополучно миновав дверь хозяйки, — потому что ни ей, ни прислуге не следовало его видеть с этим узлом, — он вышел из подъезда чуть пригнувшись, прижимая к себе узел, держась поближе к домам, и, словно цыган-конокрад, побежал по улицам только что проснувшегося Бадена к лавке Weismann'a. Пять талеров, полученных за платье, он тут же проставил, с первого же удара, и, хотя в этом было что-то новое, потому что первые два-три удара он обычно брал, это его не удивило и даже не огорчило — он катился теперь под гору все быстрее и быстрее — и в своем безостановочном захватывающем дух падении натыкался на все, попадавшееся ему по пути, даже не замечая ударов, — выйдя из здания вокзала, он побежал в "Европу", — не различая улиц, не отдавая себе отчета в том, что делал, — знакомый метрдотель, загораживая ему своей плотной фигурой дорогу, сказал, что господин Тургенев уже съехали — он не поверил и попытался обойти его, нацелившись на широкую мраморную лестницу, устланную ковровой дорожкой, метрдотелю пришлось широко расставить руки, чтобы не пропустить его, — именно в этот момент появился Гончаров — он спускался по лестнице не торопясь, тяжело неся свою оплывшую фигуру, опираясь на трость с серебряным набалдашником, — увидев Достоевского, он остановился на самой нижней ступеньке и лениво подал ему свою пухлую руку — сверху вниз — вяло рассматривая его своими рыбьими глазами, — метрдотель неохотно ретировался, словно пес, загнанный хозяином в будку, — Гончаров молча выслушал посетителя, что-то горячо говорившего ему и даже размахивавшего руками, — вынув кошелек, пыхтя и отдуваясь, словно он поднимался вверх по лестнице, он достал оттуда три золотые монеты и отдал их гостю — коротко поклонившись Гончарову, Достоевский почти выбежал из вестибюля и снова бросился к зданию вокзала. Он проиграл все три золотых, сразу же, даже с какой-то лихорадочной готовностью, словно был одержим ненасытным

желанием проигрыша или играл в поддавки — быстрота падения все более захватывала его, — если он не сумел преступить через какую-то черту в своем движении к вершине и катился теперь вниз, то неужели и здесь была какая-то черта, какая-то граница, за пределы которой ему не дано было ступить? — ведь здесь не было никаких внешних обстоятельств — нужно было только отдаться этому движению, этой стихии, — закрыв глаза, он летел вниз, — знакомые лица, водившие свой хоровод, были теперь уже где-то наверху — усмехаясь, они снова показывали на него пальцами, многозначительно перемигиваясь и ухмыляясь — Тургенев со своей величественной осанкой, львиной гривой и лорнетом, нацеленным на него, — Гончаров, отдувающийся после завтрака из шести блюд, — Некрасов и Белинский, увлеченно беседующие о каком-то постороннем предмете, — Панаев с висячими мокрыми усами и хмельным взглядом, — а там дальше еще фигуры и лица, знакомые и незнакомые — все они переглядывались и подмигивали друг другу, указывая на него, но — странное дело — хоровод их был жалким, — им не дано было испытать этого головокружительного падения, которому он отдался — унижительно только нечто промежуточное, среднее, цепляющееся за умеренность и благоразумие — именно такими они были, — только идея, всепоглощающая и захватывающая идея раскрепощает человека, делает его свободным и ставит надо всем, — даже если средством осуществления такой идеи является преступление, — все эти господа неспособны были не только отдаться такой идее, но даже понять ее, — все они постоянно что-то рассчитывали и взвешивали, подчиняя свою жизнь меркантильным соображениям, — прибежав домой и упав на колени перед Анной Григорьевной, самозабвенно каясь в проигранных деньгах, он ни на секунду не расставался с этим ощущением захватывающего падения, дававшим ему чувство превосходства над окружающим миром и даже некоторой жалости к окружавшим его, — полчаса спустя он уже бежал по раскаленным послеполуденным улицам Бадена, неся в руке большой узел, в котором на сей раз находилась берлинский костюм, который Анна Григорьевна починила в его отсутствие, — Weismann'a не оказалось дома, тогда он побегал к Jesel'ю, но сумма, которую назвал Jesel, была просто смехотворной — он снова побегал к Weismann'у через полчаса, расталкивая любопытных игроков, — потому что теперь ему было все равно и даже хотелось, чтобы его толкнули или оскорби-

ли, — он пробирался к игорному столу — из двенадцати франков, полученных за костюм, он сразу проиграл три — знакомое чувство захватывающего дух падения охватило его — пусть они видят и знают, с какой легкостью и даже радостью он проигрывает — они, дрожащие над каждым крейцером, рассчитывающие каждое свое движение, — он поставил на *parse* еще три франка и снова проиграл — он ставил с необыкновенной легкостью и так же легко отгребал от себя проигранные деньги — знакомая карусель вращалась вокруг него — фигуры с желтыми восковидными лицами, словно из кунсткамеры, заложив руки в карманы своих жилетов, нащупывая на дне их какие-то жалкие сантимы или крейцеры, с завистью смотрели на то, с какой легкостью он проигрывал свои франки, — в это время по одной из боковых аллей, в стороне от заполненной расфранченными парами *Zichtenhaler Allee*, одетая в свое штопаное платье, решительными шагами шла, даже почти бежала Анна Григорьевна, — около вокзала она замедлила шаг, стараясь придать себе уверенный и равнодушный вид, — поднявшись по лестнице, она сразу же прошла в боковую залу, зная, что Федя первую половину дня обычно играл в главной, — вынув из кошелька один франк, припрятанный ею на самый крайний случай, если бы, скажем, их стали выгонять из квартиры, она, не раздумывая, поставила его на *rouge* и выиграла, — поставила снова — теперь на *poige* — и снова взяла — ее охватило чувство, похожее на то, которое испытывает человек, долго не решавшийся войти в воду, но, наконец, вошедший и ощутивший всю прелесть купания, — она уже выиграла десять франков, этого было мало — она стала ставить еще и еще, и кучка франков, лежавшая возле нее на зеленом сукне, стала редеть — она начала проигрывать, — рядом с ней стояла какая-то дама в светлом платье и в шляпке с вуалью — дама тоже играла, но успевала поставить раньше, чем Анна Григорьевна, потому что вуаль ее каждый раз сцеплялась с цветком в шляпке Анны Григорьевны, и это мешало ей сосредоточиться — впрочем, возможно, что Анна Григорьевна позаимствовала это от Федя, которому то и дело кто-то мешал во время игры, — в это время Федя, игравший в средней зале, неожиданно взял на *tanque*, потом на *rouge* и даже на *zero*, и чем нерасчетливей и бездумней он ставил, поскольку он все еще играл в поддавки, тем вернее выходил выигрыш, — в какой-то момент он даже подумал, что, может быть, в этом и состоит система — играть вот так, бессистем-

но, но мысль эта только промелькнула — лица играющих и любопытных снова закружились вокруг него, хотя он их теперь почти не замечал, — он снова поднимался в гору, и знакомые лица, видевшие свой хоровод, теперь уже были где-то внизу, а на вершине горы, покрытой облаками, проглядывал знакомый хрустальный дворец — он поставил на zero и сразу спустил почти половину выигранной суммы, поставил на rouge и снова проиграл — вокруг него все как-то сразу потускнело, на лицах окружавших теперь проглядывала еле сдерживаемая радость, карусель вращалась уже только по инерции — он снова летел с горы, больно ушибаясь и чувствуя, что ему не за что ухватиться, — вся его теория с падением ничего не стоила — он просто придумал ее, чтобы сделать не столь болезненными свои ушибы, представив их себе и другим в ореоле какой-то великой идеи и жертвенности — впрочем, не поступаем ли и мы подобным образом, то и дело обманывая себя, придумывая удобные теории, призванные смягчить удары, наносимые нам судьбой, или оправдать наши неудачи и слабости? — не в этом ли кроется разгадка и так называемого перелома, который произошел с Достоевским на каторге? — болезненное самолюбие его никогда не сумело бы смириться с теми унижениями, которым он подвергался там, — выход был только один: считать эти унижения заслуженными — “Я несую крест, и заслужил его”, — писал он в одном из писем, — но для этого следовало представить все свои прежние взгляды, за которые он пострадал, ошибочными и даже преступными, — и он сделал это, неосознанно, конечно, — за окном, покрытым серовато-грязной пеленой снега, извивающейся красной змейкой проскочила неоновая надпись: “Ижорский завод” — “Ижоры” — это был уже почти Ленинград, его пригороды, его дачи, его окраины, населенные светловолосыми чухонцами с невыразительными бескровными лицами — впрочем, мне больше хотелось так думать — “Подъезжая под Ижоры...” — невольно вспомнил я пушкинскую строку, которую почему-то всегда вспоминал в этом месте — дань штампу мышления, ничего не поделаешь, — почему-то вслед за этим обязательно приходила мысль, что Пушкин ел здесь пожарские котлеты, — возможно, это связано с близостью созвучий в словах “Ижоры” и “пожарские”, а может быть, он действительно ел там пожарские котлеты, ожидая переключных и небрежно флиртуя с дочерью станционного зрителя, — а по столбовой дороге, ведущей в Петербург, в сгущающихся

сумерках мела поземка, — проиграв почти все и оставшись с несколькими франками, Федя направился из главной игровой залы в боковую, где к своему удивлению увидел игравшую Анну Григорьевну — сначала он даже решил, что обознался, — но это была она, в своей фиолетовой шляпке с цветком, — рядом с ней стояли какие-то чужие мужчины во фраках и несколько дам — он протиснулся к игорному столу и подошел к ней, но она, видимо, только что поставила, потому что неотрывно и напряженно следила за быстрым движением метавшегося шарика — он взял ее за руку — рука ее была холодная — она вздрогнула и, увидев его, побледнела, но ему почему-то вдруг стало удивительно весело и смешно — “Жена-игрок” пришло ему в голову, и одновременно знакомое чувство нежности и жалости к ней охватило его — она решилась даже на это, чтобы как-нибудь выправить, спасти их положение — держа ее за руку, он отвел ее в сторону от стола — в глазах ее стояли слезы стыда и досады, но она смотрела на него все так же исподлобья, как всегда, — “эдакая бука” — он нежно погладил ее руку — они вышли из здания вокзала и, не сговариваясь, пошли по боковой аллее по направлению к горам — она опираясь на его руку, а он то и дело заглядывая ей в глаза, теперь уже высохшие от слез, со светившейся в них улыбкой — он несколько раз повторил фразу: “Жена-игрок, ай-ай!” и ей самой стало смешно и весело — они вышли на поросший кустарником откос и стали не торопясь взбираться на гору по направлению к Старому замку — когда они вышли на лестницу, ведущую вверх, Федя до того развеселился, что стал пританцовывать и каким-то особым образом притоптывать, сказав, что это он исправляет свои каблуки, которые у него неравно стоптаны, а нужна симметрия, — а потом, уже наверху, когда они пошли по направлению к замку, он принялся измерять число шагов до каждой скамейки, попадавшейся им по пути, — подходя к намеченной скамейке, он то удлинял свои шаги, то укорачивал их, так что это были уже не шаги, а шажки — ему нужно было обязательно уложиться в определенное число, а число это не выходило, и это не предвещало ничего хорошего, но Анна Григорьевна не знала этого и думала, что он просто дурачится, — кончив свою затею со скамейками, он вдруг встал в театральную позу: опустившись на одно колено и размахивая одной рукой, словно приветствуя кого-то, — эту позу он принял, услышав шум приближавшегося экипажа — вероятно, он что-

то загадал или решил выдержать себя, но экипаж оказался пустым — только один кучер, сидевший на переднем сиденье и почти спавший, — и Федя с Анной Григорьевной долго смеялись этому происшествию, — а потом они стали взбираться по узкой витой лестнице, пока не достигли самой верхней площадки замка, — Анна Григорьевна почувствовала усталость и присела на скамейку, с которой открывался прекрасный вид на Рейн и Баден, а Федя подошел к краю площадки и закричал: “Прощай, Аня, я сейчас кинусь!” — где-то далеко внизу живописно извивался голубой Рейн и распростерся Баден с его готическими церквями, островерхими черепичными крышами и густой зеленью садов и парков — вон там, левее красно-кирпичной кирпичи, среди зелени, виднелось белое, словно игрушечное, здание вокзала, где под желтым светом люстр, в табачном дыму, ставились и проигрывались деньги, и протягивающиеся руки жадно загребали их, но все эти играющие походили больше на марионеток из кукольного театра — кто-то невидимый дергал невидимые нити, и марионетки во фраках с желтыми восковидными лицами странно дергались, совершая свои неестественные движения, — как все это было разительно непохоже на огромный простор, открывающийся взгляду с края площадки! — почти на одном уровне с ним проносились ласточки, а где-то еще выше, на уровне скал, нависших над замком, парили какие-то большие птицы — может быть, горные орлы, а может быть, ястребы, а еще выше синело небо, переходя даже в какую-то космическую черноту, так что казалось, что сейчас появятся звезды, и он почувствовал странное желание оторваться от площадки, на которой стоял, и воспарить куда-то вверх к этому сине-черному небу, слиться с ним, и слиться с иными мирами, возможно, еще только зарождающимися или только что родившимися, но уже обитаемыми человечеством, переживающим свой золотой век, — Анна Григорьевна стояла теперь рядом с ним, крепко держа его за руку, и лицо ее было бледно — он отвел ее на скамейку и, бросившись перед ней на колени, стал целовать ей руки — как мог он забыть о ней и о Мише или Соне, заставив ее подниматься так высоко и пугая своими нелепыми криками? — на обратном пути они зашли на почту спросить писем, и им выдали письмо на имя Анны Григорьевны, а в него были вложены сто рублей, которые прислал Ваня, ее брат, — теперь они могли отдать долг хозяйке и не прятаться больше от нее, — и можно было выкупить брошь, серьги, обручальные коль-

ца и вещи и, наконец, уехать из этого проклятого места. Они решили, что уедут на следующий день, и придя домой, Анна Григорьевна принялась за укладку чемоданов, а Федя пошел обменять деньги, чтобы выкупить брошь, серьги и обручальные кольца, — но когда чемоданы были уже почти упакованы и Анна Григорьевна решила выйти погулять, чтобы встретить Федю, она вдруг обнаружила, что нет ее шиньона, — она еще вчера носила его и только сегодня, идя в вокзал, решила не надевать — наверное, это скверная Marie украла или нарочно спрятала его, — однажды уже была такая же история с ее панталонами — она все обыскала, но потом вдруг нашла их в самом нижнем ящике комода, куда их без сомнения подложила Marie, — теперь эта негодница припрятала ее шиньон в отместку за то, что она и Федя не дали ей как-то груш, а дали Терезе, — она позвала Marie, но та сказала, что видела шиньон накануне и что, наверное, Анна Григорьевна сама его потеряла, — и Анна Григорьевна должна была молча снести это оскорбление, — но как раз в это время явился Федя — он был бледен и, привычно упав на колени, сказал, что проиграл деньги, которые Анна Григорьевна дала ему на выкупку броши, серег и колец, — надо было спасти оставшиеся деньги, — Анна Григорьевна с неизвестно откуда взявшейся силой подняла Федю с пола и сказала, что они сейчас вместе идут к Weissman'у, потому что она ему больше не доверяет, — Федя принял это как должное — они побежали по вечерним улицам к Weissman'у, боясь не застать его, но он еще был у себя в лавке — они выкупили у него костюм, серьги, брошь и кольца — придя домой, Федя снова упал на колени — он просил десять франков, только десять, чтобы попробовать еще один раз, единственный и последний — такого случая никогда больше не представится, ведь они уезжают отсюда, — в этот самый последний раз он должен выиграть, хотя бы небольшую сумму — пусть всего только десять франков — но главное, выиграть беспроигрышно, не проставив ни одного франка, — тогда бы он уехал со спокойной душой, потому что последнее слово было бы за ним, — и тогда все это имело бы вид равнобедренного треугольника, пусть с очень острыми боковыми углами и тупой вершиной, но зато с вершиной, хоть с какой-то вершиной — иначе все это было бы похоже на обычную, ничем не завершающуюся горизонталь, — получив десять франков, почти споткнувшись о небольшой порожек двери, он выбежал на пустынную Zichtenhaler Allee, направляясь к зданию вокзала, а Анна Григорьевна занялась

поисками шиньона и переупаковкой одного чемодана, потому что туда должны были войти три тарелки, чашка и блюдо, — Федя вернулся с наигранно-поникшим видом и с большим пакетом абрикосов, который он держал за спиной, — он выиграл с первого же удара, потом поставил на *parse* и снова выиграл — больше он не играл, он поставил точку — глаза его излучали спокойствие и радость, так что он даже вначале не обратил внимания на рассказ Анны Григорьевны о пропаже шиньона, о ее подозрениях и о грубости *Marie*, — но когда он стал уговаривать Анну Григорьевну съесть абрикосы, которые тщательно вымыл и разложил на тарелке, а она почему-то отказалась от них и снова принялась за поиски злополучного шиньона, он вдруг ощутил прилив страшного раздражения, чем-то походившего на мучительную изжогу, — она обязательно должна была ему испортить этот радостный момент его жизни, это торжество, пусть мелкое, ничтожное, но торжество, — из-за какого-то несчастного шиньона он не мог теперь полностью ощутить радости бытия — он специально бегал за абрикосами на другой конец Бадена, потому что все лавки уже были закрыты, и еле уговорил какого-то немца, уже запиравшего свой магазин, продать ему эти абрикосы для большой жены — *”fur meine liebe kranke Frau”* — так он и сказал, желая разжалобить немца, тем самым унизившись перед ним, а она даже не спросила его, где он достал их так поздно, — и все искала этот проклятый шиньон — он стал кричать ей, что она мелочная, и всегда все ему портит, что шиньоны носят вообще только старые девы, — она перестала искать, выпрямилась и посмотрела на него — она смотрела на него в упор, исподлобья, но в глазах ее не было не только слез, но даже и укора, а один только вызов и холодное отчаяние человека, решившегося на что-то, — *”Я уезжаю завтра одна, рано утром, а вы как хотите”*, — она сказала это изменившимся чужим голосом и, подойдя к чемоданам, нагнувшись, стала выкладывать оттуда его вещи — костюм, белье, платки — и то, как она делала это, не оставляло сомнения в ее решимости — такой он еще никогда ее не видел — это был чужой, незнакомый ему человек — молодая женщина с усталым, почти изможденным лицом, непонятно каким образом оказавшаяся в одной с ним комнате, — нет, наверное, все это ему почудилось — ведь эта женщина должна была стать матерью его детей, их детей, и еще только сегодня, несколько часов назад, она подошла к нему, когда он стоял на краю пропа-

сти, настойчиво и нежно взяла его руку и увела от этого края, будто он и впрямь собирался броситься вниз — значит, она любила его, — она продолжала все так же спокойно перепаковать чемодан, выкладывая его вещи, — он на секунду представил себе, как она уезжает и он остается один в этих двух комнатах, обставленных скупой хозяйской мебелью, с оглушительным плачем детей, доносящимся откуда-то сверху, и с таким же оглушительным стуком кузнечного молота со двора, и как он возвращается откуда-нибудь и входит в пустые комнаты, и никто не радуется его приходу и не торопится напоить его чаем, — а ночью, проснувшись, он подходит к ее кровати, чтобы попрощаться с ней, и ощупывает одеяло и постель, но постель пуста — она продолжала выкладывать какие-то вещи, затем снова подошла к комоду, даже не удостоив его взглядом, — “Аня, ты с ума сошла!” — он упал на колени и пополз к ней, схватил ее руку и прижал к губам, — она все так же спокойно отняла свою руку — это спокойствие и было самым пугающим, — он вскочил на ноги, он хотел повернуть ее лицо к своему, посмотреть в глаза, но внезапно пол качнулся под ним, и вместо ее лица, которое он ожидал увидеть, потому что он точно помнил, что взял руками ее голову, он увидел какое-то странное расплывающееся белое пятно — пятно это, теряя свою белизну, стало быстро увеличиваться и наливаясь голубизной, перешедшей затем в синий и даже в черно-синий цвет — как то небо, которое он видел сегодня, стоя на краю крепости, — теперь он полулежал на коврике между ее кроватью и стеной, куда дотащила его Анна Григорьевна, задыхаясь под тяжестью его тела, — она подложила ему под голову подушку — судороги уже заканчивались, но на губах еще оставалась пена, и она вытирала ее — медленно открыв глаза, он посмотрел на нее неузнавающим взглядом, — “Commi sa” — сказал он почему-то по-французски — “Я здесь, Федя, здесь, с тобой”, — присев на колени рядом с ним, она крепко прижалась своей щекой к его холодному потному лбу, — “Я с тобой, здесь”, — повторила она, и повтор этот прозвучал как вздох скорби и нежности.

Поезд из Бадена уходил в два часа пополудни, но уехать без шиньона было невозможно, и поэтому с самого утра поиски шиньона возобновились с новой силой: попеременно вызывались то Marie, то Тереза, и Анна Григорьевна и Федя устраивали им перекрестный допрос. Федя, находившийся после припадка осо-

бенно не в духе, раздражался и даже кричал, — проснувшись утром и еще не открыв глаза, он с неприятным для себя чувством увидел перед собой какой-то треугольник с изъеденной вершиной — напрягая мысль, он пытался вспомнить, что все это должно было обозначать, и неожиданно вспомнил: пропавший шиньон — да, именно это и делало треугольник незавершенным — они не могли уехать отсюда вот так вот, не найдя шиньона, — Marie и Тереза искали во всех углах, — потом Тереза ушла, а Marie принялась искать в постели Анны Григорьевны и в Фединой постели — и в конце концов обнаружила шиньон за Фединой кроватью, — Федя стал уверять, что только сегодня утром смотрел и шиньона там не было, — а теперь он явился, — следовательно, это Marie подложила его, — Marie со слезами на глазах побежала к хозяйке, которая ворвалась в комнату и стала кричать, что воровок она не держит, — она ударяла себя в плоскую грудь, — Анна Григорьевна называла ее M-me Thenardier — по имени героини романа Гюго, бесчеловечной женщины с громким смехом и мужскими замашками, — но Феде она почему-то напоминала сейчас какую-то очень знакомую старуху — он вспомнил — Катерину Ивановну из “Преступления и наказания”, когда она на поминках иступленно доказывала свое благородное происхождение под смех всех присутствующих, в особенности же хозяйки, Амалии Ивановны, этой тупой и надменной немки, — все эти мысли пронеслись в его мозгу как бы между прочим, — голос хозяйки слышался теперь где-то за дверьми — история с шиньоном была закончена, — он сидел за письменным столом, подперев подбородок ладонями и закрыв глаза, и перед его внутренним взором снова всплыл знакомый треугольник с изъеденной, выщербленной вершиной — то, что он выиграл вчера, было взято с двух ударов, — ему следовало поставить еще на третий удар — только нечетная цифра, в особенности цифра три, могла быть завершающей — до отхода поезда оставалось еще больше двух часов — за это время можно было еще выиграть целое состояние — он терял последнюю возможность, последний шанс, сидя вот так вот бессмысленно за столом, в то время как там, совсем невдалеке, в белом двухэтажном здании со шпильями, за высокими окнами, задрапированными изнутри тяжелыми зелеными портьерами, на столах, покрытых зеленым сукном, под светом люстр, пробивающихся сквозь облака табачного дыма, золотились груды монет, — словно оклады церковных икон в мерцающем свете свечей, проби-

вающемся сквозь облака ладана, — выпросив у Анны Григорьевны “последние” 5 франков, он помчался по направлению к вокзалу, — сам не сознавая что делает, протиснулся к столу, выложил свою единственную 5-франковую монету, снова поставив на нечет — шарик бешено метнулся и почти сразу же вскочил в зего — восклицания радости и отчаяния раздались одновременно с разных сторон — несколько игравших сорвали огромный куш, остальные — проиграли, может быть, целое состояние, — он пробирался сквозь толпу посетителей, втянув голову в плечи он снова катился с горы, теперь уже окончательно и бесповоротно, даже не пытаясь ни за что ухватиться, — когда он прибежал домой, запыхавшийся и бледный, Анна Григорьевна объяснялась с хозяйкой, которая требовала еще одиннадцать гульденов, — горячася, хозяйка снова ударяла себя в грудь и кричала, что у нее гульденов и без того больше, чем у Анны Григорьевны и Феде, — потом она стала требовать деньги за прислугу и за дрова — Анна Григорьевна протянула ей два гульдена, — хозяйка сказала, что это мало, — а когда Анна Григорьевна прибавила еще гульден, снова стала бить себя кулаком в грудь и кричать — когда она, наконец, ушла, Федя побежал за извозчиком, — как только он ушел, хозяйка вернулась и стала требовать восемнадцать крейцеров за разбитый горшок, — в это время Федя пришел с коляской, весь взмокший, так что Анна Григорьевна боялась, что он простудится, — хозяйка то вбегала, то снова выбегала из комнаты, что-то требуя, ударяя себя кулаком в грудь, — наскоро поев булку и полфунта ветчины, которые Федя купил, когда бежал за извозчиком, они вышли из комнат и стали спускаться по лестнице, — хозяйка вышла их провожать, а Marie, стоявшая на площадке, даже не повернула головы в их сторону — здакая неблагодарная девчонка, они столько раз давали ей фрукты и всякие мелочи, — на улице возле коляски им встретились только скверные дети кузнечихи, которые все эти дни не давали им спать, — когда Анна Григорьевна и Федя взобрались в коляску, в окне показались лица хозяйки и Marie — хозяйка кричала им что-то угрожающее, Marie смотрела все так же равнодушно и невидяще, — коляска тронулась — подковы лошадей зацокали по клинкеру — они ехали по знакомым баденским улицам, обсаженным белыми акациями, мимо знакомых домов с черепичными крышами и закрытыми ставнями — Федя сидел согнувшись, в своем выкупленном, довольно уже потертом черном берлинском костюме, поддерживая узел, в который

были связаны книги, — Анна Григорьевна была в своем фиолетовом платье и мантилье, которую тоже удалось выкупить, мантилья очень кстати прикрывала штопки на платье — на голове у нее была шляпка с вуалью, а у Феде — его темная шляпа, которую он то и дело снимал, чтобы вытереть пот — они ехали сейчас по Zichtenhaler Allee, и Анне Григорьевне казалось, что они жили здесь очень долго, целую вечность и что, может, кроме этого в их жизни ничего больше не было, и она все время боялась, что еще случится что-нибудь такое, что помешает им отсюда уехать, — она то и дело посматривала на часы на башне городской ратуши, которая виднелась с разных концов города, — но слава Богу, они приехали вовремя, и пока носильщик относил их чемоданы в багаж, Федя побежал за билетами — поезд стоял уже под парами, — узел с книгами, предназначенный для вагона, лежал на скамейке возле Анны Григорьевны, — и в этот момент появилась Тереза — она бежала по платформе, озираясь по сторонам, — сердце у Анны Григорьевны упало, — она так и предчувствовала, что они не уедут отсюда, — увидев Анну Григорьевну, Тереза подбежала и, запыхавшись, начала что-то быстро говорить — оказывается, Анна Григорьевна захватила с собой ключ от квартиры — облегченно вздохнув, она начала рыться в сумочке и действительно нашла ключ — у нее была такая дурная привычка забирать ключи от квартиры — вместе с ключом она дала Терезе несколько крейцеров — Тереза поблагодарила и пожелала счастливого пути — она была самый лучший человек в Бадене, — такая забитая, покорная, — ей, конечно, неловко было, что с ними так плохо обошлись, — в вагоне было жарко и душно, но потом поезд наконец тронулся и стало немного прохладнее — мимо окон проплывали красно-кирпичные дома с черепичными крышами, — вдали виднелись горы, покрытые зеленью, — теперь, когда они безвозвратно уезжали отсюда, она снова, как и в первый раз, когда они подъезжали, увидела красоту этого городка и окружавших его гор, — где-то вдали блеснул своей голубизной Рейн, и ей на секунду стало грустно, — “Разлука, как ни кинь, смерть” — много лет спустя писала Цветаева — покидая даже самые неприятные места, я тоже всегда испытываю чувство грусти, — наверно оттого, что знаю, что никогда уже более туда не вернусь, — Федя где-то раздобыл красный виноград, очень вкусный, они ели его под перестук колес — к сожалению, Федя купил слишком мало, — за окнами тянулись знакомые Шварцвальды и Тюрингены, — затем

начались бесконечные остановки, — одни соседи стали сменять других — появились какие-то две старушки и дама с железной палкой, ехавшая в Базель, — затем пожилая дама с суровым лицом, желавшая, как почему-то решила Анна Григорьевна, выйти замуж, — молодой немец, наступивший Анне Григорьевне на ногу и любезно извинившийся, очень словоохотливый, отчего Федя сразу забился в угол дивана и оттуда молча сверлил Анну Григорьевну и немца сердитым взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, — потом какая-то дама в трауре, поинтересовавшаяся, есть ли в России еще паспорта и принявшая Анну Григорьевну за немку, что Анна Григорьевна расценила как оскорбление и даже грубость, — на одной из станций Федя вышел купить бутербродов, но у него не оказалось мелочи, и он дал продавцу десять франков, а продавец, возвращая сдачу, недодал ему один франк, а когда Федя сказал ему о недоданном франке, тот сделал вид, что не слышит, — в это время раздался третий звонок, Федя закричал изо всей мочи, перекрикнув даже свисток паровоза, чтобы тот отдал его франк, — а потом ворвался в купе, взъерошенный, красный, и в ужасном волнении стал рассказывать все это словоохотливому молодому немцу, и громко прибавляя, что нигде нет столько мошенников, как в Германии — две старушки, все еще находившиеся в купе, сказали, что это неправда, а молодой немец из любезности согласился, — так что Федя, очевидно, почувствовал себя до некоторой степени отомщенным — за свои злоключения с бутербродами и явные ухаживания этого немца за Анной Григорьевной — за окном снова показался Рейн, широкий, с зеленоватой водой и с камнями посередине, — за покрытыми снежной пеленой окнами медленно плыли туманно расплывающиеся пятна — огни на перроне Московского вокзала, — пассажиры нетерпеливо стояли в проходе с чемоданами и сумками, дверь, ведущая из тамбура, была открыта, и морозный пар врвался в вагон — поезд остановился — держа в руке чемодан, я вышел вслед за другими на платформу и пошел среди суетящейся толпы приехавших и встречающих по направлению к туманно светящемуся сквозь морозную дымку зданию вокзала — возле соседней платформы стоял фургон, нагруженный большими синими спортивными сумками, из которых торчали хоккейные клюшки — это команда московских динамовцев, игравшая сегодня с ленинградским “Зенитом”, возвращалась в Москву на “Красной стреле”.

На площади перед Московским вокзалом было почти пустынно — большая часть приехавших исчезла в метро, остальные пошли к трамвайной остановке, находившейся слева от площади, то есть фактически уже на Лиговке, и только небольшая кучка наиболее отважных и отчаянных пыталась поймать такси, время от времени подъезжавшие к зданию вокзала, — вокруг каждой машины с зеленым огоньком возникал бой — время приближалось к полуночи — в лучах фонарей и прожекторов, освещавших площадь, видны были медленно падающие редкие снежинки, от морозного воздуха слипались ноздри, под ногами поскрипывал снег, — прямо перед площадью проглядывался почти пустынный Невский проспект с двумя цепочками фонарей, постепенно сходящимися и тонущими где-то в ночной морозной мгле, — вдали угадывались редкие движущиеся огоньки последних троллейбусов — обходя площадь, я пересек сначала Лиговку — где-то там, в темноте, прочерчиваемой лишь еле видимой цепочкой фонарей, чуть в стороне от Лиговки, рядом с Кузнечным рынком, находился обычный серый петербургский дом, в котором он жил последние годы своей жизни и где умер на своем кожаном диване, под фотографией Сикстинской мадонны, подаренной ему кем-то из друзей ко дню рождения, — я пересек Невский там, где он вливается в площадь, и вышел на улицу Восстания, бывшую Знаменскую — по этой улице он тоже часто ходил, посещая жившего здесь Майкова или возвращаясь из редакции или типографии, помещавшихся на Невском, к дому Сливчанского, где некоторое время жил он сам, — приезжая в Ленинград, я всегда останавливался у нашей приятельницы, которая жила на Знаменке еще с довоенных времен. Снег поскрипывал под ногами, чемодан не очень отягощал меня, я шел не торопясь, с удовольствием вдыхая ночной морозный воздух, глядя на цепочки фонарей, такие же прямые и ровные, как на Невском, и так же сходящиеся и теряющиеся где-то вдали, — на перекрестке я остановился, пропуская заворачивающий со скрежетом трамвай — два или даже три сцепленных вагона с заиндевевшими окнами, сквозь которые едва проглядывали одинокие тени ночных пассажиров, — дом, где жила наша приятельница, находился сразу за перекрестком, — я вошел в знакомый обшарпанный подъезд, где всегда пахло кошками, и стал подниматься на третий этаж по крутой

каменной лестнице со сбитыми и стоптанными ступенями — остановившись перед высокой, потемневшей от старости дверью, я позвонил, повернув ручку старинного звонка, но не услышал движения за дверью и еще раз крутанул ручку — последнее время Гильда Яковлевна стала плохо слышать — наконец за дверью послышались тихие шаги — заскрежетал замок — в проеме высокой двери появилась маленькая старушка в халате, с морщинистым лицом, ямочкой на подбородке и темными волосами — она регулярно красила их и потому в моих глазах никогда не была старушкой, а была просто Гилей, как я называл ее в детстве, когда мы еще жили в одном городе и она была самой близкой подругой моей матери, — нагнувшись, я поцеловал ее в мягкую морщинистую щеку, и она быстро чмокнула меня в ответ, — “Ты на трамвае? Я так и думала, что поезд опоздал. Я уже звонила на вокзал. Какая погода в Москве?” — быстро заговорила она, закрывая дверь изнутри на засов, и следуя за мной в комнату, куда я уже входил как хозяин. — “Я тебе уже постелила. Блинчики разогреть или поешь холодные? Есть пирожки из Елисеевского. А мама все еще на диете? Попробуй курицу — это Анна Дмитриевна сварила. Завтра у нас на обед суп с клецками, твой любимый, а на второе — телячьи отбивные. Я еще вчера ходила на рынок. Вы в Москве тоже пользуетесь рынком?” — Небольшой круглый стол был накрыт и уставлен едой, старая продавленная кушетка была аккуратно постелена, а на белоснежной подушке лежала еще и думочка. — “Гилечка, зачем ты ходила в такой мороз на рынок, а уж с постелью вполне могла меня подождать — неужели обязательно самой нужно подымать этот тяжеленный матрац?” — я лицемерно укорял ее, а она преувеличенно резким тоном — “Ай, оставь!” — отмахивалась от меня, и нам обоим было очень приятно, — сцена эта повторялась каждый раз, когда я приезжал, — открыв чемодан, я доставал оттуда шоколадный набор и бананы, которые Гиля очень любила, — “Ты с ума сошел!” — говорила она, не упустив при этом заметить, что бананы еще не совсем зрелые, — мама моя, зная Гилю “как свои пять пальцев”, по ее излюбленному выражению, всякий раз уверяла меня, что и шоколад, и бананы все равно перекочуют к “маленькой Тане”, внучке Гилиной бывшей приятельницы, которая умерла от рака, или к “Тане большой”, дочке Гилиного племянника, который развелся с женой, в чем Гиля чувствовала себя виноватой, потому что жена племянника была племянницей бывшего

гилиного шефа-академика и в свое время Гиля с необычайным рвением способствовала этому браку, — хотя справедливости ради, следует заметить, что часть бананов все-таки Гиля оставляла для себя, — взяв полотенце и ступая на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, я шел в ванную — большую проходную комнату, заставленную старой мебелью и корытами, где сама ванная занимала только часть помещения и была отгорожена ширмами, на которых постоянно сушилось белье, — квартиру населяли одни женщины: две пожилые сестры Хая и Циля Марковны, полные, с крашенными в рыжий цвет волосами, которых я так и не научился различать, тем более что к ним очень часто приходила еще третья сестра, жившая где-то на отшибе, — все они прекрасно готовили всякие цимесы, шкварки, фаршированную рыбу и пекли пахнущие корицей пироги и струдели, — затем дочь одной из двух сестер, не то Хаи, не то Циля Марковны, Лера, очень полная перезревшая девица, томившаяся по жениху, но тщательно и даже гордо скрывавшая это — в ожидании счастливого жребия она работала медсестрой на скорой помощи и, как правило, либо спала, либо отсутствовала, — дверь ее комнаты оставалась открытой, и можно было видеть ее кровать, почему-то всегда незастеленную, с огромной пуховой подушкой и небрежно откинутым голубым пуховым одеялом, — наконец, Анна Дмитриевна, высохшая старушка, когда-то, видимо, красивая и статная, но теперь с трясущейся головой и дрожащими руками, — она помогала Гиле в ведении хозяйства — некогда она владела всей этой квартирой — потом, после ужина, я лежал на кушетке, которая была мне несколько коротковата, и укрывшись заботливо приготовленным Гилей одеялом, листал том Достоевского, вытасченный наугад из старого дореволюционного собрания сочинений, которое вместе с другими такими же старыми изданиями в серых или темно-синих тисненых переплетах стояли на этажерке — Гиля свято хранила эти Мозины книги и так же свято ездила на могилу Мози в день его рождения или смерти, — он умер на Гилиной кровати двадцать с лишним лет назад — Моисей Эрнстовича у нас в семье называли Мозей — он был довольно высоким, подтянутым мужчиной, по-немецки аккуратным, абсолютно лысым, с небольшими усиками и насмешливыми черными глазами, над которыми нависали мохнатые брови, — он был профессором урологии, занимался частной практикой, а в молодости прекрасно играл в шахматы, так что даже получил звание мастера, и в нашей семье

считался человеком расчетливым и даже скупым, — Гиле он изменял, по-видимому давно — еще с моей теткой, той самой, у которой я взял “Дневник” Анны Григорьевны, — во всяком случае, у нас в семье постоянно рассказывали историю о том, как в молодости они втроем поехали отдыхать — Мозя, Гиля и моя тетка — и как они жили все в одной комнате — мама моя называла Гилю по этому поводу мазохисткой, — в тридцать седьмом году Мозю посадили, но благодаря чьим-то хлопотам вскоре выпустили, — Гиля часто рассказывала эту историю — как его взяли и как он возвратился — неожиданно позвонил в дверь поздно вечером, и она пошла открывать, думая, что это пришли за ней, — но оказывается, это был Мозя, — она бросилась к нему, не веря своим глазам, — женщину, с которой Мозя вернулся домой, Гиля называла “она” — “она” была помощницей Мози на кафедре — не то ассистентом, не то лаборантом, — он несколько раз уходил к ней на длительный период времени, — тогда Гиля приезжала к нам из Ленинграда, и они с мамой долго обсуждали создавшуюся ситуацию — за период своих странствований от Гили к этой женщине и обратно Мозя получил два инфаркта, а после третьего приехал умирать домой, но эта женщина не оставляла его, — “она” почти не отлучалась из дома и оставалась ночевать на Мозином диване, стоявшем напротив Гилюи кровати — спальня имела свой выход в коридор, так что “она” могла приходить, не беспокоя Гилю, которая уступила им спальню насовсем и жила в столовой, где обычно в дни приездов располагался теперь я, — Гиля спала на той же продавленной кушетке и готовила еду для них обоих, — но в день смерти Мози эта женщина почему-то отлучилась и не пришла даже к вечеру, а к ночи ему стало плохо, не хватало воздуха, он попросил Гилю помочь ему встать, чтобы сделать несколько шагов по комнате, — он думал, что так ему станет легче, — Гиля помогла ему встать, и опираясь на нее, он сделал несколько шагов по направлению к своему столу, — в эти несколько последних минут его жизни они с Гилей были вдвоем в своей квартире, как в былые времена, — на секунду Гиле показалось, что никакой женщины не было и весь этот последний период ее жизни — просто дурной сон, вот она помогает своему больному мужу пройти по комнате, и это естественно, и как могло быть иначе, — потом ему снова стало хуже, и он попросил проводить его до кровати — Гиля помогла ему улечься, на лбу его выступил холодный пот, дыхание остано-

вилось, и Гиля сама закрыла ему глаза — в их собственной квартире на своей кровати — в отсутствие этой женщины, которая непонятно по какому праву жила здесь и пользовалась услугами Гиля, не прогнавшей ее, чтобы не огорчить Мозю, — в общем он умер на ее руках, как положено умереть законному мужу, и это давало ей некоторое утешение во все последующие годы ее вдовства, — так что она даже любила рассказывать, как он умер на ее руках, — свет от старинной настольной лампы с зеленым абажуром — бывшей Мозиной лампы, постоянно стоявшей на его письменном столе, — падал на страницы книги, которую я читал, — круг света, падавший на книгу, колебался — это на улице проносился трамвай и дом чуть-чуть дрожал и трясся, хотя был очень старым и устойчивым, — в соседней комнате Гиля еле слышными глотками запивала снотворное, а затем гасила свет над своей кроватью, — “Ты все еще увлекаешься Достоевским?” — спрашивала она меня и, не дождавшись ответа, тут же добавляла: “Не говори только об этом у Бродских”, — Бродский был бывшим ее шефом, и хотя она давно уже не работала, но все еще продолжала поддерживать дружеские отношения с ним и со всей его семьей, в особенности же с его женой, сухощавой энергичной Дорой Абрамовной, — Бродские отмечали все еврейские праздники, не ели тrefного и уже много лет собирались в Израиль — в этот вечер, лежа на продавленной кушетке, слушая убаюкивающий скрежет ночных трамваев, заворачивающих на углу возле Гиляного дома и затем разгоняющихся по заснеженной ночной улице, уходившей вдаль, где в морозной ночной мгле сходились цепочки фонарей, я листал освещенный слегка колеблющимся кругом света, падавшим от лампочки под зеленым абажуром, предпоследний том Достоевского, в котором был опубликован “Дневник писателя” за семьдесят седьмой или семьдесят восьмой годы, — наконец-то я натолкнулся на статью, специально посвященную евреям, — она так и называлась “Еврейский вопрос” — я даже не удивился, обнаружив ее, потому что должен же он был в каком-то одном месте сосредоточить всех тех жидов, жидков, жиденят и жиденышей, которыми так щедро пересыпал страницы своих романов, — евреев он даже не называл народом, а именовал племенем, словно это были какие-то дикари с Полинезийских островов — к этому “племеню” принадлежал я, к этому же “племеню” относились Леонид Гроссман, и Долинин (он же Искоз), и Зильберштейн, и Розенблюм, и Кирпотин, и Коган, и Фрид-

лендер, и Брегова, и Борщевский, и Гозенпуд, и Милькина, и Гус, и Зундилович, и Шкловский, и Белкин, и Бергман, и Соркина Двоя Львовна и множество других евреев-литературоведов, ставших почти монополистами в изучении творческого наследия Достоевского, — было что-то противоестественное и даже, на первый взгляд, загадочное в том страстном и почти благоговейном рвении, с которым они терзали и до сих пор терзают дневники, записи, черновики, письма и даже самые мелкие фактики, относящиеся к человеку, презиравшему и ненавидевшему народ, к которому они принадлежали — это всегда напоминало мне акт каннибализма, совершаемый в отношении вождя враждебного племени, — возможно, однако, что в этом особом тяготении евреев к Достоевскому можно было усмотреть и нечто другое, а именно — желание спрятаться за его спиной, как за охранной грамотой — нечто вроде принятия христианства или намалевания креста на двери еврейской квартиры во время погрома — впрочем, не исключена была и просто повышенная активность евреев, которая особенно велика в вопросах, касающихся русской культуры и сохранения русского национального духа, — что, впрочем, вполне увязывается с предыдущим предположением, — за окном уже не было слышно трамваев — свет я давно погасил, осторожно поставив Мозину лампу на обеденный стол — в соседней комнате деликатно похрапывала Гилля — десять дыханий и один маленький всхрапик — чуть-чуть, как будто она не столько храпела, сколько всхлипывала во сне, — ноги мои чуть свисали с кушетки — а за окном лежала непроглядная зимняя петербургская ночь, и хотя было уже очень поздно, до рассвета все равно оставалась еще целая вечность — можно было спокойно лежать и не думать о том, что обязательно надо заснуть, потому что скоро рассвет, — одинокая фигура в узких клетчатых брюках, в черном цилиндре и в черном берлинском сюртуке, с карманами, оттопыренными от бутербродов, и с развевающимися фалдами бежала по заснеженной платформе какой-то железнодорожной станции, промежуточной между Баденом и Базелем, подпрыгивая, приседая, выделывая какие-то нелепые "па" и выкрикивая что-то насчет недоданного франка, — поезд давно уже ушел и наступила ночь, а человек все бежал и бежал, подпрыгивая и приседая, ярко высвечиваемый прожектором, который неотступно следовал за ним, словно все это происходило на театральной сцене, — в снопе яркого света медленно

кружили и падали снежинки, покрывая его лицо и бороду белой пеленой, — платформа кончилась, и он бежал теперь по канату, натянутому под куполом цирка, а белая пелена, покрывавшая его лицо, была маской арлекина, из-под которой ключьями торчала его седая борода, — Арлекин теперь снова бежал по заснеженной платформе, но это была уже Тверь, лежавшая между Москвой и Петербургом, — бежавший по платформе метался среди каких-то проезжих сановников, вышедших из курьерского поезда немного поразмяться и подышать воздухом, — он метался от одного сановника к другому, жадно ловил их руки и взгляды, униженно просил о чем-то и кланялся — с третьим звонком сановники исчезали в вагоне первого класса, и он снова оставался один — платформа переходила в мраморные, устланные ковром, ступени лестницы баденского игорного зала — он поднимался, не торопясь, пренебрежительно глядя на всяких полячишек и жидков, мельтешивших перед глазами, — с первой же ставки он выиграл полмиллиона, потом еще миллион, — вдруг кто-то дернул его за руку — человек с плоским, словно корыто, лицом и оттопыренными ушами нагло смотрел на него — под взглядом этих выпуклых водянистых глаз он неожиданно осел на пол, а затем пополз на четвереньках к выходу и покатился по лестнице, — ударяясь о ступеньки, не чувствуя боли, потеряв свой цилиндр, — я проснулся, было еще темно, из двери, ведущей в коридор, приятно потягивало папиросным дымком — это Анна Дмитриевна, вставшая обычно в шесть утра, курила в своей комнате первую “беломорину”, затем осторожно хлопнула входная дверь, — наверное, это Лера уходила на дежурство или возвращалась после ночи, — в доме напротив почти во всех окнах светились огни и за занавесками мелькали тени встающих и спешащих на работу людей, — в кухнях суетились хозяйки, — внизу как-то особенно, по-утреннему, скрежетали на повороте, а затем с постепенно затихающим грохотом проносились мимо дома трамваи, уносясь куда-то в беспредельную прямоу темных улиц со сходящимися вдалеке цепочками фонарей — дом вздрагивал и колебался, словно пароход, стоящий возле причала, — в соседней комнате деликатно всхрапывала Гиля, — когда я снова проснулся, было уже светло, только как-то серо, и за окном медленно кружились снежинки — в коридоре слышались осторожные шаги и даже голос Гили, которая, по-видимому, давала какие-то хозяйственные указания Анне Дмитриевне, — дотянувшись рукой до стула, я посмотрел на часы —

было половина одиннадцатого — позднее зимнее петербургское утро, — натянув на себя тренировочный костюм, я подошел к окну — внизу ползли покрытые снегом трамваи и автобусы, — по противоположному тротуару спешили прохожие, в основном — домохозяйки, закутавшись в платки, в старых потертых шубах и с сумками в руках, а в окнах дома, расположенного напротив, такого же старого и обветшалого, как дом, в котором жила Гиля, кое-где светились окна, потому что в разгар петербургской зимы настоящего дня так и не бывает — поздний рассвет незаметно переходит в ранние сумерки, — в комнату вошла Гиля в халате и в ночных туфлях без чулок — ноги у нее были белые, с полными икрами, и я подумал, что когда-то в молодости она, наверное, вполне могла устраивать Мозю, — “Как ты спал? ...Что будешь кушать? ...Может быть, хочешь принять душ? ...Когда ты встаешь в Москве? ...” — она засыпала меня вопросами, на которые я не успевал отвечать, — впрочем, ответов моих она все равно не слушала — идя в ванну, я невольно заглянул через приоткрытую дверь в Лерину комнату и увидел постель с пышными подушками и перинами — вполне возможно, что Лера спала после ночного дежурства, утонув в этих перинах, — тренировочный костюм плотно облегал меня, и, умываясь над ванной, я медлил, надеясь встретить ее в коридоре, — из кухни аппетитно пахло чем-то не то жареным, не то печеным и слышались голоса — Цили или Хаи Марковны, а может быть, их обеих и Анны Дмитриевны заодно — потом мы с Гилей завтракали — стол был сервирован какой-то благородной посудой, на тарелках лежали тонко нарезанные хлеб, сыр и ветчина — Гиля суетилась, подставляя мне то одно, то другое блюдо, в комнату то и дело входила Анна Дмитриевна, с папироской во рту, сильно согнувшаяся за последние годы, неся в дрожащих руках то белую сковородку со специально взбитой для меня на сливках яичницей, то кофейник, — “Уж как ждала-то вас Гильда Яковлевна”, — говорила она своим низким, прокуренным голосом и лукаво поглядывала на Гилю, суетившуюся вокруг стола, — “Сама на рынок пошла за телятиной, в такой-то мороз, мне не доверила”, — голова ее тряслась, что придавало ей еще более укоряющий вид, — “Ах, бросьте, Анна Дмитриевна! Я всегда сама хожу на рынок. Ты будешь есть на обед жареную картошку или тушеную?” — “Конечно, жареную”, — говорил я, — “Я так и думала”, — говорила Гиля тоном, полным особого значения, словно разгадала мое заветное желание, ко-

торое я тщательно скрывал, — Анна Дмитриевна со снисходительной улыбкой на лице, обозначавшей беззаветную преданность Гиле при сохранении своего особого мнения, которое ничем не могло быть поколеблено, захватив освободившуюся посуду, по-прежнему с папироской во рту, не торопясь уходила из комнаты — после завтрака у нас с Гилей начиналась долгая беседа — Гиля расспрашивала меня о моей работе, об общих знакомых, рассказывала о своем бывшем шефе, об отношениях между его племянницей и ее племянником, который после развода обзавелся новой семьей, — она, Гиля, ничего против его новой жены не имеет, но никогда туда ногой не ступит и не примет у себя, тем более, что эта женщина была близкой приятельницей первой его жены, то есть племянницы Гилиного шефа, и буквально не выходила из их дома, вешаясь ему на шею, — только Роня (так звали первую жену племянника Гили) ничего не замечала, — просто удивительно, как это она ничего не замечала, когда все, буквально все видели, что эта женщина сама вешалась ему на шею, — в когда-то карих, а теперь выцветших добрых Гилиных глазах неожиданно вспыхивали злые искорки, голос ее крепчал, менялись интонация и лексика — она говорила: “Он имел”, “Она имела” — еще немного и, казалось, она заговорит или даже скорее закричит на идише, на котором когда-то говорили ее родители — она была родом из-под Киева — хотя за окном уже немного смеркалось, как перед дождем, но настоящая темнота так и не наступала, — по-прежнему где-то внизу, на повороте, глухо скрежетали трамваи, и под потолком покачивался шелковый абажур, на который едва падал свет от Гилиной настольной лампы, стоявшей на ее небольшом письменном столе — старинном дамском столике с почерневшими от времени инкрустациями, — я полулежал на Мозином диване, а Гиля сидела рядом и рассказывала — подробно и гладко — у нее была отличная память на прошлое — о том, как в свое время посадили ее первого шефа, известного химика, и как он был сослан в спецлагерь, где работали нужные стране ученые, и как потом, уже незадолго до войны ему помог освободиться из лагеря Ромен Роллан, хлопотавший за него чуть ли не у самого Сталина, и как потом этого шефа, известного химика, через несколько месяцев посадили повторно, и он бесследно исчез, — а потом она переходила к рассказу о Мозиной посадке, о том, как его допрашивал следователь с очень звучной еврейской фамилией, прославившийся своей

жестокостью даже за пределами Ленинграда, и о том, как Мозя вернулся домой поздно вечером, уже в сумерках, и как она оторопела, увидев его, — сейчас тоже были сумерки — кончался короткий зимний день — потом мы обедали, и в комнату снова входила Анна Дмитриевна с папироской во рту, принося и унося в дрожащих руках супницу, сковородки, тарелки, и Гиля суежилась, помогая ей, так что сама даже почти и не обедала, — но помощь ее оказывалась ненужной, — “Гильда Яковлевна, ну зачем же вы отвлекаетесь от вашего гостя? — ведь вы так ждали его”, — с добродушной иронией говорила Анна Дмитриевна, укоризненно покачивая головой и в то же время бросая преданный взгляд на Гилю, — к концу обеда в комнату вплыла не то Хая, не то Циля Марковна, торжественно неся на блюде какой-то необыкновенный пирог с необыкновенной начинкой, и поставив его на белую мраморную доску старинного буфета, в смущении ретировалась, — а потом, когда утомившаяся от хозяйственных волнений Гиля прилегла на бывший Мозин диванчик, я сказал ей, что хочу пройти немного, — “Что ты будешь есть на ужин?” — встрепенулась она, но уже через несколько минут я услышал ее деликатное сопение с небольшими и такими же деликатными всхрипками. На улице было морозно, под ногами скрипел снег, возле светофоров выстроились очереди из трамваев, фигуры людей, освещаемые фонарями и снегом, толпились на трамвайных и автобусных остановках, двигались по тротуарам, мужчины небольшими кучками стояли возле углового продовольственного магазина, соображая на троих, а чуть подальше, немного отойдя от магазина, уже можно было видеть фигуры людей с бледными испитыми лицами — прислонившись к стенам домов, оставляя на своих спинах следы известки, они медленно и неотвратно сползали на тротуар, лежа там до тех пор, пока их не подбирали спецмашины с красным крестом, — я шел по направлению к Невскому проспекту, который уже издали светился, как река во время карнавала, — в общем-то он и был рекой — Невский проспект, вливающийся где-то вдалеке в Неву, — он был притоком ее, прямым и широким, разделяющим весь Невский район города на две части: одну, некогда аристократическую с ее бывшими Сергиевской, Надеждинской, Бассейной, Кирочной и Воскресенским проспектом — с безупречными по своей прямоте и строгости зданиями — с ее площадью Искусств, кажущейся ненатуральной вследствие непостижимых уму пропорций обрамляющих ее ан-

самблей — с ее Марсовым полем, овеванным каким-то духом скорби и торжественности, и примыкающим к нему Инженерным замком с его остроконечными башнями и недоступными внутренними дворами и пристройками, хранящими какую-то страшную тайну, — с ее набережными Фонтанки и Мойки, чуть изгибающимися и застроенными домами, большинство которых отмечено мемориальными досками, с ее Спасом-на-крови, красно-золотистый купол которого открывается вдруг с каких-то самых неожиданных мест, — с ее бывшей Миллионной улицей, обстроенной многоэтажными барскими особняками с лепными карнизами и зеркальными окнами, этой предтечей или предвестником Английской набережной, застроенной уже не особняками, а дворцами, глядящимися в пугающе широкую, словно пролив, чуть выпуклую Неву, и переходящей затем в Дворцовую набережную с Зимним дворцом — бывшим Российским сердцем, анатомированным и превращенным в музейный экспонат, — и другую часть, некогда демократическую, с улицами, не всегда подчиняющимися ранжиру прямолинейности и порой сбивающимися даже на переулки или тупики, пересекаемые узким, прихотливо петляющим Екатерининским каналом, — все эти бывшие Большие, Средние и Малые Мещанские или Столярный переулок, обстроенные четырех- и пятиэтажными доходными домами, — целый лабиринт улиц, неожиданно упирающихся в ограду Екатерининского канала, — здесь Достоевский жил в самый темный и подпольный период своей жизни, в первые годы после возвращения из ссылки (именно сюда, в угловой дом на Екатерининском канале приходила к нему женщина с низко опущенной вуалью, — та, с которой он затем путешествовал в одной каюте, не смея к ней прикоснуться, — здесь он жил до появления Анны Григорьевны, которая пришла к нему в один из домов, расположенных в этом путаном лабиринте улиц, пересекаемых каналом, — опередив свою соперницу по курсам, она взобралась по узкой мрачной лестнице на второй этаж, и усевшись со скромно потупленным взглядом за круглый столик в его кабинете, принялась строчить под его диктовку “Игрока”, чувствуя на себе его взгляды, слушая его шаги, его кружение вокруг нее, с замиранием сердца ощущая его приближение, пока он сладко не ужалил ее, — когда я вышел на Невский, он являл собой вид зимнего карнавала на реке: вдоль всего проспекта в морозном тумане скользили сотни красных, зеленых и оранжевых огней, многократно отражаясь на его ледовой, серебристой поверхности, а по

обе стороны Невского, на его широких берегах-тротуарах, двигались толпы людей, подсвечиваемые пылающими витринами, то и дело окутываемые клубами морозного пара, которые вырывались из распахиваемых дверей магазинов и ресторанов, а над всем этим пылали и плясали разноцветные рекламы, тоже иногда окутываемые морозным паром, клубы которого достигали их, — по мановению светофоров скользящие по замерзшему проспекту огни на мгновение останавливались, и тогда толпы, двигавшиеся по тротуарам, переливались по мостам-переходам на противоположную сторону, — оказавшись на той стороне, я вошел в какую-то боковую улицу, которая после разгула огней на Невском показалась мне темной и тихой — только две цепочки фонарей уходили куда-то вдаль, теряясь в черноте, — я посмотрел на табличку, висевшую на одном из домов, — оказывается, я шел по улице Марата, бывшей Николаевской, — где-то здесь, неподалеку от Невского, может быть, как раз именно там, где я сейчас проходил, его нагнал какой-то подвыпивший простолюдин в тулупе и ударил кулаком по шее — это было почти за два года до его смерти, и он возвращался домой после своей обычной предвечерней прогулки — он упал, шапка его покатилась по заснеженной мостовой, потому что был конец марта, на улицах еще лежал снег, — вокруг него собралась толпа, ему помогли подняться, на лице его была кровь, а подоспевший городской вместе с несколькими свидетелями отвел подвыпившего в участок, — через несколько дней состоялся суд над обидчиком, который был приговорен к штрафу в размере шестнадцати рублей, — присутствовавший на разбирательстве пострадавший просил суд снизить к обидчику и простить его — он подождал обидчика возле двери, и когда тот выходил, сунул ему шестнадцать рублей — в этот период времени он особенно много писал о славянском вопросе, напирая на богоносное значение русского народа, призванного освободить Европу, — в основе этого богоносного предназначения лежал, по его мнению, особый, неповторимый склад русского национального ума и характера, что, между прочим, доказывалось употреблением нецензурных слов, которые, произносимые на разный лад и с разными оттенками, служили простолюдинам вовсе не для оскорбления или брани, а для выражения тонкого, глубокого и даже целомудренного чувства, заложенного в душе каждого истинно русского — вдоль тротуара, по которому я шел, были наметены сугробы, скрип шагов одиноких про-

хожих изредка нарушался шумом проезжавших машин, поднимающих за собой поземку, — улица кончилась, но я шел наугад, ведомый каким-то внутренним чутьем, — сначала налево, потом направо и снова прямо по таким же тихим заснеженным улицам, обстроенным одинаковыми четырех- и пятиэтажными доходными домами с тускло светящимися окнами и с глубокими, словно колодец, черными подворотнями, — главное заключалось в том, чтобы в конечном счете идти параллельно Лиговке, не сбиваясь с этого направления, — неожиданно я почти уперся в темное приземистое двухэтажное здание с запертыми воротами, — справа от меня возвышалась смутно белевшая громада собора с куполами, тонувшими в черном небе, — передо мною был Кузнечный рынок, а справа и сзади — Владимирская церковь, — я вышел совершенно точно к нужному месту, и сердце мое даже провалилось от радости и еще от какого-то другого, смутного чувства — слева от Кузнечного рынка, как раз через улицу, виднелся четырехэтажный с полуподвалом, так что можно было считать и пятиэтажным, серый угловой дом, в темноте казавшийся черным, — угол дома, однако, был не острым, а срезанным, как и во многих петербургских угловых домах, и на этой срезанной угловой грани в один ряд друг над другом помещались окна и балконы, а в низу ее находилась дверь, к которой нужно было спускаться по ступенькам и которая вела в расположенный в полуподвале вестибюль с гардеробом и с сидевшей за столиком возле другой двери, ведущей на лестницу, женщиной — она продавала билеты, и билеты эти вы могли оставить себе на память или даже выбросить, потому что их никто не проверял — кроме того, она предлагала вам скромный проспект музея, на котором унылым типографским клише воспроизводились портрет писателя и обстановка его кабинета, сопровождаемые несколькими фразами и цитатой из Салтыкова-Щедрина, — а также прямоугольный металлический значок, на котором было выгравировано его лицо с выступающими лобными буграми, — прямо против лестницы был вход в большой зрительный зал, в котором читались лекции, показывались кинофильмы или выступали актеры с чтением его произведений, на втором же и третьем этажах в целой анфиладе комнат с безукоризненно натертым паркетным полом, издающим слабый запах воска, словно в церкви, были разложены и развешаны фотокопии его писем, первые издания его произведений, портреты и фотографии его са-

мого, членов его семьи и его современников, вырезки из газет о петербургских событиях того времени, представленные в виде больших фотокопий виды Петербурга и Омской крепости, а также Флоренции, Рима и Женевы — мест его заграничных путешествий, иллюстрации к его роману, фотографии сцен из его произведений, игравшихся в театрах, и еще множество других документов, — почти церковная тишина стояла в помещениях музея, нарушаемая лишь благоговейным шепотом двух-трех парочек, забредших сюда, или шелестом листков записной книжки, в которую одинокий юноша с прыщами на лице что-то усердно заносил, — сухо потрескивали лампы дневного света, которые предупредительно включали пожилые женщины-смотрительницы, на минуту оторвавшись от своего вязания, — требовалось дополнительное освещение, — впрочем, иногда тишину музея нарушал и чей-то неожиданно громкий голос, уверенно что-то объяснявший, — это приближалась группа школьников с экскурсоводом — группа строго следовала предназначенной схеме осмотра, указка экскурсовода то быстро скользила по экспонатам, представляющим второстепенный интерес, то подолгу задерживалась на предметах, имеющих с его, экскурсоводческой точки зрения серьезное познавательное значение, — школьники, стоявшие подальше от экскурсовода, дергали друг друга за рукав, оглядывались по сторонам и хихикали, — экскурсоводы обычно спускались с третьего этажа, где помещались научная часть и дирекция, — директриса, молодая еще женщина, с звучным татарским именем и фамилией известного генерала, чьей женой она была, красивая, с кругловатым лицом и удлинненными блестящими черными глазами, была постоянно занята в своем кабинете с какими-то представителями бюрократических ведомств, иногда ошеломляя их каким-нибудь метафизическим вопросом, или неожиданно заговаривая с ними о состоянии своего здоровья, — а рядом, в научной части, сотрудники музея, молодые люди и женщины с интеллигентными лицами, невольно внушающими мысль об их еврейском происхождении, оживленно делились последними литературными сплетнями или названивали по телефону, — и тут же, на третьем этаже, если полуподвал считать за этаж, помещалась его квартира — в прихожей на специальной подставке стоял зонт с большой загнутой на конце деревянной ручкой и слегка выцветшим черным брезентом — предполагалось, что с этим зонтом он выходил на прогулку, а на вешалке висела какая-то очень ста-

рая шляпа с большими полями — неужели его? — в первой комнате, кажется, гостиной, стояли какие-то старинные шкафы с книгами и два или три небольших дамских столика с потемневшей инкрустацией и низенькой оградой — что-то вроде Гилиного столика, — на одном из них лежал листок бумажки, вырванный из тетради, с несколькими фразами, написанными неуклюжим детским почерком, и с подписью “Люба”, на стенах висели семейные фотографии Анны Григорьевны — одной и с детьми — Любой и сыном Федей, — на одной из фотографий, сделанных вскоре после смерти отца, одиннадцатилетняя Люба выглядит взрослой, вполне сформировавшейся девушкой, что особенно подчеркивается ее распущенными волосами и длинным платьем, прикрывающим сапоги — через несколько лет после смерти отца она разошлась с матерью и поселилась отдельно, устроив у себя что-то вроде салона, — она вела весьма своевольный образ жизни, так что Анна Григорьевна, увидев однажды, как выносили из церкви девичий гробик, воскликнула даже: “Ах, зачем это мою дочь выносят!”, — а еще через несколько лет Любовь Федоровна уехала за границу, где уже совсем погрузилась в богему, чему отчасти способствовала ее глубокая душевная неуравновешенность, даже, может быть, психический недуг, — все же в промежутках между очередными приступами меланхолии ей удалось написать воспоминания об отце, к которым достоєведы относятся не слишком серьезно, считая многие представленные ею факты неубедительными, а рассуждения — легковесными и необъективными, — в частности, ее настойчивая попытка причислить Достоевского к норманнам, рассматривается просто как какая-то навязчивая мания — особенно старается в этом направлении Горнфельд, написавший к этим воспоминаниям большое предисловие — малейшее сомнение в принадлежности Достоевского к русской нации Горнфельд воспринимает как величайшее святотатство, почти как личное оскорбление, — сын же, Федя, смахивал на этой фотографии на старательного, но туповатого гимназистика, с какой-то вырожденческой формой черепа, являвшего собой как бы злую карикатуру на череп отца, — потом шла еще какая-то комната, возможно, принадлежавшая Анне Григорьевне, — тоже с фотографиями, даже с какими-то картинами на стенах и небольшим рабочим столиком, дальше — еще комната, проходная, и, наконец, его кабинет с письменным столом, на котором лежали книги и рукописи, а также папиросные гильзы и коробка из-под табака,

и стояли две оплывшие свечи, чернильный прибор и календарь, раскрытый на дате его смерти, — рядом с письменным столом стояла этажерка с книгами, которая, согласно версии Анны Григорьевны, изложенной ею в "Воспоминаниях", сыграла роковую роль в открывшемся у него легочном кровотечении, когда он ночью сдвинул ее, чтобы достать закатившуюся за нее вставку с пером, — кровотечение это, быстро прекратившееся, возникло, однако, с новой силой на следующий день, после того как, по рассказам Анны Григорьевны, Федора Михайловича сильно раздражил один из его частых посетителей, человек очень хороший, но отчаянный спорщик, — в своих "Воспоминаниях" Анна Григорьевна обходит, однако, молчанием визит в этот день Фединой любимой сестры, Веры Михайловны, приехавшей из Москвы специально по делу о наследстве, — это была та самая сестра, которая жила когда-то на Старой Басманной в Межевом институте и семью которой они с Федей посетили на Масленице вскоре после их женитьбы, когда, приехав в Москву, остановились в номере гостиницы Дюссо, откуда открывался вид на заснеженные купола московских церквей и запорошенную снегом улицу с мчащимися по ней санями и экипажами, — наняв такие сани и закрывшись меховым пологом, они поехали через Москву, останавливаясь возле церквей, которые Федя, хорошо знавший город, показывал ей с видом хозяина дома, — выйдя из саней, он кланялся и, снимая шапку, крестился на церковь, — она тоже крестилась и кланялась вслед за ним, — а потом в гостиную у Веры Михайловны она стоически выдерживала недружелюбные взгляды хозяйки и всей ее родни, которые прочили Феде в жены какую-то их родственницу, — она встречала эти взгляды и насмешки в упор, глядя исподлобья, с подчеркнутым равнодушным видом разглаживая тесемки на своей юбке, — но пальцы ее против воли дрожали и мяли материю, — она чувствовала, что спасительная мачта, за которую она ухватилась, чтобы ее не смыло в море, готова ускользнуть из ее рук, — она выдержала все эти взгляды и язвительные намеки, но никогда не могла забыть этой первой встречи с его московской родней, — впрочем, эта родня была вполне под стать его петербургским родственникам — пасынку Паше с его наглой ухмылочкой и Эмилии Федоровне, жене тогда уже покойного его брата Михаила, с ее маленькими колющими угольными глазками, — оба они с самого начала неприязненно отнеслись к Анне Григорьевне, рассматривая ее как некую помеху, поскольку считали, что Федя обязан

всю жизнь им помогать, — хотя у Эмилии Федоровны были взрослые дети, которые вполне могли ее содержать, а Паша был просто лентяем, не желавшим работать и только компрометировавшим Федю, которому каждый раз приходилось краснеть за своего пасынка, когда он пристраивал его в какую-нибудь должность — Федя все время им помогал — сначала еще до отъезда за границу, когда Паша и Эмилия Федоровна буквально физически не отпускали их, — загородивши выход из комнаты и требуя денег, они заставили Федю снести в заклад свое единственное пальто, — только благодаря ее ангелу-маменьке, доставшей необходимые деньги, удалось вырваться тогда из Петербурга и сохранить семью, — а после их возвращения из-за границы, когда все их имущество описали за долги покойного брата по табачной фабрике, Федя уплатил десять тысяч по векселям, частично даже подложным, вследствие чего с позором прогорело его издательское дело, некогда начатое совместно с братом, и сам Федя чуть было не угодил в долговую тюрьму — тут, правда, Анна Григорьевна уже сама взяла дело в руки и стала расправляться с этими пиявками-кредиторами — впрочем, не обошлось и тогда без финансовой помощи маменьки, — кроме Эмилии Федоровны и Паши, каждый месяц приходилось платить по пятидесяти рублей Федюному брату Николаю, больному и спившемуся, — но ведь Федя вообще никому не отказывал в деньгах — он подавал каждому нищему, иногда одному и тому же по несколько раз в день, так что однажды в Старой Руссе Анна Григорьевна, обвязав платком себя и детей, встала с ними на пути, где обычно проходил Федя — “Милый барин, — сказала она, когда Федя поравнялся с ними, — у меня больной муж и двое детей”, — и Федя тотчас подал своей жене милостыню — она весело расхохоталась, а он пришел в бешенство, усмотрев в этом нечто кощунственное, — “Это то же, — выкрикивал он, когда они все вместе пошли по направлению к дому, — то же, что положить нищему в протянутую руку камень, только здесь наоборот, но дело не в этом, это глумление над лучшими человеческими чувствами, понимаешь ли ты?” — на них уже оглядывались, но Анна Григорьевна нисколько не чувствовала себя виноватой, потому что в последние годы Федя просто расточительствовал со своими подаяниями, почти навязываясь людям, так что над ним посмеивались сами же пользующиеся его добротой, — было в этом что-то неестественное, надрывное, словно он замаливал какие-то прежние грехи или пытался заглу-

шить в себе какое-то противоположное чувство, может быть, даже инстинкт, — оборачивалось же все это каким-то юродством, — а главное, он раздавал направо и налево, нисколько не заботясь о том, что Анне Григорьевне едва хватало на содержание дома, и оставались еще невыплаченными многие долги, — Анне Григорьевне, открывшей книжную торговлю, приходилось до поздней ночи клеить и надписывать конверты для рассылки заказчикам и сверять счета, и одновременно вести хозяйство, и у них были дети, которым нужно было что-то оставить после себя, — единственным проблеском во всем этом, как бы светлым пятном, маячившем в конце длинного темного коридора, было наследство его московской тетки Куманиной, по которому Федю в числе остальной родни полагалась часть Рязанского имения в пятьсот десятин с прекрасным строевым лесом, и хотя Федю как будто мало заботило это, Анна Григорьевна объяснила ему, что это единственное надежное обеспечение их будущего и, главное, будущего их детей, и он неожиданно для себя вдруг сам понял, что так оно и есть, и даже иногда видел себя почти помещиком, показывающим свое родовое имение друзьям и знакомым, или даже воображал себя каким-нибудь земским или хозяйственным деятелем, хотя сами по себе такие мысли были суетными и он старался подавить в себе этот соблазн, — в это-то время как раз и стало известно, что его любимая сестра Вера Михайловна, проживавшая в Москве, собралась с особой миссией в Петербург: просить Федю отказаться от своей доли в наследстве тетки Куманиной в пользу сестер, — когда Анна Григорьевна услышала это, светлое пятно, маячившее где-то в конце длинного темного коридора, померкло, а когда Федя стал говорить что-то про своих милых сестер, в особенности же про Веру Михайловну, к которой он с детства питал самую нежную любовь, она побледнела и, посмотрев на него чужим, холодным взглядом исподлобья, в упор, сказала, отчеканивая каждое слово: “Благодетель человечества нашелся! Вечно танцуешь под дудку своей родни!” — он тоже побледнел и несколько дней после этого был сдержан с Анной Григорьевной, почти даже не разговаривал с ней, и когда Вера Михайловна, прибывшая в Петербург, явилась к ним на обед в сумерки зимнего петербургского дня, он подчеркнуто обращался только к ней, как будто Анны Григорьевны вовсе и не существовало, старательно расспрашивал о московской родне, об общих знакомых, но Вера Михайловна была рассеяна, отвеча-

ла односложно и, когда подали суп, она сразу же перешла к делу, объясняя брату, что ему же это будет выгодно, потому что, отказавшись от своей доли в имении, он получит эту долю деньгами, а в Рязанскую губернию ему при его загруженности будет не так-то просто ездить, да и дорога будет отнимать много средств и времени — он сидел, ничего не отвечая, потупившись, катая хлебный мякиш, почти не притронувшись к супу, чувствуя на себе выжидательный взгляд Анны Григорьевны, а когда подали второе, Вера Михайловна вдруг отложила вилку и нож и, вынув батистовый платочек, стала усиленно сморкаться, а потом расплакалась и, плача, прикладывая платок к глазам, стала говорить, что, если он не согласится, то это будет с его стороны бесчеловечно по отношению к сестрам, — не глядя на Анну Григорьевну, он чувствовал на себе ее испытующий взгляд, и этот взгляд казался ему тяжелым и насмешливым, — “Ради Бога, оставьте вы все меня в покое!” — закричал он, оттолкнув от себя тарелку с дымящимся вторым, — с заткнутой за воротник салфеткой он вскочил из-за стола и быстрыми шагами прошел к себе в кабинет — захлопнув дверь, он сел за свой стол, подперев голову руками, — сердце его стучало, молотом отдаваясь в ушах, — где-то там, в столовой или в гостиной, слышались приглушенные голоса, постепенно отдалявшиеся, — вероятно, это Анна Григорьевна провожала его сестру, — встреча с сестрой, семейный обед, к которому он так готовился, закупив любимые Верой Михайловной еще с детства сласти, — все было испорчено — так им и надо! — ему хотелось что-нибудь разбить, бросить, чтобы было еще хуже, — неожиданно на ладонях своих он почувствовал липкую влагу — в комнате было почти темно — трясуцимся руками он зажег одну из двух свечей, стоявших на столе, и в ужасе вскочил со стула — обе руки его были в крови, словно он только что совершил убийство, — машинально он провел рукой по бороде, наверное, желая обтереть руку, но крови на ладони еще только прибавилось, — он схватил крахмальную салфетку, засунутую за воротник во время обеда, — она была мокрой и красной, словно сигнальный флаг стрелочника, — еще не веря, что это происходит именно с ним, но понимая, что случилось что-то непоправимое, он бросился к двери кабинета, широко распахнул ее и изо всей силы крикнул: “Аня!” — и хотя голос его прозвучал слабо, она услышала его в другом конце квартиры, в прихожей, где она только что, извинившись за все произошедшее,

проводила Веру Михайловну, — она побежала через комнаты, не замечая детей, натываясь на мебель, потому что почувствовала, что случилось что-то страшное, — оставшиеся два дня жизни он почти не покидал свой диван, обитый черной кожей и отгороженный теперь ленточкой от остальной части кабинета, — потому что диван этот, хоть и не был подлинником, но был взят в музей от кого-то из семьи Достоевских, — под фотографией Сикстинской мадонны, подаренной ему кем-то из друзей и повешенной в его кабинете Анной Григорьевной в день его рождения, — прибывший врач, постоянно лечивший его, осмотрел его и сказал, что непосредственной угрозы для жизни больного нет, но вскоре после его приезда у больного снова началось кровотечение, и на короткое время он даже потерял сознание — придя в себя, он попросил Анну Григорьевну, стоявшую возле него на коленях, пригласить священника, чтобы исповедаться и причаститься, — священник явился незамедлительно, потому что Владимирская церковь, тонущая сейчас своими куполами в зимнем ночном небе, находилась рядом с домом, — всю ночь Анна Григорьевна провела в кабинете мужа, кое-как устроившись в креслах, почти не смыкая глаз, то и дело подходя к спящему, чтобы поправить одеяло или пощупать его лоб, — утром он сказал, что чувствует себя хорошо, — приехавший врач выразил надежду, что через неделю больной уже будет на ногах, так что он даже пожалел, что слишком поспешил причаститься, — было ясное зимнее утро, но в чем-то уже неуловимо чувствовалась близость весны: то ли в голубом, даже по-летнему синем небе, кусочек которого проглядывал через окно кабинета, то ли в зазывных голосах торговцев и лотошников, устроившихся в переулке под окнами, то ли в особом, переливчатом звоне колокола Владимирской церкви, — потом он ел белый хлеб с икрой, пил молоко и клюквенный морс, который сготовила для него мать Анны Григорьевны, — сама же Анна Григорьевна на минуту сбегала в лавку и достала для него отборного винограда, который в это время года не всегда легко было купить, — взбегая по лестнице, она почему-то вдруг вспомнила, как он покупал для нее виноград в Бадене, в особенности же красный, который они ели в вагоне, уезжая оттуда, и еще почему-то вспомнила она, как он бежал через всю платформу с бутербродами, а поезд вот-вот должен был отойти — она кормила его, держа тарелку на весу, постлав на грудь больного крахмальную салфетку, сидя на краешке дивана, и ей казалось, что каждая вино-

гадина, съеденная им, вливает в него новые силы, возвращает его к жизни, — в течение дня приходило множество посетителей — из редакции, от цензора, по делам предстоящего пушкинского вечера, на котором он должен был читать, или просто интересовавшиеся его здоровьем — он даже продиктовал ей несколько деловых записок — несколько раз он раздражался, превращаясь в прежнего Федю, и она опрометью бросалась выполнять его капризы, — а когда этот обманчивый день подошел к концу, она уложила всех домашних пораньше спать и занесла несколько стенографических записей в свой дневник, а затем постелила для себя тюфячок, прямо на пол, рядом с диваном, на котором лежал больной, — наступила ночь, его последняя ночь в этом доме и в этом мире, — несколько раз она просыпалась и, зажегши свечу, вглядывалась в его лицо — оно было бледно, но дышал он спокойно и ровно, и она, успокоившись, снова засыпала, — а утром, когда она открыла глаза, он уже не спал и, повернув голову, смотрел на нее — было в его взгляде нечто такое, отчего сердце ее сжалось — “Я сегодня умру, Аня”, — тихо сказал он, все так же глядя на нее, — она подошла к нему и, взяв его руки в свои, стала уговаривать его, что все обойдется, что доктора считают, что это не опасно, но он, отстранив ее руки, все так же, шепотом, потому что громко говорить он не мог, попросил ее дать Евангелие, подаренное ему еще женами декабристов на каторге, с которым он никогда не расставался, с множеством его карандашных пометок на полях, — открыв его наугад, не заглядывая в него, он попросил ее прочесть вслух третий стих сверху, и она прочла: “Иисус же сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду”, — “Вот видишь, не удерживай, — сказал он, — значит, я умру”, — он закрыл книгу, — Анна Григорьевна, став на колени возле него, снова взяла его руку в свою, и он, притянув ее руку к своим губам, поцеловал ее, а потом заснул и дышал спокойно и ровно, а она стояла на коленях, боясь шелохнуться, чтобы не разбудить его, — а когда он проснулся, было уже позднее утро, и он сам завел свои часы, затем попросил дать ему вымыть зубы и помочь одеться, и, когда он стал причесывать волосы, стараясь закрыть ими плешь, и Анна Григорьевна, опасаясь, что ему это стоит слишком больших усилий, взяла у него щетку и сама попыталась сделать это, он раздражился и стал громко говорить, даже почти кричать, зачем она это делает не в ту сторону, так что она, хоть и испугалась, что

раздражение и громкий разговор могут ему повредить, обрадовалась в то же время его раздражительности, которая давала ей надежду на выздоровление, поскольку была свойственна ему, — но, когда он с ее помощью был уже почти одет и стал натаскивать на себя носки, на губах его и на подбородке снова показалась кровь — она немедленно уложила его, стерев кровь с его губ и бороды полотенцем, — он лежал одетый, на своем диване, обитом черной кожей, и более не пытался подняться, — в течение всего дня посетители не переводились, но Анна Григорьевна старалась не пускать их в его комнату, — приезжали и уезжали врачи, щупая пульс и выслушивая больного, они одинаково неопределенно пожимали плечами в ответ на вопросительные взгляды провожавшей их до прихожей Анны Григорьевны, — с самого утра было сумрачно, весь день на письменном столе его в кабинете горели две свечи, как будто он сидел и работал и только на минуту отлучился или прилег отдохнуть, — Анна Григорьевна почти не отходила от больного, стоя возле него на коленях и держа его руку в своей, — он почти уже не мог поднять головы, — где-то в середине этого дня, неотличимого от ночи, приехал Паша, и Анна Григорьевна слышала, как он за дверью завел с кем-то разговор о нотариусе, — и больной, видимо, тоже услышал его голос, потому что кивком головы показал на замочную скважину, намекая на то, что Паша подсматривает, — но все-таки потом разрешил пустить его к себе — Паша вошел неслышными шагами и, подойдя к отчиму, наклонился к его руке, но лежащий на диване отдернул руку и покачал головой, давая понять, что не желает больше видеть Пашу, а потом еле слышным голосом попросил позвать детей, чтобы попрощаться с ними, — Анна Григорьевна ввела их в комнату, и они, возможно, на всю жизнь запомнили щекочущее прикосновение бороды отца, когда, подталкиваемые Анной Григорьевной, растерянные и испуганные, подошли вплотную к дивану и по примеру матери стали на колени возле изголовья, а он, повернув голову, поцеловал их в лоб — сначала Любу, потом Федю, а затем, подняв руку, перекрестил их, — когда дети ушли, он закрыл глаза и лежал неподвижно, так что Анне Григорьевне вдруг показалось, что он не дышит — “Ты спишь?” — тихо спросила она его, низко склонившись над ним, — он открыл глаза, и она снова увидела в них то же выражение, что и утром, и вдруг поняла, что выражение это была тоска и что он умрет, — к горлу ее подступил горький ком, и чтобы не

разрыдаться в его присутствии, она вышла из его кабинета и на минуту дала волю своим слезам, уронив голову на рабочий столик, стоявший в ее комнате, — ее волосы, всегда аккуратно уложенные, разметались по столу, закрыв руки — она не умела плакать, и поэтому рыдания ее больше походили на смех или начинающуюся истерику — дети с ужасом смотрели на нее, и Марья-кухарка, пожилая рябая женщина, подвязанная платком, растерянно топталась в двери, — а из прихожей и гостиной слышался сдерживаемый звук голосов и покашливание — это друзья, знакомые, визитеры постепенно заполняли квартиру, а иные, осторожно приоткрыв дверь в ее комнату, тихо входили и, остановившись на некотором расстоянии от плачущей, о чем-то перешептывались, — смахнув слезы, поправив волосы, она быстро пошла, почти побежала в комнату умирающего — как она могла оставить его одного хоть на секунду?! — он лежал все так же, на спине, открыв глаза, глядя куда-то в потолок, как будто силится прочесть что-то, — иногда он шепотом произносил отрывистые слова, но речь его казалась бессвязной: “Какие они несправедливые! (возможно, это относилось к сестрам) ... Не ветри (возможно — к Анне Григорьевне) ... Закрыла ли Марья печку? ...Хватит ли винограду? ...Как я вас разоряю...” — все это, а также приход Григоровича и другие события, Анна Григорьевна, хотя и несколько отрывочно, сумела-таки занести в свой дневник, правда, уже после его смерти, но в тот же вечер, — впрочем, она вообще не потеряла головы и не потеряла, как любят сейчас выражаться, контроля над событиями — посылала за врачами, расплачивалась с кучерами, отправила Марью за льдом, который по предписанию врачей давали глотать больному, не допустила прихода нотариуса в дом, чего так настойчиво добивался Паша, сообщала посетителям о состоянии здоровья мужа и даже подписала какие-то две или три деловые бумаги, — было около семи часов вечера, и она только что сменила свечи на его столе, потому что те уже догорели, когда губы его и подбородок вдруг снова окрасились кровью, — она вытерла кровь полотенцем, висевшим тут же на спинке стула, и с помощью Марьи подложила еще одну подушку под его голову, чтобы ему было выше, как рекомендовали врачи Кошлаков и фон Берцель, постоянно лечившие его, — они стояли тут же рядом, попеременно щупая его пульс, иногда прикладывая стетоскоп к его груди и многозначительно переглядываясь, — струйка крови снова потекла по

углу его рта, словно у раненного в грудь, — Анна Григорьевна вытерла ее, но, когда она отняла полотенце, струйка, как ни в чем не бывало, осталась на прежнем месте, — возобновившееся легочное кровотечение не удалось остановить, и немного крови пролилось даже на подушку — Анна Григорьевна снова стояла на коленях возле его дивана, держа его руку, чуть склонившись над ним, напоминая фигуру скорбящей женщины, часто изображаемую на надгробиях, — он лежал, закрыв глаза, не открывая их даже на ее зов, когда она, хотя и тихо, но раздельно повторяла его имя — по-видимому, он впал в беспамятство, — а в соседних комнатах были слышны сдержанные голоса посетителей и то и дело раздавались осторожные звонки в дверь, — она нежно гладила его руку, и иногда ей вдруг начинало казаться, что это был просто припадок, как это с ним случалось много раз, и он просто еще не пришел в себя, и что вот сейчас, через минуту, он откроет глаза, узнает ее и попросит помочь ему встать, — а иногда ей казалось, что это просто сон, и что она сейчас проснется и услышит, как он шагает в своем кабинете, и как позванивает ложечка в его стакане, потому что он ходил вместе со стаканом, в который был налит крепкий чай, — но голоса из соседних комнат становились все слышнее и отчетливей, — слышалось уже передвижение и чьи-то шаги — все явственнее и все ближе, — наверное, посетители уже входили в его кабинет, и она с ужасом осознавала, что все это происходит на самом деле и что она стоит на коленях перед умирающим мужем — ее мужем, Федей, который приходил к ней каждый вечер прощаться, писал из Эмса, куда он ездил каждое лето лечиться, длинные, горячие и бестолковые письма или устраивал ей сцены ревности во время своих литературных чтений, когда она перекидывалась с кем-нибудь словом или ему казалось, что она на кого-то смотрит, а потом они шли домой раздельно, но он не выдерживал, догонял ее и просил простить его, говорил, что, если она не простит, то он тут же на улице станет перед ней на колени, — она прощала его, и они шли вместе — он осторожно поддерживал ее под руку и заглядывал ей в глаза, а потом, на минутку оставив ее, забегал в лавку и покупал сладостей — орехов, изюма, конфет, — придя домой, они пили чай, и он подставлял ей и детям сласти, но если у нее бывал насморк, он раздражался и просил прекратить ее чихать, и ей становилось смешно, и он тоже в конце концов начинал смеяться, — пришедшие проникли уже в комнату умирающего, столпившись в противо-

положной части кабинета почтительным полукругом, не смея еще приблизиться к дивану, на котором он лежал, но стоявшая на коленях женщина, олицетворявшая собою скорбь, чувствовала на себе дыхание этих пришельцев, которые по какому-то непisanому, но неумолимому закону приобретали теперь право над ее мужем — в их присутствии она могла даже позволить себе плакать — и она в бессилии уронила голову на руку умирающего, — кто-то стал уговаривать ее встать с колен и хоть немного передохнуть, кто-то услужливо подставил ей стул и осторожно помог ей приподняться, — в окнах кабинета отражались дрожащие огни от двух свечей, стоявших на письменном столе, и фотография Сикстинской мадонны, парившей в облаках с младенцем, висевшая над диваном, на котором лежал умирающий, а за окном была зимняя петербургская ночь — наверное, такая же, как сейчас, с такими же заснеженными улицами, с таким же ночным небом, в котором тонули купола Владимирской церкви — но когда Анна Григорьевна услышала чьи-то легкие шаги и увидела свою мать, она не выдержала и зарыдала, припав головой к ее груди, и мать ее тоже не выдержала и заплакала, а рядом с умирающим стоял доктор Кошлаков, чуть склонившись, держа руку на его слабеющем пульсе и поглядывая на свои большие серебряные часы, словно это могло что-нибудь изменить, — огни свечей плашмя падали на лицо умиравшего, своей белизной почти сливавшееся с подушкой, если бы не темные тени, легшие вокруг глаз, и борода, казавшаяся черной, — он лежал в своем костюме, который утром помогла ему надеть Анна Григорьевна, словно человек, только что получивший смертельное ранение — грудь его судорожно поднималась, и там внутри слышалось непрекращающееся клокотание, поднимавшееся к горлу и вырывавшееся наружу через рот и нос в виде кровянистой пены, и Анне Григорьевне, снова ставшей на колени возле дивана, на какое-то мгновение вдруг снова начинало мерещиться, что у него только что был припадок, потому что после припадка у него почти всегда показывалась пена у рта и что-то булькало в груди, и что все это пройдет, и он сейчас откроет глаза, и позовет ее, но толпа визитеров, расположившись амфитеатром, заняв почти полкомнаты, неумолимо надвигалась, и во главе всех этих зрителей шествовал высокий и седой Григорович, этот "французишко", как совсем недавно окрестил его умиравший, когда на одном из своих литературных чтений увидел, как Гри-

Григорьевич поцеловал руку Анны Григорьевны, — это была одна из тех сцен ревности, которые он устраивал Анне Григорьевне в последние годы своей жизни, — Григорьевича он никогда особенно и не любил, но после этой истории стал говорить о нем зло и ехидно, называл его почему-то вральманом и бесцеремонно отделялся от его общества, — впрочем, тут могло быть и какое-то поздно пришедшее прозрение, а может быть, только смутная догадка — в те далекие годы, когда панаевцы травили его, именно Григорьевич, живший тогда вместе с ним и выступавший в роли его покровителя и чуть ли не благодетеля, снесшего “Бедных людей” Некрасову, именно он, как это потом стало доподлинно известно из воспоминаний Панаевой, будучи человеком общительным, передавал панаевцам — Тургеневу, Некрасову и Белинскому — горячие и неосторожные слова, высказываемые автором “Бедных людей” в порыве откровения своему доброжелателю и почти что соседу по комнате, — а потом возвращал ему насмешливые, а иногда едкие высказывания этих людей о нем, сея и разжигая таким образом вражду, — мать Григорьевича действительно была француженкой и даже, кажется, актрисой или танцовщицей, и молодой Григорьевич, высокий, длинноногий и немного жуир, был всегда устроителем и предводителем балов, выделявая самые изысканные и трудные “па” с необычайной легкостью, ведя за собой в кадрили все пары, становясь на колени перед своей дамой с каким-то особым изяществом и выделанностью, — сейчас он тоже почти что дирижировал, то чуть подвигаясь вправо и увлекая за собой толпу визитеров, то поднимаясь на цыпочки, становясь даже на пуанты, делая несколько воздушных шагов по направлению к дивану, и визитеры, повинувшись его знаку, тоже продвигались вперед — впрочем, все это могло только казаться Анне Григорьевне, потому что она стояла на коленях возле дивана, низко склонив голову над лицом умирающего и не могла видеть, что происходило в комнате позади нее, — она могла только чувствовать и догадываться и, кроме того, судя по ее отрывочным записям, сделанным в дневнике, Григорьевич заезжал днем, но, с другой стороны, почему бы ему, человеку столь светскому и общительному, к тому же бывшему другу умиравшего, было не остаться, чтоб уж досмотреть все до конца? — теперь мать Анны Григорьевны сидела на стуле, положив руки на плечи дочери, стоявшей на коленях возле изголовья дивана, — впрочем, иногда она покидала дочь на несколько минут, чтобы пойти присмотреть

за детьми, которые уже третий день были без присмотра, — и тогда толпа, теснившаяся в комнате, почтительно раздвигалась, чтобы дать ей дорогу, — теперь в окне, за которым лежала черная петербургская ночь, отражалась только Мадонна с младенцем, парившие в облаках, лишённые своих традиционных святых почитателей, потому что надвигавшаяся толпа загородила свечи, горевшие на столе, и пламя их уже не могло отражаться в окнах, — доктор Кошлаков, иногда чуть склонившись над диваном, щупал совсем уже слабый и неровный пульс умирающего, больше, очевидно, для приличия, а когда приехал доктор Черепнин и, присоединившись к своему коллеге и вынув из кармана жилета такие же большие, как у Кошлакова, серебряные часы на серебряной цепочке, приложил свою руку к запястью умирающего, пульса уже почти нельзя было нащупать — оставалась еще только какая-то тонкая, еле уловимая ниточка, еще связывающая его с этим миром, но и она слабела с каждой минутой, — умирающий неотвратно погружался в глубокую бездонную пропасть, напоминающую кратер вулкана, — ему же казалось, что он взбирается сейчас на самую высокую гору в мире — она была намного выше тех, на которые он когда-либо всходил или пытался взойти, и ему казалось, что шел он удивительно легко по какой-то прямой, светлой, хрустальной дороге, — он шел с такой легкостью, словно не восходил, а спускался вниз, порой ему даже казалось, что он летит на каких-то невидимых крыльях, и в конце этой дороги, на самой вершине горы, сияло яркое солнце, отражаясь в хрустале, по которому он скользил, и когда он достиг вершины и солнце на миг ослепило его, он увидел, как низки и ничтожны были те горы, на которые он карабкался ранее, — все они были просто жалкими холмиками — и с вершины этой гигантской горы ему открылась не только вся земля с суетой ее обитателей, но вся вселенная с яркими огромными звездами — на мгновение ему открылись страшные тайны этих отдаленных планет — но в ту же минуту солнце погасло, и он погрузился в страшный, бездонный мрак, — круг зрителей почти полностью сомкнулся, и еле уловимый вздох облегчения и сдержанный шепот прошлись по рядам присутствовавших, как это бывает в театре, когда после кульминации наступает развязка, — последнее биение сердца констатировал доктор Черепнин, приставивший стетоскоп к груди умиравшего и затем хранивший этот стетоскоп как семейную реликвию, — согласно воспоминаниям Анны Григорьевны это про-

изошло в восемь часов тридцать восемь минут вечера — находившийся в толпе зрителей литератор Маркевич, написавший заметку в газете о последних часах его жизни, зарегистрировал однако момент кончины в восемь часов тридцать шесть минут, — публика медленно расходилась с приличествующими моменту скорбными лицами, выражение которых, однако, менялось в сторону даже некоторой оживленности по мере продвижения к прихожей — равно как и шепот, постепенно переходивший то в светский разговор, то в деловую беседу, — и впереди всех был, конечно же, Григорович, выделяющийся на лестнице свои замысловатые “па”, приглашая расходившихся визитеров последовать своему примеру, — после ухода гостей во всех комнатах зажгли свет, словно в доме был какой-то праздник, двери стояли почти что открытыми, а к моменту обмывания тела неожиданно пришел брат Анны Григорьевны, приехавший утром из Москвы и ничего не знавший о кончине шурина, и через несколько мгновений Анна Григорьевна уже рыдала у брата на плече, а потом приехал Суворин, прямо из театра, где он смотрел драму Гюго с госпожой Стрепетовой, и его поразила белизна тела умершего и то, как тело это, бывшее теперь только оболочкой, переворачивая, клали на солому, которая на каторге, наверное, столько раз служила подстилкой для теперь бывшего уже обладателя этого тела, — к двенадцати часам ночи все было готово — почивший лежал на столе, поставленном по диагонали, с лицом строгим и умиротворенным, как это бывает у всех мертвецов и каким изобразил его Крамской, пришедший на следующее утро с мольбертом и красками, — над головой его, под иконой, была зажжена лампада, а в скрещенные на груди руки были вставлены свечи — до четырех или пяти утра во всех комнатах горели огни — а сейчас все окна в доме, напротив которого я стоял, были темны, словно там теперь никто не обитал, и только в окнах угловой грани дома, олицетворяющей, по-видимому, как и все углы домов, которые он выбирал для жилья, вершину, к которой он постоянно стремился, только в этих окнах мерцали и переливались какие-то неясные блики — наверное, далекие отблески огней ночного карнавала на Невском, и так же темны были огромные зеркальные окна погруженного в сон Кузнечного рынка и небольшие зарешеченные окна Владимирской церкви, в которой размещался какой-то склад или база, — ветер на перекрестке задувал со всех четырех сторон, поднимая снег и образуя подобие метели, — я

подошел вплотную к дому — на табличке, висевшей возле угла дома, было написано: “Улица Достоевского” — но мне почему-то хотелось называть ее “Ямской”, как она и называлась до переименования, — я пошел мимо этого дома по Ямской, обозначенной прямой цепочкой редких и тусклых фонарей, теряющихся где-то вдаль — мимо других таких же или почти таких же домов, казенных, четырех- или пятиэтажных, с глубокими черными подворотнями, ведущими в типичные петербургские дворики-колодцы, — в один из таких дворов я даже зашел, чтобы больше ощутить колорит, — из пустынного двора, заключенного в четыре внутренние стены дома, через глубокую черную подворотню можно было пройти в следующий двор, такой же пустынный и четырехугольный и тоже с подворотней, ведущей в следующий двор, — я шел по почти безлюдной заснеженной Ямской с наметенными вдоль тротуара сугробами, вокруг которых поигрывала метель, и ботинки мои, подсвечиваемые снегом, возвращали ему световые пятна, словно я был обут в белые валенки, — шел мимо казенных толстостенных домов с молчаливыми темными или тускло светящимися окнами, словно электричество горело в полнакала, или как будто там вообще горели коптилки, как это бывало во время войны, а возле подъезда одного из домов висело аккуратно прищипленное объявление с надписью: “Закрывайте плотно дверь, экономьте тепло”, и я мысленно увидел перед собой блокадный Ленинград, такой, каким я представлял его себе по газетам, книгам и рассказам очевидцев, — наверное, этому городу и до сих пор не хватало тепла, или так была неистребима память о страшной зиме, — Ямская улица, не сворачивая, перешла в какую-то такую же прямую и заснеженную, с такой же теряющейся вдаль цепочкой фонарей, — что, собственно, мне надо было здесь? — почему меня так странно привлекала и манила жизнь этого человека, презиравшего меня и мне подобных — и не потому ли я пришел сюда под покровом ночи и шел, словно вор, по этим пустынным и безлюдным, запорошенным снегом улицам? — не потому ли, посещая его музей-квартиру на Кузнечном или какие-либо другие места, связанные с ним, я держался как-то в сторонке или позади, словно попал сюда случайно и словно все это меня не очень интересует? — и не были ли мои “давешние” (как он бы сказал) ночные видения у Гили, лишь жалкой попыткой подсознания “узаконить” мою страсть? — я повернул в один из боковых переулков и впереди увидел спасительную Лиговку с ее трам-

ваями, — здесь было совсем почти светло — то ли от близости Лиговки, то ли от искрящегося снега, и какая-то семья — родители, плохо и бедно одетые, и с ними девочка лет семи или восьми, тоже в очень худом пальтишке, — шла мимо — лица у них были белые, чухонские — отец, шедший чуть сзади нетвердой походкой, догнал жену с девочкой, и они все втроем неожиданно повалились в сугроб, — девочка вскочила первой и, отряхиваясь от снега, стала что-то быстро и горячо выговаривать родителям, которые никак не могли подняться, а когда поднялись и пошли, то я увидел, что и мать девочки идет нетвердой походкой, — девочка пошла впереди, словно поводырь, или, может быть, просто стыдясь своих родителей, — я приближался к Лиговке, а где-то позади меня осталась полутемная, бесконечно прямая улица, вся заснеженная, с поземкой, наметающей сугробы, с молчаливыми казенными домами и с самым молчаливым и темным из них — угловым.

Несколько минут спустя я уже ехал на трамвае к глининому дому, а еще через полчаса мы уже снова беседовали с Гилей, сидя на бывшем Мозином диване, и она рассказывала мне про блокаду, про Мозю, про тридцать седьмой год, а за окнами лежала зимняя петербургская ночь, и когда внизу на улице, с грохотом проносились трамваи, весь дом вместе с Мозиной лампой вздрагивал, словно корабль, стоящий у причала.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ!

В марте намечается выпуск первого номера литературного альманаха "САЛАМАНДРА".

Участники: И. Бокштейн, И. Бурихин, А. Волохонский, М. Генделев, М. Каганская и другие.

Переводы: Ж. Лафорг (проза), К. Г. Юнг (проза).

Цена экземпляра для подписчика — 16 шек., из-за границы — 12 долл. (включая пересылку).

Чеки слать по адресу: Tarasov Vladimir, POBox 29847, Tel-Aviv 61298, Israel.

КАССИР ВЕЧНОСТИ

(Невеселая комедия в трех действиях)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Очкарик

I. Издательские:

Нонна Аркадьевна	— старший редактор
Витя	— молодой преуспевающий композитор
Слава	— просто композитор
Вагнеры: Он и Она	— супружеский скрипичный дуэт
Хормейстер	
Автор	
Верочка	— младший редактор
Хор мальчиков, члены худсовета и т. д. (без слов)	
Пенсионер	

II. Жильцы:

Нина	— студентка
Мария	— мать Нины
Василий	— отец Нины
Лиза	— одинокая женщина средних лет
Серго	— таксист
Павловна	— живет в коридоре, но работает в издательстве уборщицей

За занавесом раздается истошный предсмертный крик, сопровождаемый грохотом падающего тела и пронзительным женским визгом. Занавес поднимается, приоткрывая пустое пространство, где распростерто тело Славы,

в нем торчат вилки — вероятно, это и есть орудия убийства. Нина плачет над трупом. Мельком можно разглядеть поспешно убегающих Нонну, Вагнеров, Хормейстера. Появляется Очкарик, незамеченный Ниной, он подходит к телу Славы и секунду рассматривает его.

О ч к а р и к :

Суд современников не значит ни черта,
И суд потомков ни черта не значит...
Но где-то составляются счета
На уровне поставленной задачи,
И временем проведена черта,
Где можно получить со славы сдачу.

Ты подойдешь к окошечку кассира,
Распишешься в гроссбухе голубом,
И отойдешь достойно и красиво,
Веночек расправляя надо лбом.
Ты сохранишь спокойствие наружно,
Ты станешь в строй, гордыню истребя,
Хоть со стесненным сердцем обнаружишь
Толпу счастливых впереди себя.

Но пропадет к сравнениям охота,
Когда толпа расступится вокруг,
Когда протащат за ноги банкрота
И бросят в прорву через черный люк!

Очкарик уходит. Занавес падает, через мгновение поднимается — труп уже нет, перед нами открывается коридор, где расположено издательство "Музыка". Все действие пьесы происходит в этом коридоре, который пересекает сцену наискосок. В коридор выходят двери комнат издательства и комнат жилых, так как коридор коммунальный. Туда же выходят двери кухни и туалетов, с надписями "М" и "Ж". Рядом с туалетами расположено окошко издательской кассы, а в конце коридора, в тупике, стоят два кресла и журнальный стол, где редакторы иногда работают с авторами. Со стороны зала подходит лестница и дверь лифта.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Первая картина

Разгар рабочего дня. На кухню с лестницы проходит Лиза. Нонна в креслах разговаривает с Автором, из какой-то редакционной комнаты доносится ритмичная музыка. Из своей комнаты, приплясывая, выходит Нина с пачкой старых журналов. Положив журналы возле бачка с мусором, она

тут же начинает танцевать твист под музыку. Дверь туалета с надписью "Ж" распаивается, оттуда выскакивает Павловна — седые волосы развеваются, в руках швабра.

П а в л о в н а (Нине): Как издательское дежурство, ты сразу макулатуру выкидать! В свое дежурство и выкидала б!

Нина продолжает плясать.

Л и з а (из кухни, крикливо): Вы б лучше в свое дежурство туалеты мыли, как следует, — а то войти противно!

П а в л о в н а: Чего там — противно, мою, как положено, да на вас не намоешься!

Л и з а: Нина! Бак с бельем вскипел! Газ заливает!

Н и н а (танцую идет на кухню): Ну и прикрутили б!

Л и з а: Вот еще! Может, белье тебе выстирать, пока ты плясешь?

П а в л о в н а: Ну и люди! Как у нас гонорар плотют, так они белье кипятят, вонь разводют!

Л и з а (в тон): Как у вас гонорар платят, так в туалет не войти — такая грязь!

Павловна демонстративно захлопывает за собой дверь с надписью "М".

Н о н н а (автору): Поверьте мне — я лучше вас знаю требования худсовета — ваша оратория ни за что не пройдет в таком виде. Финал надо переписать в мажоре: больше света, оптимизма, непосредственной радости жизни.

А в т о р: Но ведь тогда разрушится философская концепция...

Н о н н а (нетерпеливо): Возможно. Но вам придется на это пойти, иначе вы не получите ни копейки!

А в т о р: Может быть, я сам попытаюсь объяснить совету...

Н о н н а: Да не станет совет вас слушать, пока я не представлю ораторию официально!

А в т о р: Но разве вы?.. Вам же нравилась тема... и решение...

Н о н н а: Ах, Боже мой! Поймите: я могу ставить на обсуждение только такую вещь, в которой сама абсолютно уверена!

А в т о р: Но ведь мы уже полгода...

С лестницы вбегает Верочка.

В е р о ч к а : Нонна Аркадьевна, можно вас на минутку? Срочно!

Н о н н а (автору) : Простите. (Верочке.) Ну?

В е р о ч к а (возбужденным шепотом) : В Пассаже колготки потряпанные — ажурные, всех цветов. Я очередь заняла.

Н о н н а : Возьми мне красные и белые.

В е р о ч к а : Никак не могу, Нонна Аркадьевна: на руки только по две пары дают, а мне еще для сестры надо.

Н о н н а (возвращаясь к автору) : Я вынуждена перед вами извиниться — у меня срочное дело. Впрочем, мы ведь уже все обсудили. Так что не унывайте, работайте в том плане, как мы говорили!

А в т о р : Но ведь я... ведь мы еще не пришли к единому мнению...

Н о н н а (лихорадочно застегивая пальто, которое принесла Верочка) : Миленький мой автор, мы ведь уже обо всем, обо всем договорились! Так что идите, работайте, не теряйте времени даром. Желаю успеха! (Нине.) Ниночка, тут ко мне должны прийти — скажи, будь добра, что меня вызвали к главному. Пусть ждут. (Убегает.)

Автор уныло плетется к туалету с надписью "М", дергает дверь — она заперта.

Л и з а : Неужели дома у себя в туалет сходить нельзя?! Обязательно сюда приходите за этим надо!

Автор еще раз дергает дверь, она неожиданно распахивается — на пороге грозная фигура Павловны со шваброй.

П а в л о в н а : Уборка!

Скрывается. Автор смущенно уходит. С лестницы появляются Вагнеры: Он — кудрявый, небольшого роста, полный, в светлом костюме, Она — высокая, худая, в черном, с гладкими черными волосами. Оба со скрипками.

О н : Видишь, малышка, касса еще закрыта!

О н а : Я не сомневалась, что закрыта! Всякий раз, как ты мчишься куда-нибудь на такси, мы являемся либо слишком рано, либо слишком поздно!

Проходят в одну из дверей — через минуту оттуда доносятся звуки скрипичного дуэта.

С лестницы входят Витя и Слава.

В и т я : Садись в кресло и жди, а я ее вызову.

С л а в а : А что ты ей скажешь?

В и т я : Я скажу, что ты — великий композитор, и мир погибнет без издательства "Музыка", которое погибнет без тебя, который погибнет без нее. Словом, я найду, что ей сказать.

С л а в а : А я что скажу?

В и т я : А ты молчи. Ты, главное, смотри на нее пристально, прямо ешь глазами. Она это обожает, она всякий пристальный взгляд воспринимает исключительно как комплимент.

С л а в а : И что?

В и т я : И то. Получишь заказ — сперва на цикл песен, потом на ораторию. Долги отдашь, человеком станешь.

С л а в а : Ничего у меня не выйдет...

В и т я : Брось, это у всех выходит! Перестань на время работать для потомства, поработай немного для себя. (Заглядывает в комнату Нонны.) Черт ее знает, ушла куда-то. А ведь назначила к трем. Всегда она так. Не покладая ног.

Н и н а (которая, приплясывая под музыку, полощет белье) : Вы к Нонне Аркадьевне? Она ушла к главному. Просила подождать.

В и т я : Спасибо, мадемуазель. Подождем, Славик?

С л а в а (Нине) : А вы что, здесь живете?

Н и н а : Ага, живем. Под музыку.

Л и з а (медово) : Удивляюсь тебе, Нина, зачем тебе в издательские дела лезть? Ты-то причем?

Н и н а : Но она же просила передать...

Л и з а : Или тебе с молодыми людьми побеседовать захотелось? Тогда, конечно, другое дело...

У кассы тем временем выстроилась очередь, в которую становится Витя. Дуэт смолкает, Вагнеры выходят в коридор к кассе.

О н а : Рада видеть! (Витя целует ей руку.) Славик, в одном доме на днях говорили о вашем скрипичном концерте. Все удивлялись — к чему эта смелость в наши дни? Кому она нужна?

С л а в а : А что, по-вашему, нужно?

О н : Сегодня в цене оптимизм. Нам сейчас как раз отвалили солидный ломоть в мажоре. А ты что здесь делаешь?

С л а в а : Хочу продаться.

О н а : Не выйдет, у вас товар неходкий!

В и т я (приходя на помощь) : Я вижу, мадам, справедливо говорили древние: человек человеку композитор!

О н а (бросаясь к кассе) : Ах, моя очередь!

Появляется Нонна со свертками.

В и т я : Славик, кормилица пришла! Держи очередь, а я схожу на поклон. (Идет за Нонной, оставив Славу у кассы.)

О н а (отходя от кассы) : Я вижу, Славик, кое-что вы все же способны продать, раз стоите у этого окошка! (Уходит с ним.)

Витя выходит с Нонной.

В и т я (Славе тихо) : Иди к ней, я ей уже все о тебе рассказал.

Слава подходит к Нонне.

С л а в а (Нонне) : Добрый вечер... То есть, я хотел сказать... доброе утро...

Н о н н а (кокетливо) : О, я вижу, вам декабрь кажется маем! Что ж, давайте знакомиться — Нонна Аркадьевна! (Протягивает руку.)

С л а в а : Донской. То есть, Славик... (Окончательно смутясь.) Владислав...

Н о н н а : Витя рекомендует вас, как талантливое композитора. Витина рекомендация — почти гарантия, так что давайте попробуем.

С л а в а : Я собственно... я никогда... по вашей части...

Н о н н а (милостиво) : Вы, наверно, о своем пристрастии к серьезной музыке? Что ж, если это и грех, то грех простительный. Да я и сама грешна! Но здесь, в этих скромных стенах, перед нами стоят другие задачи...

С л а в а : Что ж, я готов попробовать... Знаете, у меня сейчас очень трудное...

Подошедший Витя за спиной Нонны предостерегающе подносит палец к губам, Слава осекается.

Н о н н а : Я уверена, что вы справитесь! Поверьте моему опыту, мой юный друг. Надеюсь, вы позволите называть вас так?

Витя за ее спиной энергично трясет головой — мол, нет, не позволяй.

С л а в а (неуклюже) : Ни за что! Просто “мой друг” — пожалуйста. Но не юный, нет.

В и т я : Кормилица, неужто вы хотите обидеть Славика? Неужто хотите сказать, будто он такой юнец, что юн даже для вас?

Н о н н а : Ладно, ладно, не заступайтесь — не съем я вашего Славика. Сейчас я изложу ему наши требования и задачи. (Славе.) Может, прогуляемся по бульвару, затеряемся в листопаде? Сегодня такой дивный день — просто не верится, что это московский ноябрь!

С л а в а (неуверенно Вите) : И ты с нами?

Нонна берет пальто.

В и т я : А мне зачем? Я эти требования и задачи наизусть знаю. Так что подай даме пальто и отправляйся.

Н о н н а (в дверь) : Верочка, если меня будут спрашивать — я работаю с автором.

Нонна уходит со Славой, Витя за ними. С лестницы доносится многоголосый шум — в коридор вырывается толпа мальчиков разного возраста, которые разбегаются по коридору, толкаясь и стреляя из рогаток. За ними идет Хормейстер.

Л и з а (несет сковороду) : Господи, что за детский сад! Безобразие, пройти нельзя!

Х о р м е й с т е р (стучит палочкой) : Ребята! Строиться! Не разбегайтесь!

Заходит в какую-то дверь, мальчики тут же разбегаются. Хормейстер выглядывает.

Х о р м е й с т е р : По местам, сейчас же!

Мальчики строятся.

Х о р м е й с т е р : Заходите, только организованно!

Часть строя исчезает за дверью, остальные толпятся в коридоре.

Х о р м е й с т е р : Нет, придется построить их в коридоре!

Вводит мальчиков в коридор, начинает строить их для пения.

С лестницы в коридор входит таксист Серго.

Х о р м е й с т е р : Дисканты правее, альты отойдите назад!

С е р г о : Где тут комната одиннадцать, гражданка Петрова?
(Стучит к Лизе.)

Л и з а (выходя) : Вы такси? Мне груз вниз снести надо. Я вас отблагодарю. (Начинает вместе с Серго выносить к лифту ящики.)

М а р и я (появляется из лифта, идет на кухню) : Что, дочь, стираешь?

Х о р м е й с т е р : Стоять спокойно. Пробуем верхнее ля!

Н и н а : Ой, мам, с утра вожусь — надоело!

Л и з а (мимоходом) : Еще бы не с утра! Ведь тут с каждым проходящим молодым человеком поговорить надо, так и день пройдет!

Х о р м е й с т е р (взмахивает палочкой) : Дисканты первые!

М а л ь ч и к и : Ла-ла-ла!

Х о р м е й с т е р (взмах палочки) : Дисканты вторые!

М а л ь ч и к и : Ля-ля-ля!

Х о р м е й с т е р (взмах) : Теперь альты!

М а л ь ч и к и : Ля-ля-ля!

Х о р м е й с т е р : Начали! (В комнату.) Попрошу — вступление!
(Музыка.) И...!

М а л ь ч и к и (поют) :

Мой юный друг узнать решил,
Что ест на завтрак крокодил,
Что ест на ужин крокодил,
Что ест он на обед!
Лежит в воде он круглый год,
И что-то каждый день жует!
Так интересно, что он ест,
Но неизвестно, что он ест,
Но что-то все-таки он ест —
И в этом весь секрет!
На Лимпопо! На Лимпопо!

Музыкальная пауза.

Один из ящиков у Лизы раскрывается, маленькие пластмассовые баночки рассыпаются по полу.

Н и н а (поднимает одну баночку) : Для стирки и отбеливания белья. Интересно, никогда такого порошка не видела. Откуда она их берет, да еще столько?

М а р и я (недобро) : Из больницы, ясно откуда. На то она сестра-хозяйка. Чтоб чужих мужей в ее возрасте приманивать, денег горы нужны.

Серго и Лиза собирают баночки.

М а л ь ч и к и (поют) :

Бежать оттуда каждый рад:
Там даже птицы не кружат,
Там бегемоты не лежат,
Зарывшись в теплый ил!
Там никому пощады нет, —
Там просыпается чуть свет
И ест прохожих на обед,
Ест тонкокожих на обед,
Ест толстокожих на обед
Ужасный крокодил!

Музыкальная пауза.

Л и з а : А ты не за мной следи, ты за дочерью своей следи, как она за каждые брюки цепляется!

М а л ь ч и к и : На Лимпопо! На Лимпопо!

Занавес.

Вторая картина

Коридор пуст — рабочий день подходит к концу, только из какой-то комнаты доносится музыка. Нина пляшет на кухне возле плиты. Появляется Слава, Нина его не замечает; он дергает дверь Нонны — дверь заперта. Слава нерешительно направляется к кухне и смотрит на Нину.

С л а в а (робко) : Простите... вы... я хотел...

Н и н а (вздрогнув, останавливается) : Ой! (Смущенно.) Я вот... рыбу жарю...

С л а в а : Под музыку?

Н и н а (оправившись от смущения) : Мы здесь все делаем под музыку. А вы к Нонне Аркадьевне? Ее уже нет, ее так поздно никогда не бывает.

С л а в а : Как же быть? Я работу ей сегодня сдать должен...

Н и н а : Работу надо сдавать с утра! А теперь вы можете сдать ее только мне. Я в этом коридоре всю жизнь — так что не хуже Нонны разберусь. (Деловито.) Что у вас там — оратория или кантата?

С л а в а (смеется) : А вы, действительно... Но у меня, к сожалению, не кантата, у меня — цикл романсов.

Н и н а (подражая кому-то) : Фи! Кто теперь романсы пишет! (С интересом.) Это она вам заказала?

С л а в а : Не совсем. Она мне песни заказала, — дала два стихотворения, я прочел их: ужас! Такое не то, что спеть, такое сказать стыдно! Ну, я плюнул на них и сам подыскал кое-что...

Н и н а (заинтересованно) : ...и получились романсы?

С л а в а : Не совсем. Это собственно, городской романс — особый жанр...

Н и н а : А вы мне покажете?

С лестницы входит Лиза.

С л а в а : Вам, правда, интересно?

Л и з а (проходя к себе) : Ей интересно, ей очень интересно поговорить со всяким молодым человеком! И с вами тоже, между прочим. (Уходит.)

Нина и Слава смущенно умолкают. В тишине слышна магнитофонная запись.

Х о р (поет) :

Там никому пощады нет:
Там просыпается чуть свет,
И ест прохожих на обед,
Ест тонкокожих на обед,
Ест толстокожих на обед
Ужасный крокодил!
На Лимпопо! На Лимпопо!

С л а в а : Ужасный крокодил!

Хохочет, Нина за ним — смеются до слез и сразу после этого чувствуют себя друзьями.

С л а в а : Хотите послушать городской романс? Только вот рояля нет.

Н и н а : Я могу принести гитару. Вы на гитаре умеете?

С л а в а : И на гитаре, и на барабане, и на кларнете, и на фаго-те...

Н и н а (бежит в комнату, возвращается с гитарой, говоря кому-то в дверь) : Ладно, ладно, куда я не уйду — я тут, на кухне. (Славе.) Вот, подходит?

С л а в а (пробует струны) : Настроена хорошо. Кто на ней играет, вы?

Н и н а : Это я так: балуюсь. Ну, давайте романс.

С л а в а (поет вполголоса) :

Сперва мне было не до шуток,
На улицах твоих, Москва,
Язык автобусных маршрутов
Был непонятен мне сперва.
Хоть, пострадавший до отвала,
Я получил твои права,
Но неизменно оставалась
Ты мачехой моей, Москва!
Меня ни братом, ни сестрою
Не подарила жизнь в Москве:
Лишь с матерью-землей сырою
Сиротство состоит в родстве!

(Последние аккорды.)

Н и н а (после паузы, тихо) : Вам, правда, так одиноко? У вас совсем никого нет?

С л а в а : А вы поверили, что одиноко?

Н и н а (напевает) : Меня ни братом, ни сестрою не подарила жизнь в Москве... (Решительно.) Я поверила.

С л а в а : Значит, так и есть, потому что неправде верить нельзя.

Н и н а : А вот Нонна Аркадьевна этот ваш романс ни за что не примет.

С л а в а : Почему не примет?

Н и н а : Она скажет (подражая Нонне) : поверьте мне — я знаю требования худсовета. Романс надо переписать в мажоре:

больше света, оптимизма, непосредственной радости жизни! Она всегда так говорит, когда отказывает.

С л а в а : Но ведь человеку иногда бывает грустно...

Н и н а (подражая Нонне) : Миленький мой автор, мы ведь уже обо всем, обо всем договорились! Идите, работайте — желаю успеха!

С л а в а : Здорово у вас получается! Вы — настоящая актриса!

Лиза выходит, направляясь на кухню.

Л и з а : Уж такая актриса, такая актриса — дальше некуда!
С детских лет актриса!

С л а в а : Вы что, музыке никогда не учились?

Н и н а : В коридоре учусь, каждый день.

С л а в а : Хотите, я буду вас учить?

Запыхавшись, входит Нонна.

Н о н н а : Ах, Слава, как хорошо, что вы меня дождались!
Я так спешила! Ну как, справились?

С л а в а : Вот, посмотрите... Написал цикл романсов...

Нина уходит на кухню.

Н о н н а : Почему романсов? Мы ведь говорили о песнях для сборника.

С л а в а : Да там слова такие нелепые... в этих стихах. Вот я и...

Н о н н а : Ну что ж, давайте романсы — авось, и для романсов у нас местечко найдется, если они того стоят. Сейчас поглядим, за что Витя напел мне про вас таких восторгов — прямо все уши прожужжал! (Бегло просматривает.) Занятно, занятно — что-то в этом есть: блеск, свежесть, чистота чувства. Но многое мне неясно. (Сворачивает рукопись.) Впрочем, с ходу сказать что-нибудь трудно — надо это завтра просмотреть на свежую голову, ладно? А сейчас, быть может, вы проводите меня? И разъясните мне некоторые неясности, — вы человек творческий, вам проще раскрыть перед редактором свои секреты, чем рассчитывать, что он сам до них дойдет. Так пойдем? Или вы спешите?

С л а в а (мнется, оглядываясь на Нину): Я, собственно...

Н о н н а : Ну, я вас не слышу! Живей — да или нет?

С л а в а (сдается): Конечно, конечно... Я с удовольствием...

Н о н н а : Вот и отлично! Как славно мы поболтали в прошлый раз! Говорить с вами — такое наслаждение: вы так свежо, так неожиданно мыслите!

С л а в а : Что вы, Нонна Аркадьевна! Я, по-моему, нес страшную ахиною, ничего путного не сказал...

Н о н н а : Интересно вы говорили или нет — об этом уж мне позвольте судить... Так же, как и о ваших романах, между прочим. (Смеется.) Чувствуете, что вы у меня в руках? Я шучу, шучу — не пугайтесь! (Отпирает дверь.) Ладно, пойду, позвоню мужу, придумаю какое-нибудь неотложное дело, а потом мы пошатаемся с вами по осенней Москве. Вы будете говорить, я буду слушать — о, я очень хорошо умею слушать, у меня просто слушательский талант! И вы развеете мое одиночество.

С л а в а (вконец запуганный): А что, даже муж не может развеять ваше одиночество?

Н о н н а : О-о, что может быть полней и прочней одиночества замужней женщины! (Заходит к себе.)

С л а в а : Нина, может, не ходить с ней? Я ведь собирался учить вас музыке.

Н и н а : Да нет, идите, чего уж там — вы ведь у нее в руках, слыхали? А меня в другой раз поучите.

С л а в а : Но мне совсем не хочется с ней гулять...

Н и н а : Хочется — не хочется, какая разница! Вы должны идти и развеять одиночество замужней женщины.

Оба смеются.

С л а в а : А вы?

Н и н а : А я буду жарить рыбу.

С лестницы вбегает отец Нины — Василий, за ним из лифта выходит Серго. Василий пьян.

В а с и л и й : Привет, дочка! Давай спляшем!

Н и н а : Опять? Быстрее, иди в дом!

В а с и л и й : Ну вот, и это родная дочь — с отцом сплясать не хочет! (К Серго.) Вот мы с товарищем сейчас спляшем — что-

нибудь ихнее, кавказское. Лезгинку! Асса! А я мальчик маленький, асса! У меня ботинки рваные, асса!

Лиза идет навстречу Серго.

Серго (Лизе) : Добрый вечер! Не помешаю!

Лиза (медово) : Это вы, товарищ таксист? Какая приятная неожиданность!

Василий : Несмотря на рваные ботинки, я станцую вам кабардинки! (Не пропуская Серго.) Эх, лезгинка-кабардинка! Ты — лезгин, я — русский, а все остальные дерьмо! (Пытается поцеловать Серго.)

Серго (отстраняясь) : Пропусти, дорогой, я спешу.

Василий : Значит, брезгуешь, да? Значит, плясать не хочешь, да? Камень за пазухой держишь, да?

Лиза : Проходите, товарищ таксист, будьте гостем, не обращайтесь внимания! (Василию.) Чего расшумелся! С утра нажрался и орешь?

Василий (плаксиво) : Ты на меня не кричи! Я — рабочий человек, а вы спекулянты чертовы, мать вашу... ворюги! А я рабочий человек, у меня трудовые мозоли. (Тычет Лизе под нос руки.) Видишь, — трудовые!

Лиза (визжит) : Руки убери! Ну и семейка! Отец — хулиган, дочь — гулящая! Как брюки увидит, так и рассыпается мелким бисером: ах, я актриса! А молодой человек уже растаял, не видит, с кем связался! С какой актрисой!

Нина : Да замолчи, замолчи! Ты, ты!.. Чего тебе от меня надо? (Бежит к лестнице.)

Слава : Нина! (Бежит за ней.) Куда же вы, без пальто?

Василий : У-у, сука! Да я убью за дочку, мне пять лет отсидеть за это не жалко!

Выходит Нонна, видит убегающего Славу.

Нонна (растерянно) : Слава! Куда же вы? Я уже договорилась...

Лиза (злорадно) : Увели вашего Славу! Зачем вы ему? Тут другие есть, помоложе!

Уходит к себе с Серго.

Н о н н а (смотрит вниз, в лестничный пролет) : Странно...

В а с и л и й : Асса! Все убежали! (Нонне.) А ты чего ждешь? Все ушли, и ты уходи, асса! Я вам всем покажу! Мне за дочку пять лет отсидеть не жалко!

Н о н н а (почти плача) : Ну ладно, ничего! Мне не так это важно! Но он еще пожалеет! (Уходит.)

В а с я (пляшет) : И эта ушла! Испугалась! Асса! Я им всем покажу, асса! Несмотря на рваные ботинки! Асса! Мне пять лет отсидеть не жалко, только бы им всем показать! Асса!

За дверью звучит магнитофон.

Х о р (поет) :

Но неизвестно, что он ест!
А интересно, что он есть!
Ведь что-то все-таки он ест,
И в этом весь секрет!
На Лимпопо! На Лимпопо!

Занавес.

Третья картина

Прошло несколько часов. Поздний вечер — в коридоре полутемно и пусто. С лестницы поднимаются Нина и Слава.

Н и н а : Почему-то считается, что отца надо любить. А я не могу. Я его пьяного своими руками убила бы. Вот прямо взяла бы и убила! Ведь он каждый день такой, каждый день! Наскандалит, опозорит и завалится — до утра храпит и стонет, спать никому не дает!

С л а в а : Небось, напиться — это в его жизни единственная радость!

Н и н а (голос ее дрожит) : Я мать свою никогда днем не вижу — она все работает, работает, горб гнет, а он все пропивает, все до копейки! Он все детство мне отравил: со мной другим детям водиться не разрешали из-за него. Я три зимы в его старой кожаной куртке вместо пальто ходила, не на что купить было — меня вся школа дразнила!

С л а в а (ласково) : Ладно, Бог с ним! Не надо об этом.

Н и н а : Нет, ты слушай, слушай! Я, когда совсем маленькая была, так он во двор меня выводил и устраивал цирк. Сядет за

стол, где козла забивают, меня напротив усадит — и начинает. Стукнет кулаком по столу и кричит: “Орлы умирают орлами!” А я должна в ответ тоже стукнуть и крикнуть: “Орлы умирают орлами!” — или еще какую-нибудь глупость. А вокруг толпа собирается, все на нас глазует и хохочут. А потом пальцем на меня показывают. Я их всех видеть с тех пор не могу, — за то, что они про меня такое помнят!

С л а в а : Они забыли давным-давно...

Н и н а : Они, может, и забыли, да я не забыла! И Лиза, соседка дорогая, нет-нет, да и напомнит! Медовым голоском: “А помнишь, Ниночка, как ты с папой во дворе концерты давала? — Орлы умирают орлами! Ты ведь всегда у нас была актриса!” Она еще и тебе об этом расскажет.

С л а в а : Пусть рассказывает.

Н и н а : Чтоб ты знал, с кем связался.

С л а в а (усмехается) : А ты знаешь, с кем связалась?

Н и н а (убежденно) : Я знаю. Ты не пошел с Нонной, а победил за мной.

С л а в а : Это ни о чем не говорит.

Н и н а : Тебя ни братом, ни сестрою не подарила жизнь в Москве — до меня. А теперь я стану тебе братом и сестрою.

С л а в а : Откуда ты знаешь?

Н и н а : Вижу. Я вообще иногда вижу такое, чего никто другой не видит. Вот слушай, гостили мы как-то на зимних каникулах с мамой в деревне и пошли в лес. Шел снег, и все вокруг было белое-белое. И вдруг, откуда-то сбоку, из-за снега выезжают сани, лошадь в них запряжена белая-белая, и снег на ней не тает. А в санях мужик: борода белая, шапка белая, пар изо рта не идет и снег на бороде тоже не тает. Проехали они тихо, будто проплыли, и пропали в снегу. Я маме тогда говорю: “Откуда сани, ведь там лес густой и дороги нету”, а она никаких саней не видела. Я даже не поверила сперва, думала, она шутит, — стала спорить. Она говорит: “Если б тут сани проехали, на снегу бы след остался”. Вернулись мы к тому месту, а следов никаких нет. Ни от саней, ни от лошади. И только я эти сани видела, а мама нет, хоть рядом со мной шла. Я видела, а она нет. Теперь ты мне веришь?

С л а в а (улыбаясь) : Теперь, конечно, верю. А что ты еще обо мне знаешь, о, ясновидящая?

Н и н а (убежденно) : Я знаю, что когда-нибудь ты станешь знаменитым.

С л а в а : На том свете. Кассир вечности редко посещает живых...

С грохотом подъезжает лифт, из лифта выходит Очкарик — он входит в коридор, озираясь с любопытством.

О ч к а р и к : Простите, ради всего святого, не здесь ли располагается издательство “Музыка”?

Н и н а : Здесь располагается. Но рабочий день давно окончен.

О ч к а р и к : Странно. Разве у музыки бывает рабочий день? (Принюхиваясь.) И пахнет здесь почему-то вовсе не музыкой, а капустой и жареным луком.

Н и н а : А разве музыка пахнет?

О ч к а р и к : Нет, она не пахнет, она благоухает. (Нине.) Не знаю, дитя мое, дано ли будет когда-нибудь вам насладиться ароматом истинной музыки! Зато ваш спутник (вглядывается в Славу) — о, я вижу, ему многое доступно: он из тех, кто слышит шелест леса, рыдание тоскующего сердца и молчание вечности! А если и не слышит еще, то ему предстоит это услышать.

Н и н а (она слегка задета) : Интересно, где же ему предстоит все это услышать? Здесь, что ли?

О ч к а р и к : Место несущественно. Голос вечности можно услышать где угодно, нужно только уметь слушать. Но это дано не каждому. Увы!

Н и н а : А мне, значит, не дано?

О ч к а р и к : Кто знает? Вы еще так молоды!

Н и н а (сердито) : Спасибо, вы меня очень утешили! У меня, выходит, есть еще надежда услышать не только журчание масла на сковородке, но и молчание тоскующего леса?

О ч к а р и к (не принимая иронии) : Да, дитя мое, у вас еще есть надежда. Но неизвестно, принесет ли это вам счастье. Быть может, запах жареного лука вернее обеспечивает счастливый исход. Прощайте и подумайте над моими словами. (Уходит.)

Н и н а : Ну и чучело! Слава, почему ты молчишь? Почему ты ни слова ему не сказал?

С л а в а : Ты поняла? Это был Он!

Н и н а : Кто — он?

С л а в а : Кассир вечности! Тот, кто сдает сдачу со славы.

Н и н а : Какой он кассир! Просто забрел с улицы чужаком, наговорил тебе комплиментов, вот ты и решил, что он из вечности.

С л а в а : Смотри! Он не оставил следов! Как твои сани.

Н и н а : Каких следов?

С л а в а : Никаких! На улице — дождь и грязь, правда? Вон мы с тобой как наследили. А от него хоть бы пятнышко на полу осталось!

Н и н а : Может, он просто ноги хорошо вытер.

С л а в а : Может, и вытер, но это несущественно. Главное, что он не оставил следов! Не оставил следов!

Нина подхватывает и они пляшут, сплетаясь пальцами.

С л а в а , Н и н а (дуэтом) : Не оставил следов! Не оставил следов!

Лизина дверь открывается, выходит Серго, Лиза его провожает. Слава и Нина умолкают.

Л и з а : Вы можете в любой день заехать ко мне поужинать. Серго, — ведь у вас такая тяжелая работа, а я по вечерам всегда дома.

С е р г о (у лифта) : Как-то неловко затруднять...

Л и з а : Что вы, что вы! Какое затруднение! Я — женщина одинокая, мне только приятно!

Серго уезжает, Лиза направляется в туалет, но вдруг замечает Нину и Славу.

Л и з а : Подглядываешь? Подслушиваешь? По углам прячешься? На свет выйти стыдишься? Ведь каждую ночь в коридоре к парням липнешь, и все к разным, все к разным!

Закрывает за собой дверь туалета.

Н и н а (пытается вырвать руки из Славиных рук) : Я пойду,пусти!

С л а в а : Никуда ты не пойдешь!

Н и н а : Я пойду, а то ты согласишься, что я каждую ночь... Поверишь ей...

С л а в а : Я верю только себе. (Привлекает ее к себе.) Ведь ты мне теперь и брат, и сестра, разве ты забыла?

Н и н а (слабо вырываясь) : Подожди, пока она выйдет.

С л а в а : Она теперь всю ночь сидеть там будет, подслушивать.

Стоят обнявшись. Вдруг из своей комнаты выходит Павловна в старомодном длинном платье с блестками, седые волосы распущены по плечам. Она крадучись подходит к одной из издательских комнат, отпирает ее ключом из связки и входит — через минуту оттуда доносятся надрывные звуки рояля и пение.

Г о л о с П а в л о в н ы : Уймись, волнения страсти, усни, безнадежное сердце! Я плачу! Я страдаю!

С л а в а : О Господи! Еще один призрак?

Н и н а : ...Говорят, она в молодости собиралась стать певицей, но не получилось... Мужа арестовали, ее сослали...

П а в л о в н а (поет): Я плачу, я страдаю, душа истомилась в разлуке!

Л и з а (выскакивая из туалета, кричит): Безобразие! И по ночам покоя нет! Сейчас же прекратить это хулиганство!

П а в л о в н а (поет): Напрасно надежда мне верность гадает — не верю, не верю...

Занавес.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Четвертая картина

Разгар рабочего дня — в одной из комнат издательства идет худсовет. Из-за этой двери время от времени доносятся звуки музыки, иногда оттуда выходят редактора и члены совета. В креслах Нонна разговаривает со Славой.

Н о н н а : Поверьте мне, я лучше вас знаю требования худсоветов: он ни за что не пропустит ваши романы в таком виде. Надо переписать их в мажоре — больше света, оптимизма, непосредственной радости жизни.

С л а в а : Но ведь тогда все теряет смысл...

Н о н н а (холодно): Как вам угодно... Вольному воля. Но я могу предлагать совету только то, в чем я сама абсолютно уверена.

С л а в а : А вдруг мнение совета не совпадет с вашим? Вдруг им понравится?

С лестницы к ним направляется Витя.

С л а в а : В конце концов, разве совет не решает спорных вопросов?

Н о н н а (вспыхивает) : То есть, вам угодно вынести на совет наш... конфликт? Что ж, давайте! Но не думаю, что вы на этом что-нибудь выиграете!

В и т я : Привет, братья по оружию! Кормилица, уж не сердитесь ли вы? Нет, нет, я не хочу этому верить: гнев так не идет к вашим ангельским чертам!

Н о н н а : Просто есть люди, не способные понимать элементарные вещи!

В и т я : Но я надеюсь, ни я, ни мой друг — Славик, улыбнись и не сверкай так очами! — мы с ним не относимся к этой категории нудных тупиц?

Н о н н а : Да нет, Витя, вы ни при чем... Кстати, о вас: мне уже пора на совет, а мы вашу симфоническую поэму не обсудили. А надо бы... Вы мне разъясните поскорей, какая там основная идейная нагрузка — так, чтобы я могла изложить это на совете.

В и т я : Главная магистраль поэмы — эти вариации на тему народных частушек. Это придает ей мощную мажорную окраску. Тема вырастает в глобальную, потому что на наших глазах индивидуальная радость растворяется в бурном потоке радости всенародной.

Н о н н а : ...радости всенародной, — это хорошо. Но почему вы выбрали форму симфонической поэмы? Естественней было бы остановиться на фантазии для оркестра народных инструментов. Все это как-то больше вяжется с балалайками.

В и т я : Нет, нет, балалайки свели бы задачу к банальной! Весь смак в том, что тема частушек звучит в исполнении инструментов изысканных, я бы даже сказал — возвышенных! Ее начинают скрипки, подхватывают альты, завершают виолончели. И радость народная мощной волной врывается в духовный праздник интеллигенции до полного слияния и — не побоюсь этого слова — до полного соития!

Н о н н а : Что ж, эти соображения, пожалуй, пригодятся мне во время обсуждения. Повторите-ка, как вы сказали насчет этого... ну, праздника интеллигенции.

В и т я : О, лучшая из женщин, повторить — это не просто, ведь все истинно прекрасное — неповторимо! Но попробуем, хоть за результат и не ручаюсь: итак, в звучании возвышенных инструментов, исполняющих простенькую мелодию частушки, мощный

поток народной жизни неумолимо несет нас к апофеозу духовного праздника интеллигенции, до полного слияния и соития!

Н о н н а : ...до полного слияния и соития. Кого с кем?

В и т я : Что-то на этот раз получилось хуже, как я и предсказывал. Но я думаю, суть вы ухватили. Да мне ли вас учить? Вы всегда умели твердой рукой направить совет к нужному решению. Я верю в вас!

Н о н н а (встает, просматривая бумаги) : Ну, я иду. (Славе.) Что касается ваших романсов, Слава, — если вы очень настаиваете, я предложу их совету.

С л а в а (упрямо) : Настаиваю.

Н о н н а : Но не думаю, что результат обсуждения удовлетворит вас. (Уходит.)

В и т я : Болван! Сперва вместо заурядных песенок написал изысканные романсы, но и этого тебе показалось мало! Тогда ты ловко провернул историю с вечерним гуляньем. А ведь твои чувства могли бы подождать до завтра, тем более чувства возвышенные, — они ведь долговечны... Но нет: ты поспешил обидеть женщину! Да еще какую!

С л а в а : Какую же?

В и т я : Во-первых, одинокую, во-вторых, кормилицу. То есть, ты обидел одинокую кормилицу, а это подпадает под статью уголовного кодекса. И что ты сделал, чтобы избежать наказания?

С л а в а : А что я должен был сделать?

В и т я : Он еще спрашивает! Ты должен был покаяться — раз! Ты должен был целую неделю провожать ее одиночество до самого дома и сдавать на руки супругу, под расписку — два! Ты должен был принять кару и переписать романсы в мажоре — три! А ты? Ни раз, ни два, ни три! И еще полез в бутылку и протацил против ее воли романсы на совет. Да она в порошок тебя теперь сотрет!

С л а в а : Но я хочу только, чтобы мои романсы оценили по справедливости.

С лестницы входит Нина.

Н и н а : Добрый день! Славик, ты меня ждешь?

В и т я : Увы, прелестница, я должен вас разочаровать, — на этот раз он ждет не вас, а Нонну. И с трепетом притом.

С л а в а (кивает на дверь) : Она на худсовете.

Н и н а : Что? Предложила романсы худсовету? Не может быть!

В и т я : Нина, как вы, с вашим потрясающим музыкальным опытом, допустили, чтобы он заслужил немилость самой Нонны Аркадьевны? Или вам нет дела до его судьбы?

Н и н а (холодно) : Не понимаю, при чем тут я? (Уходит к себе.)

В и т я : Не нравлюсь я твоей Нине. А с чего бы? Парень я, вроде, ничего...

Из-за двери, где идет худсовет, доносятся звуки грамзаписи.

Х о р (поет) :

“Замечательный народ очень весело живет
В нашей солнечной стране!”

В и т я : Слышишь? Не сомневаюсь, что это непритязательное, зато сверхоптимистическое творение будет восторженно встречено худсоветом. А твои вдохновенные романсы могли бы проскочить только чудом, если бы Нонна сражалась за них, как львица.

С л а в а : Разве мои романсы так уж неинтересны?

В и т я : Именно интересны! Слишком интересны! И в этом их главный порок! Хочешь заработать — пиши, как все.

С л а в а : То, что могут написать все, возьмут у всех. Зачем им я?

Появляется Павловна со шваброй.

П а в л о в н а : Отойди, отойди! Не видишь, что ли — уборка! Ишь, весь коридор загромодили!

В и т я : Павловна, а почему среди бела дня вдруг уборка?

П а в л о в н а : А что мне ваш день? У меня сегодня от квартиры дежурство. Я от себя сегодня убираюсь, не от вас.

В и т я : Из чего можно понять, сколь сложна современная жизнь!

С лестницы входит Василий — он, как всегда, пьян.

В а с и л и й : Орлы, мое вам уважение! Уважение — в жизни главное. А если уважения нет, тогда ничего нет, потому что уважения нет... А раз нет уважения, так ничего нет, потому...

П а в л о в н а : Проходи, проходи! А то шваброй сейчас уважу!

В а с и л и й : Ну вот, и эта против! Нет, Слава, ты скажи — по-

чему они все против меня? Ведь я с пяти утра за баранкой, и никакого нарушения, ни-ни! А они не уважают! А раз уважения нет...

Отворяется дверь совета, выходят Вагнеры — Он и Она.

О н а (с ходу) : Бедный, бедный Славик! Поверьте, я сочувствую вам от всей души!

С л а в а : Почему мне надо сочувствовать?

О н а (продолжая) : ...но не перестаю удивляться вашей незрелости! Ну что вы опять насочиняли? Что вы хотели этим сказать?

В и т я : Ну, что я говорил?

О н а : При всем нашем дружеском расположении к вам лично, мы были вынуждены присоединиться к решению совета по поводу ваших, так сказать, романсов.

О н : Ты пойми нас правильно, старик, — это ни в какие ворота! Поверь, ну ни в какие!

О н а : Мы сделали это для вашей же пользы, чтобы вы, наконец, стали взрослым и поняли, что нужно людям. Простым, честным людям.

В а с и л и й : Людям нужно уважение, потому что раз уважения нет, так ничего нет, раз нет уважения... (Стучит в свою дверь.) Нинка, открой! Отец пришел!

П а в л о в н а (орудуя шваброй) : И чего посреди коридора толпиться? отошли бы в сторонку. Да не туда — не мытое!

О н : Я так за тебя огорчился, старик, — прямо не знаю, что тебе посоветовать. Ну никакого чувства реальности: будто ты с луны свалился.

О н а : Вот вы, Витя, меня сегодня порадовали! Ваша симфоническая поэма, — да это просто чудо! Столько вкуса, такая свежесть восприятия!

В и т я : Вы знаете, мадам, как высоко я ценю ваше мнение!

В а с и л и й (стучит в дверь) : Нинка, ты что оглохла! Открой, а то хуже будет! Отец пришел, отца уважать надо!

П а в л о в н а (плещет воду у его ног) : Давай, проходи, чего разорался!

Василий бредет на кухню, бормоча про уважение.

О н : Старик, ты должен всерьез подумать о своем будущем. Может, тебе стоит заняться чем-то другим...

О н а (прямо любовно): Милый Славик, иной раз человеку полезно вовремя понять, что он не Бетховен. Понять и сделать соответствующие выводы.

О н : Так ты подумай и позвони мне: может, я чем-нибудь смогу тебе помочь.

О н а : Ах, Слава, ну чем он сможет вам помочь? Это просто смешно! А вы будете надеяться, звонить, отрывать нас от работы!

С л а в а : Не бойтесь, я не буду вас отрывать.

Входит Очкарик.

Н о н н а (выпархивая из комнаты Совета): Витя, поздравляю, ваша поэма прошла на ура! Принята по высшей ставке, будет опубликована в сборнике и предложена в "Мелодию" для пластинки. (В руках у нее ноты.) Особый восторг вызвало это место. (Показывает.)

О ч к а р и к (заглядывая через ее плечо): Virtuозная инструментовка!

Н о н н а : Да, все так и сказали.

О ч к а р и к (напевает несколько тактов): Но к чему эта непосильная задача для исполнителей? Ведь никакая высшая сила не водила искусной рукой автора при создании этого шедевра пустоты.

О н а : Ну знаете! Это что за птица? Вагнер, что ты молчишь?

О н : Позвольте спросить, кто вы? По какому праву...

О ч к а р и к : А вы кто? Что вы делаете здесь, рядом с музыкой?

Н о н н а : Да он сумасшедший! Павловна, немедленно позвоните в милицию! Я боюсь!

П а в л о в н а (всматриваясь в лицо Очкарика, неожиданно тихим голосом): Не стану я милицию звать, не стану. Сами и зовите, если вам надо. (Очкарику.) Где-то я вас видела, ...раньше когда-то, давно... Или мерещится мне? (Со слезами.) Не всегда же я полы мыла... (Уходит поспешно к себе.)

Н о н н а : Бред какой-то!

О ч к а р и к : Успокойтесь, вам не надо меня бояться: только имеющие отношение к музыке подлежат моему суду. (Славе.) Не огорчайтесь, мой мальчик, — вас не должен тревожить приговор глухих. (Уходит так же внезапно, как и пришел.)

О н а (с истерическим смехом): Поздравляю, Славик, вы получили наивысшую оценку! Можете гордиться! (Идет к выходу.) Пошли, Вагнер!

О н (идет за ней): Да, дела... Ты все же звони, старик.

Уходят.

В и т я : А теперь, кормилица, расскажите, как дела у Славки. А то он сам не свой.

Н о н н а : Как я и предполагала, все были против, все до единого. Это было очевидно заранее, я предупреждала.

В и т я (Нонне): Будьте снисходительны к нему, богиня, теперь, когда он наказан по заслугам: не пора ли вам, добрейшая из прекрасных, сменить гнев на милость и простить этого шалопая?

Н о н н а : Не понимаю, вы считаете меня вздорной бабой, которая сводит мелкие счета с вашим ненаглядным Славиком?

В и т я : Что вы? Мне и в голову такое не могло прийти!

Н о н н а : А я, как и все остальные. Глухие, разумеется! Я ясно вижу, что создание музыки — не его амплуа.

В и т я : Да нет, это вы несерьезно, правда?

Н о н н а : Куда уж серьезней!

В и т я : Конечно, романсы эти... ну, экстравагантны, я бы сказал, но нельзя же зачеркивать совсем... Нужно дать поправки, указать на ошибки...

Н о н н а : Хватит, Витя, оставьте нас — мы обойдемся без посредника. (Витя отходит.) Ну-с, мой юный друг, — надеюсь, я заслужила право называть вас так? Так вот, мой юный друг, надо быть честным с собой! Вы должны примириться с тем, что композитора из вас не выйдет. Не всем дано, увы! Это очень заманчиво, не спорю, — причислять себя к лику творцов, но что поделаешь, что поделаешь!.. На нет и суда нет... И чем раньше вы поймете это, тем лучше для вас.

С л а в а : Спасибо.

Н о н н а : Ну вот, уже и отчаяние! Конечно, открытие не из приятных, но ведь живут же другие! Не все ведь творят — и ничего, не умирают!

Из кухни выходит Василий, бросается к Нонне.

В а с и л и й : Нет, ты скажи, почему дочь меня не уважает? Если б я нарушал или, скажем, старушку какую сбил — тогда пусть, тогда пожалуйста, не уважай, не надо...

Н о н н а : Василий Степанович, идите домой — не мешайте работать.

В а с и л и й : И эта не уважает, и эта против! Во бабы! Все, как есть, все против! А почему? Потому что баба — она баба и есть. И уважения в ней быть не может... (Идет к своей двери.)

С л а в а : Конечно, никто не умирает...

Н о н н а : Ах, Слава, никто лучше меня не поймет вас — ведь и у меня были свои крушения, поверьте. И я готова помочь вам, — ну, например, устроить какой-нибудь заработок... временно, пока вы найдете свое место в этом мире.

С л а в а : Что-то сегодня все предлагают мне помощь, и вы, и Вагнеры...

Н о н н а : Ах, и они тоже? Видите, какие милые! Что ж, это естественно: люди должны помогать друг другу.

С л а в а : Я тронут.

Н о н н а : Вы говорите это так, будто я вам враг. А ведь я ради вашей же пользы... Вы поймете это когда-нибудь потом, уверяю вас. Так что не отвечайте пока, подумайте над моим предложением. Желая (осекается)... ну. До скорого. (Вите.) Может быть, вы зайдете ко мне, Витя? Нам надо бы обсудить кое-какие мелочи — у совета был ряд замечаний по вашей поэме. (Уходит к себе.)

В и т я : Здорово ты ее рассердил, я вижу. Даже хуже, чем я ожидал сначала. Ладно, пойду, позондирую, что еще можно исправить. (Идет за Нонной.) Подождешь?

Слава молчит.

В а с и л и й (барабанит в дверь) : Дочь! Открой! Старый орел прилетел!

Дверь распахивается резко, выглядывает Нина.

Н и н а (не впуская его) : Чего кричишь? Чего позоришься?

В а с и л и й : А ты чего не пускаешь? Ты кто такая, чтоб не пускать? Ты уважать должна! Мне умереть не жалко, лишь бы уважение! Потому что я — орел! (Орет.) Орлы умирают орлами!

Н и н а (будто ее ударили, отшатывается): Уходи! Уходи отсюда! И чтоб я тебя не видела! (Захлопывает перед ним дверь.)

В а с и л и й (неожиданно смирившись): Ну вот — не впустила. И всегда она так. (Идет к Славе.) Славик, друг дорогой! (Лезет целоваться.) Видал, как она отца родного? Нет, ты скажи, почему они меня не любят? За что?

С л а в а (тихо): Я тоже спрашиваю: почему они меня не любят? За что?

В а с и л и й: Ну, скажи ты им, чтоб они меня любили! Я — с пяти утра за баранкой, а они меня в дом не пускают. А за что? Ведь если б я нарушал или старушку какую сбил, тогда ладно, пусть — не уважают. А у меня смотри (вытаскивает права): во! ни одного прокола! Если б я нарушал, у меня бы прокол был. А у меня ни-ни! За десять лет! Я никакой старушки не сбил, а мог, очень даже мог. А они не уважают. А раз уважения нет, так ничего нет, потому что уважения нет...

Занавес.

Пятая картина

Канун старого Нового года — тринадцатое января. В издательстве вечеринка: в одной из комнат накрыт стол. В коридоре стоит елка, играет магнитофон. Он (Вагнер) танцует с Верочкой.

О н (игриво): Новый год наступает как раз через неделю после Рождества. И как вы думаете, какое событие он отмечает?

В е р о ч к а (робко): Я не знаю...

О н (торжествуя): Это просто день обрезания Иисуса Христа!

В е р о ч к а (смущенно хихикая): Ой, что вы! А Дед Мороз как же?

О н: Нет, Деда Мороза вряд ли обрезали. Впрочем...

В е р о ч к а: А у нас Дед Морозом женщина, пожилая уже. Так она замерзла и не пришла...

Пока Верочка говорит, в дверях появляется Она, пристально смотрит на танцующих. Он пугается.

О н (перебивает): Не хотите ли выпить прохладительного? (Тащит Верочку к дверям.)

В е р о ч к а (изумленно): Прохладительного? Я не знаю...

О н : Ну конечно, хотите! Там на столе есть пиво... (Прово-
жает Верочку в дверь, тут же выбегает в коридор.) В чем дело,
малышка? Почему ты так смотришь?

О н а : Я уже говорила тебе не раз, что танцы — это первая
ступень близости. И потому танец с другой женщиной я воспри-
нимаю как измену.

О н (бормочет) : Ну, малышка, ты же сама... ты сказала, что
мы должны пойти на эту вечеринку, чтобы поддерживать связи
в издательстве.

О н а : Не понимаю, какие у тебя могут быть связи с секре-
таршей!

Из дальней двери выходит Слава, в руках у него папка с бумагами.

О н (убегая от неприятного разговора) : О, старик! Сколько
лет, сколько зим! Ты совсем пропал — не звонишь, не приходишь!
Избегаешь!

О н а : Вы что, Славик, решили вспомнить прошлое и встретить
отмененный Новый год в кругу старых друзей?

С л а в а (растерянно) : Какой круг? Какой год?

О н : Заржавел! Совсем заржавел!

О н а : Разве вы не на елку?

С л а в а : Да нет, я тут подрабатываю по вечерам — разбираю
издательский архив. (Усмехается.) Нонна устроила: чтоб консер-
ваторское образование даром не пропадало.

О н : И прилично зарабатываешь?

С л а в а : На хлеб хватает. Ну, всего хорошего, я пошел.

О н : Как, старик, ты хочешь уйти? И не выпьешь с нами? По
случаю праздника?

С л а в а : Как-нибудь в другой раз.

О н а : О, Славик теперь пренебрегает богемой!

С л а в а : Да нет, просто настроение неподходящее.

О н а : Нет, нет, вы должны остаться, а то мы подумаем, что
вы на нас дуетесь.

В коридор выплывают в вальсе Нонна с Витей.

О н а : Нонна, вы должны уговорить Славика выпить с нами за
счастье в наступающем году.

Н о н н а : Вы уже кончили на сегодня, Слава? Так, может, присоединитесь? У нас весело!

Нонна с Витей, танцую, удаляются.

В и т я (тихо Нонне): Богиня, зачем вы зовете его? Неужто вы его недостаточно унизили?

Н о н н а (она навеселе): Ах, Витя, и это вы говорите мне! А ведь это я нашла для него работу. Поддержала в трудную минуту. И что тут унижительного? В конце концов, он наш сотрудник!

Возвращаются к остальным.

Н о н н а : Оставайтесь, оставайтесь, Слава, — можете позвать свою зазнобушку, тем более за ней идти недалеко.

О н (с интересом): Что за зазнобушка?

Н о н н а (смеясь): Наш Славик — очень практичный человек. Он завел роман с девушкой из нашего коридора, чтоб было удобно ходить на свидания.

О н : Это прекрасно! Сейчас мы пригласим сюда девушку из коридора! Где она живет?

Н о н н а : Третья дверь, слева от кухни.

О н : Эта?

Он стучит, выглядывает Нина.

О н : Бон суар, мадемуазель! Я не знаю вашего имени, но знаю, что вы покорили сердце нашего милого Славика. И потому хочу пригласить вас на тур... (Осекается, испуганно взглянув на Нее.) ...хочу пригласить вас выпить с нами в честь наступающего!

Н и н а : Простите, я не понимаю...

Замечает Славу, он молчит.

Н и н а : Слава, они с тобой?

О н : Ну конечно, мы с ним! Неужели нас можно принять за нахалов, которые приглашают незнакомых девушек?!

Нина нерешительно молчит.

В и т я (чтобы разрядить неловкость) : Пошли, Нина, раз зовут! Там есть шампанское и красная икра, фаршированная черной!

О н : Значит, вы Нина? Как поэтично!

О н а : Ничего поэтичного не вижу!

О н : Мы должны выпить за Нину!

Н и н а : Я не знаю, как Слава...

Н о н н а : Если вы пойдете, и Слава побежит — он ведь всегда бежит за вами!

С л а в а (будто на что-то решившись) : А действительно, почему бы не выпить скромной архивной крысе, если люди искусства стремятся поделиться с нею шампанским и красной икрой, которая фарширована черной? Тем более, что у меня есть новогодний подарок для моей уважаемой покровительницы.

Н о н н а : Что же это? Обожаю подарки!

С л а в а : Пока это тайна. Стоит ли отравлять праздник делами?

Н о н н а : Но я сгораю от любопытства!

С л а в а : Сгорайте, польхайте, пламенейте — это вам к лицу! Так где же обещанное шампанское?

О н (суется) : Вперед, друзья! На штурм Нового года!

Спешит к столу, за Ним — Слава, Нина, Она. Нонна с Витей продолжают прерванный танец.

Н о н н а : Вот видите, все получилось отлично. А вы сразу перепугались за своего ненаглядного Славика.

В и т я : Кормилица, вы знаете, что я боготворю вас! Все, что вы делаете, — неподражаемо и тэ дэ и тэ пэ. Но признайтесь, со Славкой вы поступили, как злая фея. Не как богиня, а как баба-яга.

Н о н н а : Ну при чем тут я? Просто ему не следовало восстанавливать против себя весь худсовет. Они все люди пожилые, солидные, к новым этим штучкам-дрючкам не привыкли — зачем было их дразнить? Конечно, после такого скандала его репутации конец, но я в этом не повинна.

В и т я : И откуда в вас, моя прелесть, эта мстительная сила? Б-р-р-р! Она пугает и разрушает в моем сердце ваш светлый образ.

Н о н н а (вдруг искренне, без обычного жеманства — видно, что она слегка пьяна) : Образ! Ну что вы обо мне знаете, Витя? Что можете понять? Я все бегу, бегу, бегу, — а куда? В пропасть? В старость? Не слушайте, не слушайте — это все пьяный бред! Но

если б вы знали, как я боюсь старости — ее мелких морщинок и запаха испорченных зубов, а главное одиночества, одиночества, одиночества! И некуда спрятаться, не за кого уцепиться!

В и т я : А муж?

Они уже не танцуют.

Н о н н а : Муж, что муж? Я для него, как мебель, — привычная удобная мебель, главная задача которой: не мешать. Он уже десять лет смотрит исключительно сквозь меня. Да не стоит о нем — его я уже переболела. Как и вас, впрочем.

В и т я (затыкая уши) : Хватит, хватит! Не буду больше слушать! Вы же меня потом возненавидите за эту исповедь!

Н о н н а (отрывая его руки от ушей) : Можете не сомневаться! Но слушать вы все же будете! Надо же кому-то пострадать из-за меня! Ведь я цепляюсь за каждого, в ком мне видится хоть какая-то искорка, какая-то нужда во мне. А оказывается — это заблуждение, и никому я не нужна. И тогда фея внутри меня превращается в бабу-ягу, она начинает ненавидеть, мстить, крушить, ломать. Раз мне плохо, пусть всем будет плохо! Пусть они тоже корчатся, корежатся, валяются в грязи, — как я, как я, как я! (Она почти рыдает.) И тогда под глазами у меня расправляются морщинки и на щеках вспыхивает румянец! И я становлюсь молодой бабой-ягой, как эта глупая Нина. (Кружится в каком-то иступлении, подпевая магнитофону — сперва по-французски, затем по-русски.) Ты бросил меня и разбил мое сердце! Ты бросил меня и разбил мое сердце! (Падает в кресло, тяжело дыша.) И разбил мое сердце! Сердце — ха-ха-ха! Что за чушь я вам тут наболтала! Вы, кажется, смотрите на меня, как на больную? (Напряженно смеется и возвращается к обычному тону.) Не смейте! Я ведь женщина мстительная! И не люблю, когда меня жалеют. Берегитесь, Витя! Мечь — это единственное, что остается, когда молодость уходит.

В и т я (ей в тон) : От ваших шуток, богиня, у меня мурашки по спине бегут.

Н о н н а : И правильно бегут! Мурашки обеспечивают уважение. А как говорит Василий, уважение — это все, потому что раз уважения нет, так ничего нет...

Открывается дверь, в коридор нервно выходит Лиза.

Л и з а : Не пора ли кончать музыку? Мало им музыки днем!
Н о н н а : Вот еще одна баба-яга; тоже жертва одиночества.

Следом за Лизой выходит Серго.

Л и з а : Я спрашиваю, когда прекратится это безобразие?
В и т я (показывая на Серго) : Да нет, она, вроде, с этой проблемой справилась успешно. Заполучила усача.

Н о н н а : Это только видимость. Теперь она боится его потерять. Неуверенность и страх гложут ее день и ночь, уверяю вас.

Л и з а : Ну? Вы что — глухие? Или милицию звать?

Н о н н а (Лизе) : Может быть, присоединитесь к нам? У нас музыка, у нас весело, — ведь завтра Новый год.

Л и з а (враждебно) : Уже две недели Новый год, чего праздновать-то?

С е р г о (примирительно) : Давай и мы потанцуем, Лиза. Все равно, они скоро не разойдутся.

Л и з а (вдруг царемонно) : Ну, если ты очень хочешь...

В и т я : Вот и отлично! А нам, богиня, самое время выпить.

Н о н н а (смеется) : Богиня или баба-яга?

В и т я : Баба-яга тоже по сути богиня.

Уходят.

Л и з а (глядя им вслед) : Все хи-хи да ха-ха! Так и вьется вокруг него, как муха вокруг пирога!

С е р г о : Да тебе-то что, пусть вьется. Пирог ведь не твой.

Л и з а : И вокруг моего, небось, тоже кто-то вьется. Ты что жене сказал сегодня?

С е р г о : А ничего не сказал. Я ведь на работе, забыла?

Л и з а : Ну вот, жену обманываешь, — значит, и меня обмануть можешь.

С е р г о (спокойно) : А зачем тебя обманывать? Ты ведь не жена. Я к тебе, когда хочу, тогда и прихожу. А не захочу, и не приду.

Л и з а (вдруг вырывается) : Подожди, подожди, я сейчас! (Спешит в свою комнату, выбегает с коробочкой.) Вот... я хотела тебе подарок... к Новому году... (Достает часы.) Вот, носи на здоровье! Золотые!

С е р г о : Ну что ты! Такие дорогие!

Л и з а (гордо) : Я за ними два часа в очереди на Арбате стояла!
Я как их увидела, сразу подумала, что тебе понравятся!

С е р г о : Ну спасибо, спасибо.

Н о н н а (выглядывает) : Елизавета Павловна! Идемте, вы-
пейте с нами!

Л и з а (церемонно) : Спасибо, уже поздно пить!

С е р г о (подталкивая Лизу к дверям) : Мы идем, идем! С удо-
вольствием!

Входят в комнату, навстречу им выходят Слава и Витя с сигаретами.

В и т я : Что случилось? Что ты задумал?

С л а в а : Почему ты вдруг решил?

В и т я : Да смел ты сегодня слишком, на себя непохож. И по-
дарком каким-то все грозишься. Уж я-то тебя знаю!

С л а в а : Что ж, могу рассказать. Я тут в архиве нашел папку
сочинений одного забытого композитора двадцатых годов. Чер-
новики, в основном, наброски, законченного мало. Но чертов-
ски талантливо! Хоть сорок лет назад писано, а смелей многого
сегодняшнего.

В и т я : А кто он? Как фамилия?

С л а в а : Совершенно неизвестный человек. Темная лошадка.
Сергей Никитин какой-то. Похоже, что из рабочих, но, видно,
учился в консерватории.

В и т я : И где же он теперь?

С л а в а : Сгинул. Пропал, как не было. Я по справочникам
смотрел, и в картотеках — нигде такого не упоминают. Но руко-
писи-то — вот они! (Хлопает по папке.) Ну как, ничего подарок?

В и т я : Погоди. Дай глянуть.

С л а в а : Может, рано еще? Я ведь в порядок не привел, там
не все концы с концами сходятся.

В и т я : Ничего, я разберусь. Все же грамотный.

С л а в а (достаёт тетрадь) : Ну хоть это.

Витя садится в кресло и читает. Слава идет в комнату, возвращается с
Ниней, они танцуют.

Н и н а : Что это ты сегодня разошелся? То видеть никого не
хотел, а то пьешь с ними, шутишь, даже за Нонной ухаживаешь.

С л а в а : Не ревнуй, от ревности портится цвет лица.

Н и н а : Нет, ты не выкручивайся, ты скажи, в чем дело.

С л а в а : Понимаешь, я, кажется, нашел способ, как мне их всех, разом, положить на обе лопатки.

Н и н а : А разве тебе это нужно? Мне казалось, тебе все равно.

С л а в а (легкомысленно) : Ты ведь предсказывала, что я стану знаменитым? Вот я и решил оправдать твое предсказание! И при жизни, как ты того требовала!

Н и н а (вдруг резко останавливается) : Слава, я боюсь!

Из комнаты выбегает Он (Вагнер), очень веселый и храбрый от выпитого.

О н : Ниночка, куда же вы пропали? Я вас всюду ищу! Я должен с вами... хоть один раз... А вы должны со мной!

Н и н а : Но меня уже пригласили!

В и т я : Слава, иди-ка сюда!

О н : Кто посмел пригласить вас?

Н и н а : Слава посмел.

О н : Придется мне убить вашего Славу в честном бою!

В и т я : Слава!

С л а в а : Не надо меня убивать — я вам уступаю ее на один танец. Но не больше.

Идет к Вите, пока Нина танцует с Ним.

С л а в а : Ну как — интересно?

В и т я (медленно, глядя Славе в глаза) : Очень интересно. Просто захватывающе! Но главное — поражает современность в решении темы. Неужто это написано в двадцатых?

С л а в а : Ты глянь — бумага почти истлела. Да вот и дата.

В и т я : Дата, конечно, и бумага — все верно. Документально, так сказать. Вторую часть этого концерта я уже где-то слышал, а?

С л а в а : Не знаю, где ты мог это слышать...

В и т я : Не в дипломной ли работе одного подававшего большие надежды юноши? Талантливая была работа!

С л а в а : Слушай, как можно полагаться на память в таком деле?

В и т я : Понимаешь, человек, который в наше время хочет заработать себе на масло к хлебу творческим трудом, должен

иметь почти магнитофонную память. Чтобы не выходить за рамки общепринятого.

С л а в а : Значит, тебе кажется, что концерт этот тебе знаком?

В и т я : Нет, мне не кажется. Я в этом уверен. Я запомнил на всю жизнь это неповторимое соло скрипки и ритм сопровождения, прерывистый, как пульс умирающего, да и все остальное тоже. Я в таких вещах не ошибаюсь.

С л а в а : Хорошо, пусть будет так. Но ты не станешь отрицать, что этот концерт написан неудачником, которого все давным-давно забыли?

В и т я : Господи, это же самоубийство! Потерпи немного! Попробуй в других местах; предложи в концертное бюро, в филармонию — авось, где-нибудь проскочит!

С л а в а : Я пробовал, но всюду один ответ — отказ. На мне лежит Каинова печать.

В и т я : Ну подожди. Ведь ты еще не собираешься на тот свет. Ведь время...

С л а в а : Ну да, мои произведения будут жить в веках! После моей смерти! А я хочу своими ушами услышать, как исполняют их большой симфонический оркестр всесоюзного радио! Я больше не могу жить, держа все это в голове! У меня от этого лопаются мозги! Понимаешь, лопаются мозги!

В и т я : Но ведь это же записано! Оно не пропадет.

С л а в а : Концерты для скрипки с оркестром пишут для того, чтобы их исполняла скрипка в сопровождении оркестра! И скрипка исполнит их, вот мое последнее слово! В сопровождении оркестра!

В и т я : Подумай, номер этот может не пройти, а авторство твое — фьюить! И притом навсегда!

С л а в а : Номер пройдет!

В и т я : Это как сказать. Причины-то остаются. И тревожное, даже трагическое мироощущение автора, и нетривиальность решений...

С л а в а : Автор-то мертв. Значит, остается только подтвердить его личность надлежащей биографией.

В и т я : Что ж, детище твое... Тебе и решать.

С л а в а : Значит, ты ошибся, да? Ты никогда не слышал этого концерта, как и всего остального?

В и т я : Ну, если ты настаиваешь, — ладно, не слышал. Я ошибся. Но могут вспомнить другие, учти...

С л а в а : Кто вспомнит? Кому до этого дело? Разве что покойный мэтр, из царства теней...

Подбегает Нина, за ней Он.

О н : Старик, ты должен уступить мне вальс. Всего только вальс. Вальс — это даже не танец, он такой старомодный.

В дверях появляется Она.

О н : Но я не настаиваю, нет! Если тебе жалко, пожалуйста, танцуй с нею сам! (Бежит к Ней.) Ну, где же ты была, малышка? Мне не с кем было танцевать вальс! Ни одна женщина не может так кружиться, как ты!

О н а (танцует) : А разве ты пробовал с другой женщиной?

Н и н а : Что-то случилось, Слава? На тебе лица нет! (Вите враждебно.) Что вы тут ему сказали?

В и т я : Ах, Нина, ну почему вы так ко мне относитесь? Ведь я парень хоть куда: холостой и остроумный!

Н и н а : Всегда вы со своими шуточками! (Славе.) Слава, что с тобой?

В и т я : Ну что, Слава? Ты решил — скажем ей? Или лучше не надо?

С л а в а : Я решил. Надо.

В и т я : Я должен поздравить вас, Нина: ваш Слава сделал замечательное открытие.

Н и н а : Открытие?

В и т я : Да, дитя мое, он нашел клад. Теперь перед ним открываются все двери, кроме тех, разумеется, которые закроются. Он начнет преуспевать, есть досыта и покупать вам дорогие платья.

С л а в а (перебивает) : Ха-ха-ха! Нина, посмотри, ты не видишь крови у меня на руках?

Нина в испуге смотрит на него. Магнитофон смолкает, тихо входит Очкарик.

О ч к а р и к (заглядывая в ноты в руках у Славы) : О-о, наконец, в этих стенах зазвучала подлинная музыка! Кто автор этих строк?

С л а в а : Я... Я не знаю...

О ч к а р и к : Впрочем, имя несущественно. Не все ли равно, кто сумел передать нам привет из вечности?

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Шестая картина

Прошло полгода.

Рабочий день. На кухне Нина что-то гладит, Лиза у плиты. Нина время от времени подкручивает транзистор, из которого слышен голос Славы.

Г о л о с С л а в ы : И пусть трагическая тема преобладает в симфонии Никитина. Пусть горько, с болезненным надрывом оплакивают героя скрипки, пусть резкой дисгармонией врывается в их хор приговор житейской прозы и мы ощущаем где-то близко, совсем рядом леденящее дыхание неотвратимой гибели героя, — все равно, автор оставляет нам надежду! Трудно поверить, что это написано более сорока лет назад. Но мы знаем, что истинный талант часто опережает свое время и потому признание приходит к нему не сразу. Прислушайтесь к голосу оркестра в этом отрывке: мощная тема разделенной любви звучит в нем.

Звучит музыка.

Л и з а : Вот уж не думала, что твой Слава так быстро в люди выйдет! Ведь надо же — по радио выступает!

Н и н а (осторожно, так как знает цену Лизиним похвалам) : Почему не думали? Чем он хуже других?

Л и з а (ангельски) : Да нет, почему хуже? Может, даже лучше других, если, несмотря на отца твоего, ходит сюда! Только почему он никак на тебе не женится?

Н и н а : Просто он ждет, когда усатый Серго на вас женится. Первому как-то несолидно.

Л и з а : Да чего от тебя и ждать?

Появляется Серго, Лиза несет сковороду к себе, говорит на ходу.

Л и з а : У тебя, бедняжки, ведь и детства настоящего не было!

Откуда ж тебе по-человечески говорить научиться? (Скрывается с Серго.)

Н и н а : У-у, язва! (Швыряет в ярости транзистор на пол, он смолкает.)

Н о н н а (выглядывая в коридор) : Слава еще не пришел, Ничка? Ведь обещал к двум, а запаздывает.

С лестницы вбегает Верочка.

В е р о ч к а (запыхавшись) : Нонна Аркадьевна, очередь подходит!

Н о н н а : Я не могу уйти — Славы все нет и нет.

В е р о ч к а : Ну передайте, пусть подождет. Имейте в виду, эти брючные костюмы без примерки брать нельзя, они размерам не соответствуют.

Н о н н а : Бог с ним, с костюмом. Обойдусь. А то пропущу Славу, он мне очень нужен.

Верочка уходит; Нонна Нине.

Н о н н а : Ты передачу слушаешь?

Н и н а (поднимает транзистор) : Слушаю. Очень хорошая запись.

Входит Слава.

С л а в а : Привет! Простите, слегка опоздал! Передачу по дороге слушал.

Н о н н а : А мы тут заждались! Поздравляю!

С л а в а : Они мне заказали еще две — о вокальных произведениях Никитина и о его квартете.

Н о н н а : Слава, вы деловой человек! (Жадно.) А новенькое что-нибудь расшифровали?

С л а в а : Во всяком случае, подхожу к концу. Завершаю сонаты.

Н о н н а : Но сперва мне, больше никому — договорились? Пусть это станет общим достоянием потом, — а то эти вороны все растащат до моей защиты. Вы знаете, диссертация у меня получается — просто блеск! Будет жалко, если меня опередят. Вы не должны этого допустить: не забывайте, ведь это я устроила вас в архив!

С л а в а : Я никогда ничего не забываю! А что со сборником?

Н о н н а : Практически, можно считать, что дело на мази — план почти подписан. Вы — официально утверждены составителем. Так что быстрее кончайте предисловие, а я заготовлю проект договора.

С л а в а : За мной остановки не будет. (Нине.) Мадемуазель, не хочется ли вам посетить сегодня театр на Таганке?

Н и н а : А что там?

С л а в а : Открытие сезона. (Помахивая листком.) Имею приглашение на два лица!

Н о н н а : Ну, Слава! Вы просто нарасхват!

С л а в а : Они теперь меня обхаживают: просят дать чего-нибудь никитинского — незатасканного — для новой премьеры.

Н и н а : Ой, как здорово! Только что я надену? Сейчас ведь модно брюки, а у меня нету!

С л а в а : Ничего, скоро у тебя все будет.

Нина уходит, входят Вагнеры — Он и Она.

О н а : Ну, конечно, опоздали — касса уже закрыта!

О н : Да нет, еще не открывали!

О н а : Это все равно. С тобой никогда никуда нельзя прийти вовремя.

О н (Славе) : Старик, слушали тебя по радио — ты был на высоте! Поздравляю. Все-таки везунчик ты, везунчик! Раскопать такую жилу — да это на всю жизнь верный кусок хлеба, да еще с маслом!

О н а : Вот видите, Слава, а вы убивались, что не стали композитором. Просто удивительно, до чего люди слепы в оценке собственного творчества! Ведь Никитина все оценили сразу — а почему? Потому что мимо подлинного искусства пройти невозможно, потому что подлинное само бросается в глаза.

С л а в а : Однако, вы забываете, что и Никитин не был признан современниками!

Н о н н а : Тем лучше для нас, тем полнее его оценим мы!

О н (Ей) : Малышка, ты, по-моему, хотела поговорить со Славиком. Что ж ты не пользуешься случаем?

О н а (напряженно) : Я просто боюсь: а вдруг он так упоен своим успехом, что уже не разговаривает с простыми служащими!

ми Муз! (Ему.) Ты не будешь возражать, дорогой, если мы со Славиком чуть-чуть посекретничаем?

О н : Закрываю глаза, старик, хоть понимаю, что все наши дамы без ума от тебя. (Отходит с Нонной к кассе.)

О н а : Славик, ходят слухи, что готовится конкурс имени Никитина. Это правда?

С л а в а : Похоже, к тому идет.

О н а : Подумать только — такой талант! И притом из рабочих, почти самоучка. Это соответствует духу времени. Вы, конечно, будете в жюри?

С л а в а : Я надеюсь.

О н а : Что ж, вы заслужили: ведь, собственно, вы подарили миру этого забытого гения! Мы с Вагнером считаем, что вы совершили подвиг ради искусства! Но я хотела с вами о конкурсе... Мы тоже мечтаем принять участие!

С л а в а : Это право каждого.

О н а : Конечно, конечно, я не о том! Я, собственно... Славик, мы ведь старые друзья, не так ли?

С л а в а : Ну?

О н а : О-о-о! Ваш тон, ваш тон! Ну, тогда не надо! Отставим! Я вам ничего не говорила, вы ничего не слышали!

С л а в а : Но вы мне, действительно, ничего не говорили.

О н а : Ну, раз вы так настаиваете, — так и быть, скажу, как другу! Славик, вы должны дать нам с Вагнером что-нибудь выигрышное! Из неопубликованного. Чтобы у нас не было конкурентов. В память о нашей многолетней дружбе.

С л а в а : О чем речь? Я с удовольствием.

О н а : Я так и знала, что вы не оставите старых друзей! Но не тяните, ведь времени остается не так уж много. В ваших же интересах, чтобы музыка Никитина прозвучала в самом мастерском исполнении.

К Нонне и Вагнеру присоединяется Витя, все они стоят у кассы. Из лифта выходит Пенсионер — он стар, неопрятен, небрит.

П е н с и о н е р : Издательство "Музыка" — здесь?

Никто не отвечает.

П е н с и о н е р : Вы что — глухие тут все? Не слышите, что ли: человек спрашивает, тут издательство "Музыка"?

Н о н н а : Тут. А что вам нужно?

П е н с и о н е р : Директора мне нужно.

Н о н н а : Директор сейчас в отпуске.

П е н с и о н е р : В отпуске, говорите? Не вовремя ваш директор в отпуск уйти собрался. Потом жалеть будет, что я его не застал.

В и т я : Может, вы нам свое дело изложите? Чтоб хоть мы не жалели.

П е н с и о н е р : А вы тут кем будете? Заместителем директора?

В и т я : Боюсь, заместителем директора я не буду. Никогда.

П е н с и о н е р : Так зачем я вам излагать буду? Мне из издательских кого-нибудь нужно, мне всякий встречный не подойдет.

Н о н н а : Может, я вам подойду? Я — старший редактор издательства.

П е н с и о н е р : Старший, говорите? Из начальства, выходит? Тогда, так и быть, — можете заняться.

В и т я : Что ж вы не благодарите, мудрейшая? Ведь вам оказали честь!

Н о н н а : Я благодарю, благодарю. (Пенсионеру.) Слушаю вас.

П е н с и о н е р : А вдруг вы не того? Не подготовлены?

Н о н н а : Это не исключено. Так что вы рискуете.

П е н с и о н е р : Рисковать не имею права — возраст не тот.

Н о н н а : Тогда, быть может, отложим до возвращения директора?

П е н с и о н е р : Нельзя — дело государственной важности.

Н о н н а : Ну — решайте!

П е н с и о н е р : Эх, была не была! Вы хоть радио-то слушаете?

Н о н н а : Ну, слушаем.

Подходят Слава и Она.

П е н с и о н е р : Тогда приготовьтесь к важному сообщению. Готовы? Ну, слушайте! (Театрально.) Я — Сергей Никитин!

Н о н н а (тихо) : О, Господи!

В и т я (нервно смеется) : Ах, какой пассаж!

Занавес.

Седьмая картина

Через неделю. Рабочий день окончен, коридор пуст. Только Слава и Никитин сидят в креслах, разглядывая нотные тетради. Никитин придет, при галстукe, выбрит.

Н и к и т и н : А это как понять? Темновато что-то.

С л а в а : Да ведь симфония — произведение многоголосое. А в партитуре расписано для каждого голоса отдельно. Неужто не помните?

Н и к и т и н : Как же, как же, припоминаю помаленьку. Знаешь, сынок, память-то с годами притупляется, особенно при моей трудной биографии. А ведь орел я был когда-то, орел! Сам видишь, до каких вершин долетал. Да крылья мне подрезали смолоду. А теперь уж я не тот, теперь только доживаю.

С л а в а : Как же вы все эти годы даже не поинтересовались — может, сохранилось что-то?

Входит Витя, прислушивается.

Н и к и т и н (воодушевляясь) : Да разве мне могло в голову прийти, что не все уничтожено? Я думал, враги мои и завистники саму память обо мне с лица земли стерли, чтоб и следа от Сергея Никитина не осталось. Я как по радио услышал — не поверил сперва! Это ведь просто случай: затерялись листочки в неразберихе, вот и сохранились обрывки. Да и ты молодец, сынок! Ведь не только нашел, а прочел, понял, в одну нитку связал. Это не каждый бы сумел! Для этого тоже талант нужен.

В и т я : И какой талант!

Н и к и т и н (вздрагивает) : А, это вы! И чего вам дома не сидится? Ведь вы не работник издательства, вы — частное лицо, а бегае-те сюда, как на работу!

В и т я : Да знаете, ведь не часто великого покойника приходится во плоти и в добром здравии встречать. Вот и бегаю: опять и опять увидеть хочется; прикоснуться к тому, что от нас, посредственностей, за семью печатями скрыто!

Слава фыркает.

Н и к и т и н (встревожен) : Вы на что намекаете?

В и т я : Я не намекаю — я прямо говорю. Да я, собственно, не к вам, — мне Славик нужен. Вы не отпустите его на минутку?

Н и к и т и н : Иди, иди, сынок: при нем я, все равно, сосредоточиться не могу. А я тут в тишине и спокойствии пока свои творения просмотрю. (Воодушевляясь.) Ведь какая встреча, какая встреча! Через сорок лет! Не чаял, не гадал! (Углубляется в листки.)

В и т я (отводя Славу) : Ну и паяц! Не надоело с ним возиться?

С л а в а : Как сказать. Не привык еще.

В и т я : Да, брат, этого ты не предусмотрел! Он тебе свою версию уже полностью изложил?

С л а в а : По кусочкам. Основная линия — происки врагов и завистников, которые не могли примириться с его талантом. Ну и сгубили, благо в те годы это было нетрудно.

В и т я : Что ж, тема житейски понята им точно. А я тут кое-что о нем выяснил. Пришлось пустить в ход все свои связи. На Колыме он, действительно, был, — не семнадцать лет, правда, а всего семь: мелкая растрата на должности директора клуба "Дукат". Посещал кружок самодеятельных композиторов, особых талантов не проявлял. Вдов. Пьет, конечно. И все, вроде. Ты что решил: будешь разоблачать или пусть живет?

С л а в а : Пожалуй, я его сохраню.

В и т я : А не опасно? Мужичонка он вздорный, сразу видать. Так что скоро сам поверит в свою гениальность и нарубит дров!

С л а в а : Зато теперь Никитин сможет не только выдавать на-гора свое наследство, но и новые произведения создавать. Что ценно для композитора. Имя у него уже есть, так что ему многое будет дозволено, хоть он и жив.

В и т я : При его-то убожестве?

С л а в а : Его убожество — это моя главная гарантия. Ведь он-то не хуже нас помнит, что он самозванец. И что без меня — он нуль без палочки.

В и т я : Пока.

С л а в а : То есть?

В и т я : А пока не зазнался настолько, чтоб все им написанное, — даже то, что он напишет сам, — считать гениальным. А тогда ты ему ни к чему.

С л а в а : Ладно... Это еще не завтра будет...

В и т я (почти просительно) : Славка, брось ты это дело, пока не поздно! Оставь! Ведь самолюбие твое удовлетворено сверх всякой меры: ты при жизни получил посмертное признание, — памятник себе воздвиг, так сказать... Чего тебе еще надо?

С л а в а : Мне много надо.

Быстро входит Василий — в руках у него бутылка.

В а с и л и й : С праздником, братва! Выпьем!

В и т я : Что за праздник сегодня? Не припоминаю что-то.

В а с и л и й : А чего припоминать? Сегодня мой праздник — права мне прокололи. За десять лет первый раз! Нарушил я, это точно, но старушку не сбивал. А ведь тридцать лет уже за рулем! И ни одной старушки не сбил! А ведь мог, — сто раз мог или тысячу. Вот за это и надо выпить!

С л а в а : Мы, Василий Степаныч, как-нибудь в другой раз за это выпьем, а сейчас мы работаем. Так что, идите, не мешайте.

В и т я : Ишь ты, и отказывать научился!

В а с и л и й (идет к кухне) : Я думал — он мне друг, а он камень за пазухой держит! А еще к дочке ходит. К дочке ходит, а отца не уважает. Думает, если я нарушил, так уже и не человек... (Замечает Никитина.) А ты кто такой? Я тебя уже здесь видел!

Н и к и т и н (гордо) : Я — Сергей Никитин!

В а с и л и й (ему это ни о чем не говорит) : Вот и познакомились! Ты — Сергей, я — Василий, теперь можно выпить. Или ты тоже брезгуешь?

Н и к и т и н : Отчего ж, раз человек просит... Я всегда готов пойти навстречу, если ко мне с уважением... (Поднимается.)

В а с и л и й : Я и говорю: уважение — это все! Значит, выпьем? За мой прокол! Как пить будем — из горла или стаканы возьмем? Ты, я вижу, при галстукe, тебе из стаканов сподручней.

Ведет Никитина к себе.

В а с и л и й : Идем ко мне, у меня кильки банка припасена.

Скрываются в комнате.

С л а в а : Кажется, мой воскресший двойник нашел себе достойную компанию.

В и т я : Нет, не понимаю я тебя. Ну, сыграл злую шутку, отомстил за обиду, — и хватит! Но связаться с этим ублюдком! С этой мразью!

С л а в а : Брось, Витька, ты же человек художественный, ты должен понимать, что именно мерзость этого самозванца придает моему фарсу недостающую остроту! Ух, как я их всех вывалял в грязи!

В и т я : Жесток ты стал, брат. До неузнаваемости.

С л а в а (усмехается) : Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат...

В и т я : Ну, вижу, ты безнадежен. Что ж, гибни, если тебе так хочется.

С л а в а : Но ты не станешь отрицать, что это — гибель с музкой?

В и т я : А чего, собственно, мы тут стоим? Пошли отсюда, — все равно, твой питомец на сегодня выбыл из игры.

С л а в а : Ты иди, а я Нину дождусь. Она вот-вот должна прийти.

В и т я : Тогда я тем более сметаюсь, ибо Нина твоя меня терпеть не может. А я человек нежный, не люблю, когда меня не ценят.

С л а в а : Иди, брат, иди. Ты сделал для меня все, что мог. И совесть твоя должна быть чиста.

В и т я (уходя) : Ну и жесток ты стал!

В коридоре появляется Очкарик, он тихо подходит к Славе.

О ч к а р и к (как старому знакомому) : Тяжело?

С л а в а : Не сладко.

О ч к а р и к : Раньше легче было?

С л а в а : Как сказать. Не то, чтобы легче, — чище как-то жилось. И люди не такими мерзкими казались.

О ч к а р и к : А все потому что суета. И суета сует. Ни к чему она тебе, сын мой. Она замутняет душу и притупляет слух.

Медленно идет к лестнице, навстречу ему Нина.

Н и н а (глядя вслед Очкарику) : Что он опять тебе внушал?

С л а в а : Он утверждал, что служение Муз не терпит суеты.

Н и н а : Если ты собираешься разговаривать со мной, как твой Витя с Нонной, то лучше б ты меня не ждал, а шел домой.

С л а в а : Я, может, и ушел бы, да там папочка твой с моим сыночком веселятся. Я и подумал, что тебе будет приятно, если я тебя дождусь.

Н и н а : С каким это сыночком?

С л а в а : А с Сережей, с Никитиным, — ты о таком разве не слыхала?

Н и н а (рывком распахивает свою дверь) : Ты что, в комнате пьянку устроить решил! Этого еще мне недоставало! Мать по две смены вкалывает, а ты все пропиваешь, да еще всякую шваль в дом приводишь! Вон отсюда! Вон!

С л а в а : Нин, оставь ты их, пусть — у них праздник. Пошли куда-нибудь.

Н и н а (в ярости) : Никуда я не пойду! Скоро мать с работы придет, не могу же я ее с этими... с этими бросить! (Рыдает.) Будет когда-нибудь этому конец или не будет?

С л а в а : Не будет конца. (Утирает ей глаза.) Так что напрасно ты тратишь драгоценную влагу.

Н и н а : Господи, какой ты стал жестокий!

С л а в а : Зато я стал знаменитый — ведь этого ты, кажется, хотела? А жестокость обязательная спутница знаменитости.

Н и н а (кричит в дверь) : Вы что, не слышите? Убирайтесь сейчас же!

Вбегает в комнату, через миг оттуда вылетают стаканы, за ними с бутылкой выбегают Василий и Никитин.

Н и н а : Слава, иди сюда, помоги мне убрать эту пакость!

Слава входит и закрывает дверь.

В а с и л и й : И чего кричит? Если б мы нарушали или старушку какую сбили... А мы ничего...

Садятся в кресла.

Н и к и т и н : Ты орла видал? Так это я — орел и есть!

В а с и л и й (стучает по столу) : Орлы умирают орлами!

Н и к и т и н : Нет, ты скажи — ты орла видал?

В а с и л и й : А чего видеть-то? Я сам орел!

Н и к и т и н : Не, это я — орел. У меня случай один случился, вот и дали мне семь лет. Семь лет — это тебе не музыку сочинять!

В а с и л и й : А что семь лет? У меня десять лет — ни одного прокола! (Достает права.) А теперь — вот! Дыра! Как я теперь жить стану?

Н и к и т и н : Вот я ему покажу теперь, начальничку! Ведь я орел был, и он думал в землю меня вогнать. А я теперь знаменитый стану, я его сам вгоню!

В а с и л и й : Ведь мне теперь никакого уважения, раз прокол у меня...

Н и к и т и н : Он думал, Никитин — никто. Так, мелочь пузатая, пенсионер. А я — великий композитор, может быть! Я его теперь в порошок! Раз он меня в землю вогнать хотел! Орла!

По коридору идет Павловна с распущенными седыми волосами, в вечернем платье. Отпирает одну из редакционных комнат, через минуту оттуда доносятся звуки рояля и пение.

П а в л о в н а : Уймьтесь, волнения страсти, усни, безнадежное сердце! Я плачу! Я страдаю! Душа истомилась в разлуке!

В а с и л и й : Во поет! Старушка! А почему поет? Потому что я ее ни разу не сбил! А ведь мог! Сто раз мог или даже тысячу... Сбил бы, она б не пела.

Н и к и т и н : Слышишь, поет? А кто музыку сочинил? Музыку сочинил композитор Сергей Никитин!

Занавес.

Восьмая картина

Прошло еще полгода. Вечереет. Коридор пуст. На кухне Мария и Лиза.

М а р и я : А ничего я готовить не буду — они сегодня на банкет идут. В ресторан. По случаю окончания конкурса.

Л и з а : И Нина тоже?

М а р и я : А как же — она специально к этому банкету платье длинное сшила.

Л и з а : А свадьбу когда сыграем? Не пора ли?

М а р и я (ее этот вопрос задевает): Это дело не мое, пускай сами решают.

Л и з а : Нет, ты как мать вопрос должна поставить. Это что ж такое? Ходит парень к девке больше года, а все без толку. Ведь после такого на ней никто другой и не женится.

М а р и я : А зачем нам другой? Нам другой не нужен. Он нам

вполне подходит: человек солидный, с положением, непьющий, с самыми известными людьми знакомство водит.

Л и з а : Он-то вам подходит, а вот вы ему! Может, он потому с женьбой тянет — ровню себе ищет!

М а р и я (устало) : Опять ты за свое... И чего злобствуешь? Что-то давно я усача твоего не вижу, или бросил?

Л и з а : В отпуск он уехал. Потому и не приходит. А вы уже сразу — бросил! Такими, как я, не бросаются!

М а р и я : С женой ведь и с детьми уехал? То-то ты бесишься! Эх, Лиза, не дело это — ворованное добро никогда впрок не идет!

Л и з а (вдруг с тоской) : А если своего нет, куда деваться? Уж лучше ворованное, чем ничего. Вон ты: день-деньской трудишься, всю семью на себе тянешь, а что хорошее видишь? Рожу эту пьяную? (Уходит.)

М а р и я : Что кому на роду написано. Хоть пьяная, да своя...

В коридор выходит Нина в открытом макси-платье.

Н и н а : Ну мать, как я тебе? (Поворачивается.)

М а р и я (мрачно) : Хороша, дальше некуда.

Н и н а : Ты чего? А-а, небось опять эта язва про свадьбу напела! Ох, надоела она мне!

М а р и я : А он не надоел? Вырядилась, как в кино! А зачем? В ресторан идти, позориться: ни девка, ни мужняя жена!

Н и н а : Ой, мать, мы ведь договаривались: эту тему забыть пока!

М а р и я : Тебе хорошо — забыть! А мать ночей не спит...

Слышен грохот лифта и шум голосов.

М а р и я : Вот, идут!

Уходит. Из лифта выходят: Нонна, Вагнеры, Никитин.

О н (целует Нине руку) : О, Нина, вы ли это? Ведь от такого зрелища я могу умереть скоропостижно!

Подходит Она, Он быстро меняет тему.

О н : А Славик ваш тащится по лестнице пешком, его мы в

лифт не взяли. Премия нам уже присуждена, вот мы и решили его выкинуть!

О н а (протягивая бутылку шампанского) : Нина, можно положить шампанское в холодильник? Мы разопьем его сейчас, не дожидаясь банкета, — за нашу победу!

Входят Слава, Витя и Хормейстер.

Х о р м е й с т е р (протягивая Нине еще бутылку) : И за мою!

Нина уносит шампанское.

Х о р м е й с т е р : А классный у меня хор, правда? Как спели, как спели! (Никитину.) Ничего не скажешь: полифония у вас гибкая, выразительная, она дает возможность исполнителю проявить себя, — но не каждый способен эту возможность разглядеть. Далеко не каждый!

Н и к и т и н : Конечно, моя музыка требует этой ...виртуозности. И мастерства. А оно есть не у всех. Ведь искусство невозможно без... этого... без ремесла...

В и т я (тихо Славе) : Ого, поднатаскался! Слова выучил!

Н о н н а : Хватит, хватит об искусстве! А то я всю жизнь только и слышу: иськьюсьтво! мастерство! Идемте ко мне, посидим тихо и поговорим о чем-нибудь земном, далеком от иськьюсьтва! (Заходит к себе, остальные за ней.)

Н и н а (выходя из комнаты) : Слава!

Слава задерживается в коридоре.

Н и н а : Что же ты мне ничего не говоришь о моем платье?

С л а в а (опускается в кресло) : А это новое?

Н и н а : Ну, знаешь! Ты что, теперь смотришь только сквозь меня? А куда — интересно?

С л а в а : Я устал! Все эти чествования, аплодисменты, интриги вокруг премий... У меня голова кругом идет!

Нина садится на ручку кресла и гладит его по голове.

Н и н а : Глупенький ты мой!

С л а в а : Нина, я хотел бы с тобой поговорить.

Н и н а : Ну, поговори.

С л а в а : То, что я тебе скажу... Или нет, я тебе ничего не скажу!

Н и н а : Значит, мы уже поговорили?

С л а в а : Понимаешь, я знаю: тут все тебя допекают, — почему мы до сих пор не поженились.

Н и н а : Ах, ты об этом? Ерунда это — я их не слушаю!

С л а в а : И напрасно. Вопрос этот вполне законный, нам и впрямь давно пора бы... (Буднично, полувопросительно.) Я тебя, кажется, люблю, ...ты меня, вроде, тоже...

Н и н а : Ты что, делаешь мне предложение?

С л а в а : Не совсем. Но предупреждаю тебя: я могу сделать тебе предложение сегодня вечером, после банкета. А ты сможешь отказать мне, если захочешь.

Н и н а : Отказать тебе я могу и без разрешения, но не надеюсь — я этого не сделаю. Так что лучше отложи...

С л а в а : Кто знает, кто знает... Бывают разные неожиданности.

Н и н а : Ой, Слава, зачем ты меня пугаешь? К чему готовишь?

С л а в а : Я набиваю тебе цену, ибо за пуганного двух непуганых дают.

В коридор выходит Никитин.

Н и к и т и н : Славик, сынок, куда же ты скрылся? Они там про мой квартет заспорили, а я без тебя никак им разъяснения дать не могу. Я ведь, сам знаешь, человек простой, темный, — самородок, так сказать. По-ихнему, по-ученому объясняться только ты за меня можешь. Одно дело — сочинить! Тут у меня — талант, озарение, так сказать, а вот на слова всю эту глыбу переложить не берусь!

С л а в а : Боюсь, Сергей Михайлович, я весь свой сегодняшний запас слов уже израсходовал. Так что останется ваш квартет неразъясненным.

Н и к и т и н : Ну ничего, завтра объяснишь!

С л а в а : А до завтра дожить нужно.

Н и к и т и н : А я, сынок, обиду к тебе имею. Я тебе песни новые принес, а ты их из сборника выкинул? Как же ты так со стариком? Мало меня, что ли, жизнь была?

С л а в а : Это Нонна сказала? А она не объяснила, почему?

Н и к и т и н : Нет. Сказала, Слава сам объяснит.

С л а в а : А мне что-то объяснять неохота. (Жестко.) Сами понимать должны.

Н и к и т и н : Чего понимать-то? Не нравятся тебе мои песни, что ли? Ну, может, я по старости, что не так написал. (Протягивает листки.) Так ты подправь. На то ты главный консультант по творчеству Сергея Никитина!

С л а в а : Я — консультант, а вот вы кто, папаша?

Н и к и т и н (нагледя от испуга) : Это ты с кем? Со мной так разговариваешь? Ах ты, щенок! Забыл, кто тебя человеком сделал?

С л а в а : А вас кто сделал?

Н и к и т и н (теряя голову) : Да ты!.. Да я!.. Ты кто такой? Сделал меня! Ишь ты! Кто сделал! Я — Сергей Никитин! Ко мне, только я свистну, — десятки таких, как ты, прибегут и в ножки поклонятся, чтоб я позволил им мои произведения обрабатывать!

Н и н а (примирительно) : Успокойтесь, Сергей Михайлович! Слава устал, вы завтра с ним поговорите.

Н и к и т и н : Нет уж! Я больше говорить с ним не стану! Кто меня сделал? Ишь! Он после таких слов на брюхе ко мне приползет, сапоги мои лизать станет...

С л а в а : Тише, тише, старичок! Ведь сорвешься с высоты — ох, больно падать будет!

Никитин застывает в страхе.

Н и н а : Слава, что с тобой? Ты болен?

Выбегает Он:

О н : Ниночка, королева, давайте сюда шампанское! Настал час его распить!

Н и н а : Да, да, я сейчас. (Тянет Славу за собой.) Идем, Славик, к нам, — полежишь пока, отдохнешь немного...

С л а в а (вырывает руку) : Нет, нет, детка, неси сюда шампанское: пора! Мой час пробил! И это надо sprysнуть!

О н (бежит за Ниной) : А бокалы у вас найдутся?

Они выносят шампанское и бокалы и ставят на столик перед креслами.

Он (хлопает в ладоши): Все сюда, все сюда! Я открываю шампанское!

Выходят: Нонна, Она, Витя и Хормейстер. Он разливает шампанское.

Он: За победителей!

Нонна: Нет, нет, первый бокал мы должны выпить за Сергея Михайловича!

Витя: А по-моему, первый бокал надо выпить за Славу, ибо без него не было бы ни победителей, ни Сергея Михайловича!

Слава: Не надо за меня пить. Я прошу позволить мне сказать тост.

Она (хлопая в ладоши): Тост! Тост!

Слава: Дорогие друзья! Я скажу вам ту речь, которую я подготовил для банкета! Это, так сказать, черновик официальной речи. Поскольку мы связаны длительной дружбой, я хочу разделить с вами свое торжество. И не хочу захватить вас врасплох. Вы заслужили за время нашего знакомства, чтобы я заранее предупредил вас. Слушайте, слушайте, слушайте!

Нонна: Я чувствую, Славик приготовил нам какой-то новый сюрприз!

Витя (заподозрив неладное): Стой, стой, что ты хочешь...

Слава (перебивает): Я хочу сделать вам, друзья мои, сенсационное сообщение! Сергей Михайлович, будьте внимательны — вас это касается в первую очередь!

Она: Ах, как интересно!

Витя (предостерегающе): Славка! (Нине тихо.) Нина, оставьте его!

Слава: Итак, настало время для выяснения истины!

Витя: Нина, что ты стоишь? Заткни ему рот!

Слава: Друзья мои! Дело в том, что композитора Сергея Никитина никогда не существовало! Его выдумал ваш покорный слуга! Так выпьем за Сергея Никитина!

Он (хохочет и пьет): Ну и шутник, ну и шутник ты, старик!

Нонна (отставляя бокал): Фи, Слава! Совсем неостроумно!

Никитин: Я не позволю! Я буду жаловаться!

Слава (хохочет): Жаловаться! В клуб "Дукат", что ли?

Никитин: А что клуб "Дукат"? Клуб "Дукат"! Это были происки врагов и завистников! Которым мешал мой талант. Он был им, как бревно в глазу!

С л а в а : Талант! (Швыряет листки с песнями, они разлетаются по коридору.) Вот он ваш талант! Убожество!

Н о н н а (чувствует, что это не шутка) : Слава, да прекратите же! Такой день испортить глупой склокой из-за пустяка! (Собирает листки.)

В и т я (в надежде исправить) : Действительно, Славка, неужели ты из-за этих песен так расстроился? Ведь никто и не настаивает на их включении в сборник. Ты — составитель, тебе и решать. А это к черту! (Берет у Нонны листки и рвет их.)

Н и к и т и н : Это как же так? Кто позволил? Я буду жаловаться!

О н а : Сумасшедший дом какой-то!

Х о р м е й с т е р : Вы просто недопили, друзья! Вам еще выпить надо!

Н и к и т и н (уже в истерике) : Я до самых верхов дойду!

В и т я (тихо Никитину) : Замолчи, старый дурак! Пользы своей не понимаешь?

Никитин осекается.

С л а в а : Нет, братцы-кролики, дело не в песнях. Я, наверно, неясно высказался и вы меня не поняли. Я могу повторить: Сергея Никитина сочинил я! Я сочинил его со всеми потрохами, со всеми его прославленными сонатами, квартетами, с его скрипичным концертом и неоконченной симфонией. Кажется, ясно?

Х о р м е й с т е р : А кантата?

С л а в а (усмехаясь) : Должен вас огорчить — и кантата тоже.

Х о р м е й с т е р (растерянно) : Но ведь это, действительно, замечательная кантата! Эта идея непрерывного движения...

О н (перебивает) : И с этой шуткой ты собираешься выступить на банкете?

С л а в а : Я же предупредил.

О н : Перед иностранцами? И перед официальными лицами?

О н а (с надрывом) : Нет, нет, надо остановить его! Вагнер, сделай что-нибудь. Милицию вызови, или я не знаю, что!

Н о н н а (трезво) : Да кто поверит вам? Чем вы подтвердите свои слова?

С л а в а : Я об этом позаботился, мадам. Каждый желающий может обратиться на улицу Герцена, в архив Московской государственной консерватории имени Чайковского. Там вы можете оз-

накомиться с неповторимым скрипичным концертом, изложенным в дипломной работе Владислава Донского. Этот юноша подавал когда-то большие надежды, но — увы! — не оправдал их, как вам всем известно. Из него не вышло композитора, он оставил после себя только некоторое количество курсовых работ, в которых можно найти многое, что легло потом в основу сонат и квартетов, потрясших за последние годы музыкальный мир.

Хормейстер: А кантата?

С л а в а : О-о, с кантатой совсем просто. Немного музыкального образования... (Нонне.) Надеюсь, вы еще помните гармонию, богиня? — и вы легко сможете убедиться, что вышеупомянутая кантата есть не что иное, как вольная перефразировка цикла романсов того же злополучного автора, отвергнутых год с лишним назад по непреложному решению худсовета! Если не ошибаюсь, многие из присутствующих принимали в этом худсовете непосредственное и даже активное участие!

Н о н н а : Это уже слишком! Да как вы решились на это?

С л а в а : Тщеславие! Тщеславие и гордыня, мадам, — и более ничего!

В и т я : Господи, хоть не паясничай!

Н о н н а : Значит, это не глупая шутка? Вы настаиваете на том, что это правда? И намерены объявить об этом во всеуслышание? Объявить о том, что вы ввели в заблуждение не только нас, — жалкую кучку доверчивых и наивных людей, полных доброжелательства... Искренне привязанных к вам!

Слава смеется.

Н о н н а : Что ж, смейтесь! Ведь вы не понимаете, на что себя обрекли.

С л а в а : Я не сомневаюсь, вы обеспечите мне достойное наказание! Рубите! (Наклоняет голову.)

О н а : Боже, сколько яда! Сколько злобы! А я-то думала...

Н о н н а : Вы дурак, Слава. Вы рассчитали неправильно. Вы вообразили, что вы нас осрамите, а посмертная слава останется при вас? Дудки!

В и т я : Фи, богиня, как грубо!

Н о н н а (Вите) : А вы помолчите. Ваша роль в этом деле еще не выяснена!

В и т я (бормочет) : Ну и тигрица!

Н о н н а : Так вот, гражданин Донской...

С л а в а : Ого! Вот это уважение!

Н о н н а : Не надейтесь отделаться так дешево! Вы ввели в заблуждение всю общественность, вы совершили подлог и понесете за это уголовную ответственность! Мы сумеем постоять за себя! Мы сохраним ваше инкогнито и в дальнейшем!

Н и к и т и н : А я?

О н а : Вы-то хоть молчали бы! Самозванец!

Н и к и т и н : Я же не знал! Я ему верил! А он обманул!

Н о н н а : Ископаемое какое-то! (Славе.) Так вот, мне кажется, я выразила свою мысль достаточно ясно и вы поняли меня. Вас ожидает только наказание и безвестность!

С л а в а : Уж куда ясней!

Н о н н а : Но у вас есть способ избежать заслуженной кары: вы должны напрочь забыть свою дурацкую шутку. Потому что для всех нас лучше считать это шуткой. И для вас тоже. И никаких речей на банкете, ясно?

О н : О, кладезь премудрости! Только женщина способна придумать такое!

О н а : Да, да, это, действительно, выход. Ну к чему вам болтать об этом, Славик?

Н и к и т и н (он совсем обалдел) : А я?

В и т я : Уж вы-то первый заинтересованы в том, чтобы все забыть.

Н и к и т и н : И все опять будет считаться моим — и концерт, и сонаты?

О н а : Ну конечно, конечно! Только держите язык за зубами!

Х о р м е й с т е р : А кантата?

В и т я : И кантата тоже. Только молчок!

Н и к и т и н : Как же так — молчок? Я — Сергей Никитин, а он оскорблять?

Слава хохочет.

О н а : Вагнер, уйми сейчас же этого дебила, а то он все испортил!

О н (Никитину) : Заткнись, ублюдок: ведь опять срок получишь!

Н и к и т и н (больше из самолюбия) : Ишь, еще грозятся! (Смолкает.)

В и т я : Что ж, Слава, по-моему, это — гениальное решение. Ты, можно сказать, получил свое: отомстил всем по высшему разряду, вырвался из безвестности, да еще самолюбие свое потешил. И будь доволен. Ведь они сами, своими руками, тебе мировую славу организовали. Чего ж тебе еще?

С л а в а (кивает на Никитина) : Мне или ему?

Н и к и т и н : Ну вот! Вот он как — не уважает! А я — Сергей Никитин! Про меня во всех газетах написано! (Вытаскивает из кармана газету.)

В и т я : Да что ты заладил: Сергей Никитин! Сергей Никитин! Нашел, чем хвастать! (Славе.) Что ж, с Никитиным можешь теперь покончить — похороним его...

Н и к и т и н : Как так — похороним? Я жаловаться буду!

В и т я : Да жалуйся, жалуйся, только умолкни! (Славе.) И начинай теперь писать под собственным именем. Надеюсь, теперь наш худсовет не будет с тобой так суров. Ко всеобщему удовольствию.

Н о н н а : Ну конечно, Слава, давайте по-хорошему: вы будете писать, мы будем издавать, они будут исполнять! Это ведь лучше, чем под суд идти — вы же человек одаренный, вам есть что сказать.

С л а в а : О, наконец меня признали!

Н о н н а : И о нас подумайте — в какое положение вы ставите всех нас? Что будет с моей диссертацией?

О н а : И с нашей премией?

Х о р м е й с т е р : И с кантатой?

Н о н н а : Вот видите! И не только мы пострадаем, — в какое положение вы ставите всю музыкальную общественность?

О н : Ведь ты сам знаешь, старик, сколько шума было из-за этого конкурса!

О н а : Ну, Славик, не тяните, не мучьте! Будьте паинькой — скажите, что вы согласны!

С л а в а : Как, по-вашему, я похож на паиньку?

Н о н н а : Я думаю так: мы пойдем вперед, а Витя и Нина тут уговорят его. Смотрите, Витя, вы должны с ним договориться, а то я подумую, что вы отмочили эту шуточку в соавторстве!

О н а : Мы так и уйдем, не приняв никаких мер? А если он не передумает, как же наша премия?

Слава хохочет.

О н а : И этот человек еще смеется! У-у, чудовище!

О н (подталкивая Ее к выходу) : Идем, идем, малышка. Без нас он решит вернуться.

Н и к и т и н : А я?

Н о н н а : А вы должны идти на банкет и помалкивать – вам при вашей глупости разговаривать противопоказано. (Берет его под руку.) Идемте, великий самозванец!

Х о р м е й с т е р : А как же кантата? Что с ней будет?

В и т я (выпроваживая его) : С кантатой все будет отлично, если вы не будете трепать лишнего.

Все уходят, кроме Славы, Вити и Нины.

В и т я : Ну, орел, сегодня ты превзошел самого себя!

С л а в а (растерянно) : Кажется, произвело впечатление?

В и т я : Еще бы не произвело! Но меня-то хоть ты мог предупредить заранее?

С л а в а : А ты что думал, эта игра навечно?

Н и н а (которая все это время молчала в оцепенении) : Значит, он знал? С самого начала знал? Ты знал, он знал, и только я... только мне... ты ничего... И я, как дура, как последняя дура!..

С л а в а : Ну вот, новый поворот! А я ведь доказал, что орлы умирают орлами! Кто же это оценит? Кто поздравит?

Н и н а (как от удара) : И ты так! Как и он! А я-то в тебя... я-то тебе... А ты скрыл! И еще теперь..., чтобы я поздравляла!

В и т я : Я вижу, я тут лишний. Ладно, вы тут утрясите свои личные дела, а я пока поброжу, обдумаю речь, с которой буду вынужден обратиться к своему другу-ниспровергателю...

Идет к лестнице.

С л а в а (ему вслед) : Ты что, уговаривать меня настроился? Пустое дело!

Н и н а : Я думала, ты мне все... как я тебе! А ты скрывал! Больше года скрывал! От меня!.. Каждый день... со мной... и скрывал! Ведь ни на секунду не забывал, ...но со мной – нет!

В и т я : Даю десять минут!

Скрывается.

С л а в а : Ну, не реви, не реви! У нас всего десять минут, слышала? Как ты думаешь, десяти минут хватит, чтобы сделать предложение и получить отказ? (Гладит ее по голове.)

Н и н а (отстраняется) : Каждый день приходил... а сам... мне ни слова! Говорил одно, а думал о своем!.. За что? Почему? Разве я не заслужила?

С л а в а : Дурак ты мой, ну при чем тут заслуги!

Н и н а : Они все поняли, что я ничего не знала! Сразу поняли! Особенно эта, ...Нонна твоя!

С л а в а (виновато) : Я думаю, им было не до тебя!

Н и н а (не слушая) : Действительно, кто я тебе? Кто я при тебе? А я-то дура, ему верила! А он ни слова! (Бьетса головой о ручку кресла.)

С л а в а : Слушай, хватит! Человек сделал тебе предложение! У него критическая минута, а ты вместо ответа льешь слезы! (Трясет ее за плечи.) Ты выйдешь за меня замуж или нет? Отвечай!

Н и н а : Замуж? А ты свои секреты будешь Витечке открывать? За Витечку и выходи! Я тут ни при чем!

С л а в а : Что ж... Это ты, пожалуй, правильно рассудила... Ведь теперь я опять стал никто... Ни блеска, ни положения, ни пригласительных на премьеры, ни элементарных житейских благ...

Н и н а : При чем тут блага? Главное благо — это доверие. Я уже никогда не смогу тебе верить. Все буду гадать: а что ты на этот раз скрываешь? И думать, что все вокруг твои тайны знают, Витечка, например.

С л а в а : Дался тебе этот Витечка!

Н и н а : Да, Витечка, друг неразлучный! Сколько раз он за этот год улыбался про себя: "Вот дура-то! Рассыпается перед ним, а он ее за нос водит". Нет уж, иди к своему Вите, он тебя утешит, он тебя поздравит! (Бежит к своей двери.) Иди на здоровье! Он будет тебе и братом, и сестрою!

С л а в а : Уходишь? Жалко. Ведь я люблю тебя.

Н и н а : Ты свою любовь доказал! (Хлопает дверью.)

Л и з а (выходит в халате) : А чего дверью стучать? Нельзя свои дела потише решать? Другие, может, отдохнуть хотят?

Уходит. Входит Витя, Слава наливает шампанское во все бокалы.

В и т я : Уладил личную жизнь?

С л а в а : Выпьем, добрая подружка... По-моему, есть за что...

Витя забирает у него бокал, ставит на стол.

В и т я : Слушай, времени в обрез, так что этим мы займемся после. А сейчас ты должен пообещать мне, что на банкете никаких речей произносить не будешь.

С л а в а : Э нет! Я уже пообещал своим дорогим друзьям противоположное. Не могу же я так подвести этих славных людей.

В и т я : Да не защищайся ты от меня! Ведь я не отговариваю тебя от твоих благородных, хоть и дурацких, намерений! Я прошу тебя только об отсрочке. Как говорит народная мудрость, — отложи до утра, которое мудренней...

С л а в а (перебивает) : Ну да, народная мудрость — семь раз отмерь?

В и т я : У тебя есть возражения против мудрости?

С л а в а : И еще как! Против мудрости, против здравого смысла и вообще против всего, что ты можешь мне сказать. Я сам себе это целый год говорил.

В и т я : Я не сомневался, что никто на свете не может навредить тебе больше, чем ты сам. А ведь мог бы жить спокойно, — писать и даже слушать написанное в исполнении симфонического оркестра Московской государственной филармонии! Как мечтал когда-то...

С л а в а (печально) : Выходит, не мог бы.

В и т я : Это почему?

С л а в а : Я уже не говорю, что они мне этого номера не простят. Как только актуальность разоблачения притупится, меня все равно съедят. Но не в том суть. Я целый год был Сергеем Никитиным, почтенным мертвецом! Никто не смел контролировать меня: я был мертв и недосягаем для живых! А что мне предстоит теперь? Писать для Нонны оратории, полные света, оптимизма, непосредственной радости жизни? Кто один раз отведал блаженства, уже не сможет объяснять, почему для частушек симфонический оркестр подходит больше, чем балалайки.

В и т я (задет) : Конечно, другие могут, а ты не сможешь!

С л а в а : Мне с моих загробных высот отчетливо виден твой путь к пропасти. Раз объяснишь и подправишь, другой раз объяснишь и подправишь, а там — глядь! — и сразу уже пишешь под-

правленное и объясненное! И своей рукой удостоверяешь: "исправленному верить!"

В и т я : По-твоему, выходит, моя душа уже перечеркнута, да?

С л а в а : Слушай, Витька, отложи обиды назавтра, а?

В и т я (до которого все полнее доходит смысл сказанного): Значит, ты там наверху, в эмпиреях, а мы тут, на земле, копошимся и улаживаем свои мелкие делишки? Спасибо, дорогой, спасибо! Утешил! На черта я только на твои-то делишки время трачу? Сам в них и копошись!

Быстро уходит. Слава рванулся было за ним.

С л а в а : Витька! (Останавливаясь.) Впрочем, к тому оно и шло... (Медленно пьет по очереди из всех бокалов.)

О ч к а р и к (бесшумно подходит с лестницы) : Ну, легче стало?

С л а в а : Сам не знаю. Спокойней, вроде, когда дело сделано... Только пусто на душе... Одиноко.

О ч к а р и к : Одиноко — это хорошо. А то за суетой, да за болтовней совсем не пишешь.

С л а в а : Нет, нехорошо одиноко. Тошно.

О ч к а р и к : Что, и она ушла?

С л а в а : И она.

О ч к а р и к : Значит, ты теперь совсем свободен, ни с чем не связан, никому не обязан. Только своей душе и музыке.

С л а в а : Но ведь я ее люблю!

О ч к а р и к : Сколько прекрасного может подсказать художнику неразделенная любовь!

Распахивается дверь, выбегает Нина. Очкарик отходит в глубину коридора.

Н и н а (бросается к Славе) : Ты не ушел! Не ушел!

С л а в а : Ты что?

Н и н а : Я задумала: если ты еще не ушел, значит, ты меня все-таки любишь!

С л а в а : По-моему, это твоя любовь подвергалась сомнению, а не моя.

Н и н а : После того, что я тебе тут наговорила! Не ушел! (Смеется.) Ладно, Сергей Никитин, пошли на твой банкет! Идем, по-

смеемся над ними! Чтобы они знали, как пальцем показывать. На меня и на тебя! Ты им все скажешь! А я посмотрю на их лица! Посмотрю, какими орлами они будут умирать! Скорей, а то опоздаем!

Бежит к лестнице, Слава за ней.

С л а в а : Куда же ты? Без пальто!

Уходят.

О ч к а р и к (глядя им вслед) : Боюсь, о неразделенной любви он пока не напишет. А девочку жаль... Что ж, я ее предупреждал...

Открывается дверь Павловны, она идет в вечернем платье с распущенными волосами, отпирает дверь — как всегда, играет и поет.

П а в л о в н а (поет) : Уймитесь, волнения страсти! Усни, безнадежное сердце! Я плачу! Я страдаю!

Занавес.

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Книготороварищество "Москва-Иерусалим" выпускает в свет:

Нина Воронель. Кассир вечности

В сборник вошли новые пьесы известного автора, воссоздающие быт и коллизии советской жизни, а также цикл статей "Листки из блокнота", рассказывающих о культуре и искусстве Израиля и Запада.
300 стр. 14 долл.

Нелли Гутина. Журнал

Оригинальный по замыслу и исполнению "журнал одного автора" включает прозу, драматургию, поэзию и публицистику, в которых показана жизнь и проблемы современного общества.
250 стр. 12 долл.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Доктор Ури Мильштейн

ОБ ИЗРАИЛЬСКИХ МИФАХ

(разъяснения для русскоязычных читателей в беседе с В. Радуцким)

...Поговорим о мифе и его месте и роли в развитии общества, в историографии, в литературе. Есть, на мой взгляд, две стороны, которые следует подчеркнуть в этом вопросе. Одна сторона состоит в признании того факта, что в самой природе человека заложен субъективный подход к описанию событий: человек стремится выразить свое понимание и ощущение, часто даже в ущерб точному и объективному описанию. Если же говорить об историке, то у него, кроме всего, есть, как правило, своя жизненная позиция, мировоззрение, свой взгляд на события, о которых он пишет. К этому добавляются и более прозаические вещи — политические интересы, ангажированность историографа.

Другая сторона состоит в том — и это крайне существенно, — что несмотря на субъективность, эти описания в общих чертах верны. Ведь само слово "миф" по-гречески означало "повествование", "рассказ". Очевидцы событий дают нам свой рассказ-пересказ — разумеется, руководствуясь собственной точкой зрения, собственными ощущениями и пониманием. Тем не менее зерно этого рассказа, этого "мифа" — истинно. Путем наложения этих мифов историк может приблизиться к достоверному

описанию прошлого. Абсолютно же “объективного описания”, по моему, вообще быть не может, ибо ни один историк, ни один человек не может узнать все о данном событии.

Но дело значительно усложняется, когда речь идет об истории войн. В истории дипломатии, в политической истории, когда предмет исследования — такая-то эпоха с такими-то экономическими и политическими проблемами, с определенным набором декретов, указов, постановлений, — историк в состоянии п р и б л и з и т ь с я к объективной истине. Что же касается моего рода занятий, истории войн, то тут большинство исследований, по моему убеждению, — ч и с т ы е “мифы”, то есть чисто субъективный пересказ.

История войн — существенная часть всеобщей истории, ибо война — это то занятие, которому человечество предается все века подряд. Древние римляне вообще утверждали, что суть жизни состоит в ведении войн. Увы, факт: человечество воюет. И проблемы войны занимают нас, в конечном счете, больше всех других проблем — хотя бы потому, что они затрагивают вопрос о нашей жизни и смерти. Но у войны есть вдобавок и другие важные аспекты: ее влияние на нашу экономику, на нашу психологию, наше отношение к самой войне, война и развитие культуры и т. д.

Изучая историографию войн, я пришел к выводу, что вся она или большая ее часть — это, по сути, миф, это пересказ событий, позволяющий историку изложить с в о й взгляд на происходившее. Ведь кто такой историк? Историк — писатель, который претендует на “научный подход” к анализу событий. Однако в действительности большинство историков — это просто неудавшиеся писатели. Человек, который не в состоянии написать “Войну и мир”, берется писать историю наполеоновских войн. С точки зрения исторической достоверности разница между “Войной и миром” и такими исследованиями не так уж велика. Быть может, Толстой даже более достоверен. Но если он и уступает в достоверности историку наполеоновских войн — это не суть важно. Куда важнее, что ни Толстой, ни историк в принципе не могут знать в с е . Мне же лично Толстой более интересен — просто потому, что он более талантлив.

Что же в таком случае должно составлять суть исторического описания? На мой взгляд, история должна быть как можно более точным описанием событий. Как известно, идеал недостижим, но к идеальному воплощению можно и должно стремиться. Идеаль-

ная точность, на мой взгляд, требует описания не только внешней цепи событий, но и их внутренних, побудительных мотивов, всех возможных целей и факторов, отдельных слагаемых и связи между ними. Иначе говоря, в идеале исследование исторических процессов должно стремиться к тому типу, который характерен для фундаментальных исследований природы, которые начинаются с как можно более всеобъемлющего описания фактов. (Опять-таки, абсолютно всеобъемлющее описание, конечно, недостижимо и здесь.)

События прошлого — это “материя” исторических исследований. И подобно тому, как физики изучают материю, рассматривая взаимодействие всех сил и всех возможных факторов, так и историк обязан включить в поле своих исследований соответствующие факторы изучаемой им эпохи. Разумеется, инструменты исследования у физика и историка различны, но цель должна быть единой: максимально возможная точность описания.

Уместен вопрос: почему эта цель по сей день остается нереализованной в области истории войн? По-моему, тому есть две причины. Первая состоит в “чувствительности” темы. С точки зрения “власть предержащих” раскрытие той подлинной роли, которую они сыграли в ходе описываемой историком войны, может серьезно повлиять на их способность удержаться у кормила. Диктаторы прошлого стойко оберегали свои интересы, не позволяя историкам вести подлинные научные исследования. Развитие общественных наук и закладка научных основ изучения истории — это одно из достижений демократического общества. Но даже и в демократическом обществе одна область истории — история войн — не дала пока серьезных результатов. (Я говорю здесь об общей тенденции, поскольку отдельные замечательные работы имеются, конечно, и в этой области.) Почему так происходит? Частично объяснение в том, что большинство стран в мире, как известно, не являются демократическими. Скажем, в России крайне трудно провести серьезные исторические исследования, а если отдельным историкам и удастся докопаться до некоторых фактов, то уж обнародовать их никак нельзя. Тема любого исторического исследования находится в полном, монопольном владении государственного режима. Русским читателям не нужны подробные разъяснения по этому поводу. Советская цензура может, пожалуй, еще позволить какую-нибудь публикацию, скажем, по проблемам семьи, но вот Солженицыну во время работы над кни-

гой "Август 14-го", как мне кажется, не удалось в полной мере добраться до русских архивов. Книга написана, о ней судить читателю, но историк — не писатель, ему для исследования той же темы нужно было, как говорится, "поднять архивы" — покопаться в документах, прочесть приказы Ставки, разыскать депеши и рапорты командиров армий и фронтов. А вот этой возможности правительства и армейские генералы не хотят историкую предоставить.

Вторая причина неполноты военно-исторических исследований состоит в том, что они затруднены даже в демократических странах. И это естественно. Если я, скажем, обращусь к Ариэлю Шарону с просьбой объяснить те соображения, которыми он руководствовался во время событий в Сабре и Шатиле, то почти уверен, что Шарон откажется со мной разговаривать, а если и согласится, то вряд ли скажет всю правду. С кем он станет говорить на такую тему? Прежде всего с теми, о ком он точно знает, как они изложат сказанное, — иными словами, когда заранее знает, каков будет результат такой беседы.

Выходит, что в вопросе об исследовании истории войн разница между демократическими и недемократическими правительствами не так уж велика. В этом вопросе все правительства "недемократичны". Подчеркну: правительство вполне может оставаться демократическим с точки зрения соблюдения норм демократического режима, но зачастую, когда дело касается военно-исторических исследований, демократии приходит конец. Цензура существует во всех демократических странах, в мире нет правительства, которое позволяет свободный доступ к секретным документам. В Америке этот доступ закрыт в течение двадцати пяти лет со времени событий, в Англии — тридцати лет, у нас в Израиле — пятидесяти, но даже и после этого периода правительства позволяют себе скрывать от исследователей ту часть документов, которая определена, как "весьма чувствительные". А когда удастся проверить, в чем же "чувствительность" этих документов, то зачастую оказывается, что речь идет отнюдь не о безопасности государства (хотя "компетентные чиновники" настаивают именно на этой причине), а в основном о репутации тех или иных личностей. Вдруг выясняется, что X нарушал законы, Y был гомосексуалистом, Z проворовался и так далее.

Итак, монополия на исторические исследования — универсальное явление, у него есть лишь свои оттенки в разных странах.

Скажем, в Англии или Америке подход более либерален. Однако и там имеются поразительные и поучительные примеры монополии. Лиддел Харт, один из крупнейших военных историков, дослужился в Англии до чина ... капитана, никогда не занимал никакой официальной должности и, пока был жив, подвергался систематическому поношению. Харт, автор фундаментальных исследований по истории первой и второй мировых войн, умер пятнадцать лет назад. Средства к существованию он добывал газетными публикациями, в кругах же университетской военно-исторической иерархии он был подвергнут подлинному ostracismu. Причина этого состояла в том, что генералы Хэйг (времен первой мировой войны) и Монтгомери (времен второй), которые подверглись критике в трудах Харта, сумели изолировать его в армейской и университетской системе. Правда, на склоне лет он удостоился всяческих почестей, но лишь потому, что его труды получили всеобщее признание за пределами Англии. Почти то же самое можно рассказать и о другом крупном английском военном историке — Фуллере.

Исследователь истории войн всегда соприкасается с весьма "чувствительным" материалом, и реакция правящей элиты на его исследования всегда обострена. Так было со дней царя Давида до наших дней: любое правительство самым brutальным образом предотвращало попытки историков приоткрыть завесу тайны и препятствовало любому подлинно независимому исследованию.

Как же все-таки появляются такие исследования? Тут, может быть, уместно сказать пару слов о себе, о том, как я встал на этот путь, о движущих мотивах моей работы.

Я, в определенном смысле, принадлежу к кругу, который в Израиле называют кругом "отцов-основателей". Рахель, наша национальная поэтесса, — родная тетка моей матери, родители мои прибыли в Эрец Исраэль с третьей алией, я не эмигрант, мне не надо доказывать свою глубинную связь с этой землей (я при этом отнюдь не утверждаю, будто каждый новопривывший должен предстать перед некой "приемной комиссией" и представить такое "доказательство").

Большинство людей руководствуется в своей жизни тем, что я называю "пользой", сообразуя свои слова и поступки с тем, что, по их мнению, является "полезным". Слово это открыто широкому толкованию; сюда может входить и бескорыстное удовле-

творение совершенным поступком. Но я говорю о том подходе, когда ощущение полезности безошибочно, а зачастую — интуитивно, диктуется здравым смыслом. Но есть немногочисленная группа людей — и я думаю, что принадлежу к ней, — которые видят главное удовольствие и смысл жизни в постижении истины. Причисляя себя к этой группе, я вовсе не говорю этим, будто я лучше других — быть может, я хуже, но себя я вижу именно среди представителей этой группы. Когда мне удастся докопаться до истины, обнаружить подлинную суть явлений, я испытываю колоссальное удовлетворение и во имя этого ощущения готов пожертвовать почти всем, что у меня есть в жизни, кроме самой жизни.

Как исследуют правду? В устройстве мира заложены две основы — духовная и материальная. Поэтому после армии я изучал философию — вершину духовности, как я тогда считал, — и экономику, этот второй слагающий элемент действительности. Если говорить о формальных результатах моей учебы, то я получил первую степень по экономике, вторую — по философии, а затем и третью, докторскую степень — по истории.

Огромное влияние на меня оказал Сократ — его личность, жизненный путь и учение. Он и сегодня остается для меня образцом, по которому я выверяю свои поступки. Философская школа Сократа положила в основание своей деятельности два тезиса, две подписи, выбитые на Дельфийском храме: “Все в меру” и “Познай самого себя”. Одна утверждает: чтобы познать мир, следует сначала проникнуть вглубь себя. У этого принципа есть множество практических приложений. Отдавать себе отчет во всем, не пребывать во власти иллюзий — таково одно из них. И если от психологии перейти к занятиям историей, где наша задача — исследование израильского общества, то уместен вопрос: “Каково основное занятие нашего общества?” Ответ, увы, прост: более всего наше общество занято войнами. Разумеется, мы не только воюем, но почти все, что волновало израильское общество в духовном и практическом плане все эти десятилетия, находилось под сильнейшим влиянием наших военных усилий. Чтобы приступить к познанию израильского общества, нужно признать непреложный факт: сегодня мы — воюющее общество, мы продукт тех исторических обстоятельств, которые в течение последних ста лет вынуждали нас непрерывно воевать. Познать наше общество невозможно без обращения к его прошлому. Поэтому в своих исследованиях я не раз обращался к этому прошлому,

и для меня занятия военной историей — это реализация дельфийского призыва: “Познай самого себя”.

Другая же дельфийская надпись — “Все в меру” — призывает избегать крайностей в этих исследованиях, видеть все аспекты изучаемого вопроса. Однако принцип “Все в меру” не распространяется на поиски истины, эти поиски не знают заранее установленных границ. Единственная граница здесь — реальность, ее правдивое, максимально полное описание. Это обстоятельство остается, увы, непонятым для большинства людей. Они полагают, что есть вещи, которые “не следует говорить”. Я же убежден, что нет таких фактов, обстоятельств, событий, которые нельзя обнародовать. Это не значит, что я считаю, будто “после меня хоть потоп”, то есть я скажу вам свою “правду”, а там хоть трава не расти, даже если эта правда заставит людей покинуть страну: долой страну, даешь правду! Это совсем не так! Я — реалист, я хочу, чтобы моя страна существовала, процветала, была сильной, но, по моему убеждению, правда как раз и служит укреплению страны. Конечно, правду не всегда легко переварить. Поясню примером. Во время Войны за Независимость, стоившей нам колоссальных жертв, были допущены просчеты, ошибки, серьезные провалы, а иногда — и воинские преступления. И с той же поры у нас бытуют мифы о героизме, о “блестящих” командирах, об “умелых” операциях. Нисколько не ставя под сомнение подлинный героизм, самоотверженность и мужество еврейских бойцов и командиров (хочу это особо подчеркнуть), я в то же время не приемлю этих мифов.

Кое-кто считает, что не следует развенчивать эти мифы, пока живы вдовы и сироты тех героев, которые пали в таких неудачных операциях. И поскольку тут ставится под сомнение польза такого развенчания, нужно сказать об этом несколько слов. Я полагаю, что наше продвижение вперед попросту требует, чтобы осведомленность не подменялась мифами, предвзятыми мнениями или вообще ложью. Это положение, с которым многие, вероятно, согласятся, для других, однако, неприемлемо. Люди религиозные, например, предпочитают тезис: “Сокрытое от глаз твоих — не исследуй”. Для них правда дана уже в Синайском откровении. Не вступая в теологические споры, замечу, что я предпочитаю правду, добытую в результате размышлений и исследований...

Но главное состоит в том, что правда — в частности, в области военно-исторических исследований — несет с собой о с о б у ю

пользу. Истина в данном случае предпочтительна не только сама по себе — она еще дает возможность исправить ошибки, действовать с большей эффективностью, что, в конечном счете, сохраняет людские жизни. Если же миф не развенчан только потому, что это, де, принесет боль сиротам и вдовам, то он обернется в будущем лишь новыми сиротами и вдовами. К тому же замечу, что как раз эти сироты и вдовы, как правило, знают правду и для них нет мифов. Я провел немало часов в беседах с ними и убедился, что большинство из них — не все, но большинство — начинают свой путь с поиска правды, выясняя подлинные обстоятельства гибели своих близких. Мифы — не их удел, хотя я могу по-человечески понять тех, кто во имя любви к павшим оберегают такие мифы: ведь в мифе есть большая психологически положительная сторона.

На мой взгляд, в сокрытии правды заинтересованы не “вдовы и сироты”, а те, кто, достигнув высоких чинов и постов, опасаются, что подлинная правда может представить их в невыгодном свете. Конечно, таким “героям” трудно расстаться с мифом. Вот один из примеров.

Готовя свою многотомную “Историю Войны за Независимость”, я исследовал, в частности, операцию Неби-Даниэль (27–28 марта 1948 года). В ходе операции бронированная колонна, вышедшая из Гуш-Эцион в Иерусалим, застряла южнее Бейт-Лехема. И тогда командир колонны Цви Замир... покинул свое подразделение. Он бежал с поля боя и вернулся в Гуш-Эцион. Колонна оставалась в трудном положении в течение тридцати часов — без командира. Увы, Замир не был наказан — впоследствии он стал комбатом, комбригом, командующим военным округом и даже руководителем Мосада, а после ухода в отставку — генеральным директором крупнейшей гистадрутовской компании “Солель-Бонэ”. Сейчас он — директор израильских нефтеочистительных заводов, человек с большим общественным именем...

Как это произошло? Одним из важнейших инструментов этого процесса был “миф”. Случай Замира — не единственный. Амос Хорев, который в армии дослужился до генерал-лейтенанта, а затем занимал крупные общественные посты, — другой пример сомнительного “героя”. Его карьера в рядах Пальмаха ознаменовалась роковой ролью, которую Хорев сыграл в трагическом провале “Операции тридцати пяти”. Отряд из 35 бойцов, вышедший на помощь осажденному поселению Гуш-Эцион, получил от командира роты Хорева такой маршрут (по гористой местности, через

арабские деревни), идя которым не было никаких шансов достичь цели. В результате отряд в первую же ночь заблудился на местности и вынужден был вернуться в исходный пункт. Следовало, конечно, сменить уставшего командира отряда, и по всем правилам его должен был заменить либо командир роты, то есть сам Амос Хорев, либо комбат, которым был Цви Замир, — но они этого не сделали, и в результате отряд погиб. В апреле 1948 года, Хорев столь же неудачно командовал подразделением, атаковавшим важный стратегический пункт Цуба в окрестностях Иерусалима. Его несостоятельность, как боевого командира, была замечена — Хорев был переведен на штабную, а затем — на интендантскую работу и более не участвовал ни в одной серьезной операции. Тем не менее по завершении войны он был окружен мифом “героя” и, в конечном счете, дослужился до поста президента Хайфского Техниона, а затем — директора “Леуми ле-ашкаот”...

Поколение “отцов-основателей” пришло к власти и начало “дойти” созданное им государство: высокие зарплаты, приличные посты, бесконечные поездки за границу. Правда о их прошлом угрожает не вдовам и сиротам, а им самим, ибо обнажает их круговую поруку и разъясняет источник многих наших сегодняшних проблем, берущих начало из подгнившей морали. Ведь невозможно оспорить, что израильское общество переживает трудные времена. У нас много серьезных провалов. И вновь прибывшие люди невольно задают вопрос: как мы дошли до жизни такой? Ведь евреи — отнюдь не глупцы; во многих странах мира, да и в той же России, где еврею совсем не легко пробыть, они добивались успеха, становились крупными хозяйственниками, толковыми администраторами, руководителями огромного масштаба... И вдруг тут, у себя в государстве, они разучились руководить хозяйством, довели до кризиса систему высшего образования, допускают нелепые просчеты в политике — и прикрывают все это — или пытаются прикрыть — лицемерием и ложью, заметая сор под ковер. Я могу объяснить себе эту ситуацию только тем, что различного рода пустоцветы, так называемые “герои войны” получили в награду возможность “руководить” — причем неважно, чем руководить, можно университетом, а можно и больницей или заводом. А поскольку руководить они неспособны (даже если проявили в свое время такое умение в а р м и и), отсюда и результаты...

Вот почему я считаю, что поиски правды о прошлом — важное дело. Поэтому, несмотря на все препятствия, я продолжаю глав-

ный труд моей жизни — двенадцатитомную историю Войны за Независимость (шесть томов которой уже готовы). Делать такую работу в одиночку — поистине каторжный труд. Чтобы выяснить подробности одного боя, одной операции, порой приходится интервьюировать около сотни человек! (Некоторые историки не признают устных свидетельств; но я уверен, что такие свидетельства очевидцев дают возможность достоверно восстановить максимально полную картину операции, ее подготовку, течение, просчеты и ошибки.) В ходе этой работы я провел, в общей сложности, пять тысяч интервью! С Исраэлем Галили, чья роль в Войне за Независимость была столь заметной, я беседовал шестьдесят раз, с Игалем Алоном — пятнадцать, с Игаэлем Ядином — десять... “Кабинетные” историки, как правило, посылают на такие интервью своих ассистентов, которые знают материал куда хуже интервьюируемого, а потому не могут задать нужных вопросов; в результате, в большинстве книг, написанных об этой войне, не выявлена подлинная правда — в лучшем случае, в них выражена предвзятая концепция автора. Примером таких работ являются работы Меира Паила, в которых конкретное исследование подменяется общими рассуждениями о войне и спекулятивными обобщениями. Это, скорее, политика, а не история, тогда как нужна именно история и, прежде всего, правдивая. Приведу конкретный пример. Во время ливанской войны две сирийские танковые роты и батальон пехоты сумели на тридцать часов (!) задержать продвижение нашей дивизии под командованием генерала Эймана у поселка Эйн-Зхальта. Как это могло произойти? Чтобы выяснить, что случилось, нужно проанализировать ситуацию на каждом метре боя, в каждую его минуту. Но это не сделано и не будет сделано, пока не найдется такой историк, который соберет всех участников, получит их свидетельства и представит общую картину сражения.

Я много размышляю об этом. Я очень озабочен сложившейся ситуацией и часто задаю себе вопрос, который задают и другие — зачем нужно все это раскапывать? Ведь как бы то ни было, израильская армия всегда побеждала, это факт! Какие там просчеты, ошибки? Да и миф — разве он не пример для молодежи? Разве мифы не лежат в основании любой национальной традиции?

У меня есть ответ на это возражение. Речь идет не просто о мифе, а о мифе в военной истории, где разница между “мифом” и “правдой” равносильна, на мой взгляд, разнице между побе-

дой и поражением. И тут нужно вскрыть главный “миф” — о причинах наших побед. Я убежден, что *наши победы — результат того, что несмотря на наши многочисленные ошибки противник наш совершил их гораздо больше*. Мы просто-напросто меньше ошибались. Конечно, в любой войне ошибки неизбежны, и можно считать, что наша армия — хорошая армия, именно потому, что она делает меньше ошибок, чем ее противник. Но тогда я задам главный вопрос: какой ценой добыта победа? Западный мир вместе с русскими победили немцев и японцев, но ценой миллионов человеческих жизней. Англия в результате такой победы перестала быть великой державой. (Были, конечно, и другие причины, но людские потери оказались одной из самых существенных.) И я спрашиваю: можно ли уменьшить плату за ошибки, есть ли альтернатива “классическому” подходу к оценке результатов войны, вправду ли “победителей не судят”?!

Я уверен, что, действуя правильно, можно достичь победы, сведя ошибки и потери к минимуму. И тогда изменится весь подход к войне. Ведь в чем состоит расчет арабов? Они всякий раз надеются на то, что уж в следующей войне евреи, наконец, совершат р о к о в у ю ошибку и тогда Израилю придет конец. Если же показать нашим противникам, что мы от разу к разу делаем все меньше ошибок и платим за победу все меньшим количеством жизней, быть может, прекратятся и эти бесконечные арабские попытки заставить нас врасплох, прекратятся поиски “нового раунда” — ведь арабы народ сообразительный, хотя и отстающий?! Мы должны показать нашим противникам, что у них нет никакого шанса на успех. Любителям баскетбола не нужно объяснять, что у нашей команды “Маккаби” (которая побеждала сильнейшие команды Европы) нет никакого шанса выиграть у американских профессионалов — несравнимы уровни игры. Но как добиться такого “уровня непобедимости”? Я думаю, что один из путей к этому состоит в том, чтобы изменить наше отношение к мифам, учесть ошибки, сделать должные выводы, на практике добиться реализации тех талантов, которыми мы так богаты. Увы — в нашем обществе сложился и действует культ “сиюминутной пользы”, далекий от подлинно государственного мышления. Наше общество все больше начинает походить на филиал партии — неважно, какой. Я думаю, это происходит потому, что у нас, исторически, не партии были созданы в государстве, а государство было создано партией, по образу и подобию партий-

ного аппарата. А у партийного аппарата есть лишь одна-единственная цель — польза для партии. Во имя этой “высокой цели” все дозволено. И добро бы дело ограничивалось только самими партиями, так нет: и наша культурная жизнь — это партия, и научная деятельность — она же. А в результате интересы партии заставляют наших руководителей лгать и обманывать, и наше общество во все возрастающей степени становится обществом лжецов. Верно, все время обманывать невозможно, да у нас и не обманывают во всем, но в вопросах самых “чувствительных”, самых болезненных для общества накопилось, увы, немало лжи. В области же военной истории, в частности, наш истеблишмент создал унижительную зависимость интеллектуалов от тех, кто распределяет фонды и субсидии на исследования и публикации, и трудно приходится тем, кто стремится к научной независимости! Я мог бы привести немало примеров тому из собственной практики, но боюсь, что и так представил русскоязычному читателю слишком уж мрачную картину наших военно-исторических исследований и даже шире — нашего общества в целом. Уместен, скорее, вопрос: есть ли надежда на перемены? И если да, то в чем она, наша надежда?

Прежде всего — в молодежи. Я верю, что здоровые силы подрастающего поколения совершат необходимые перемены и нам не придется дожидаться очередной катастрофы, чтобы по-иному взглянуть на происходящее. Ведь и катастрофа не всегда помогает. Мы пережили катастрофу Войны Судного дня, она породила бурное движение протеста, комиссию Аграната, заставила уйти в отставку многих руководителей страны, — но были ли сделаны все надлежащие выводы? Если судить по урокам ливанской войны, ошибки повторяются. Один из главнейших таких уроков — все то же стойкое цепляние за мифы, боязнь правды, замалчивание истины!

К нашему счастью, арабы пока еще значительно отстают от нас. Их уровень не только не растет, но, напротив, даже снижается, и можно надеяться, что и в следующей войне они опять совершат больше ошибок, чем мы. Но можно вечно надеяться на ошибки противника? Ведь в век атомной технологии даже одна атомная бомба в руках сумасшедшего может привести к катастрофе...

Поэтому нам остается делать свое дело — и надеяться. Добавлю только одно. Я не хочу, чтобы у русскоязычного читателя, плохо знакомого с израильской действительностью, сложилось впечатле-

ние, будто мне и мне подобным историкам кто-то “затыкает рот”. В демократической стране это, разумеется, невозможно. Я много выступаю, регулярно публикую свои работы, часто появляюсь на телевидении (в программе Рома Эврона и многих других). Но я, понятно, тоскую по единомышленникам — и по серьезным оппонентам.

Как приглашение к такому серьезному спору, к совместному поиску истины я предлагаю читателю “22” главы из моих книг, посвященных двум эпизодам нашей военной истории, особенно окутанным мифами: Дир-Ясину и “Операции Кибия”. Журнал любезно согласился опубликовать эти главы вместе с данной вступительной статьей, разъясняющей мои позиции и методы исторического исследования. Остается надеяться, что мой голос не останется “гласом вопиющего в пустыне”...

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ДИР-ЯСИНЕ?

1. “Ты не уполномочен договариваться с ними...” В начале 1948 года в Иерусалиме царил напряженный обстановку. Британские войска готовились покинуть Палестину. Организация Объединенных Наций приняла план раздела страны, и было известно, что евреи решили провозгласить в своей части еврейское государство. Армии арабских стран намеревались ответить на это вторжением. Ишув стоял на пороге Войны за Независимость. Тем временем необъявленная война уже была в полном разгаре. Вооруженные арабские отряды блокировали Иерусалим, напали на еврейские поселения и угрожали захватом значительной части страны. Кровавые стычки, столкновения и бои шли почти на всей территории Палестины. Особенно сложное и тяжелое положение создалось в районе Иерусалима, где еврейские кварталы тонули в море арабских районов и пригородных арабских деревень. Лидеры ишува и военное руководство Хаганы уже смирились с неизбежностью раздела города, сознавая, что у них нет сил отстоять его у арабов.

Иного мнения придерживалось руководство двух “отколовшихся” от Хаганы радикальных националистических организаций — Эцеля и Лехи. Располагая значительными силами в Иеруса-

лиме и поддержкой большинства еврейского населения города, лидеры Эцеля и Лехи настаивали на освобождении всего Иерусалима. Это вызывало сопротивление и раздражение руководства Хаганы, которое едва справлялось с текущими задачами. Хагана осуществляла трудные доставки продовольствия в осажденный Иерусалим, вела бои в его окрестностях, защищала еврейские поселения на остальной части страны, и в этой обстановке самочинные операции "отколовшихся" только ослабляли возможности ее действий. Здравый смысл — и национальный, и военный — требовал, чтобы все три еврейские боевые организации объединили свои усилия, но, увы, в ситуации взаимного недоверия и подозрительности мало кто прислушивался к доводам разума. Эту ситуацию хорошо иллюстрирует официальный документ тех дней — инструкция командующего силами Хаганы в Иерусалимском округе Давида Шалтиэля командирам действующих отрядов: "(Необходимо)... задействовать все наши силы и возможности, чтобы предотвратить любые действия "отколовшихся" против англичан, поскольку на данном этапе такие действия наносят ущерб нашим силам ... и всему еврейскому населению. Боевые действия "отколовшихся" в большинстве случаев опираются на помощь местного населения, которое беспрекословно подчиняется людям Эцеля и Лехи... Поэтому следует усилить контакты с широкой общественностью, дабы заставить большинство населения не подчиняться "отколовшимся"... Следует развернуть широкую разъяснительную кампанию, объясняя мирному населению, какой огромный вред будет нанесен евреям после отступления "отколовшихся", когда жители будут беззащитны перед лицом ответных действий англичан... Наши вооруженные силы обязаны предотвратить перемещения тех лиц, которые не принадлежат к отрядам "Хаганы", этих людей следует разоружать по мере их обнаружения, тем более, что недавно произошли два случая похищения (ими) оружия, принадлежащего "Хагане"... Данная инструкция — приказ всем нашим вооруженным силам без колебания применять оружие, чтобы предотвратить такие похищения... Следует применять оружие также с целью устрашения и если обстоятельства вынуждают к тому — ранить (но не убивать) тех, против кого применено оружие..."

Иерусалим был оставлен британскими войсками в последнюю очередь, поэтому условия подполья сохранялись в городе значи-

тельно дольше, чем в других местах Эрец Исраэль. Эцель и Лехи, которые сильно страдали от недостатка денежных средств, оружия и снаряжения, пытались восполнить недостающее посредством нападения на британские военные склады, а также экспроприациями. Во внутреннем отчете, который Шалтиэль адресовал своему преемнику Моше Даяну, в частности, утверждалось: "Люди Лехи не только не склонны включиться в войну за защиту Иерусалима, но, напротив, сеют горе и разрушение. Сразу же после 29 ноября (день принятия резолюции ООН о разделе Палестины) бойцы Лехи предприняли ряд акций, целью которых было нанесение ущерба англичанам. Люди Лехи совершили также ряд ограблений и вымогали деньги у состоятельных еврейских торговцев. 29 февраля 1948 года была ограблена касса Иерусалимского муниципалитета, дважды в феврале подверглась ограблению Электрическая компания, грабеж транспортных средств стал обычным, повседневным явлением..."

Люди Эцеля также прибегали к подобным методам. В марте 1948 года они "изъяли" все ткани из магазина "Близовский". Это переполнило чашу терпения руководителей "Хаганы". Сразу после акции по "изъятию" тканей командир Эцеля в Иерусалиме Мордехай Раанан встретился с Шалтиэлем. Вот что рассказывает Раанан: "Шалтиэль встретил меня предложением: мы готовы заключить оперативное соглашение — люди Эцеля примут активное участие в обороне Иерусалима в качестве самостоятельной единицы, а Хагана, в свою очередь, возьмет на себя все заботы по обеспечению бойцов Эцеля продовольствием, снаряжением и обмундированием. Шалтиэль добавил, что если это предложение будет отвергнуто, Хагана силой оружия предотвратит любую попытку экспроприации. Я отверг предложение Шалтиэля, объяснив свой отказ тем, что, по мнению командования Эцеля, оборона Иерусалима ведется не в соответствии со сложившейся обстановкой, а по указаниям из Тель-Авива, в которых не учитываются интересы подлинной безопасности города — особенно после того, как официальное еврейское руководство и лидеры ишува объявили о своем согласии на раздел нашей столицы. Шалтиэль спросил, есть ли у Эцеля встречные предложения. Я ответил, что через два дня представлю ему наши соображения. Через два дня я внес следующее предложение: оперативное сотрудничество Эцеля и Хаганы возможно лишь при условии, что борьба за Иерусалим будет иметь конеч-

ной целью полное освобождение всего города и присоединение неделимого Иерусалима к территории еврейского государства. Для достижения этой конечной цели (необходимо) расширение коридора (связывающего Иерусалим с побережьем) и закрепление на горе Скопус, откуда можно контролировать пути, ведущие из Иерусалима в Иерихо и Шхем... Я объявил Шалтиэлю, что мы, со своей стороны, готовы реализовать часть этого стратегического плана при условии, что весь план будет принят как целое. Шалтиэль не дал ответа сразу, а тем временем нам стало известно, что Хагана ведет подобные переговоры и с Лехи. После встречи с командиром Лехи в Иерусалиме Иошуа Затлером мы поняли, что Шалтиэль хочет изолировать наши организации друг от друга, чтобы легче было добиться их капитуляции. Во время этой встречи мы пришли с Затлером к соглашению, что план Эцеля будет принят как основа для наших совместных действий; Затлер даже предложил немедленно начать операцию по захвату иерусалимского пригорода Шуафат и лишь позднее... полностью присоединился к нашему предложению... захватить деревню Дир-Ясин..."

А вот что рассказывает Иошуа Затлер: "В один прекрасный день мне передали предложение Шалтиэля о встрече. Я в то время находился на нелегальном положении после бегства из тюрьмы Акко, за мной охотились англичане и, честно говоря, я не мог полностью доверять командиру Хаганы. Я опасался, что он собирается выдать меня англичанам. Поэтому на встречу я отправился в сопровождении охраны, которая заняла все подходы к штабу Хаганы.

Шалтиэль предложил мне провести ряд военных операций против арабских деревень, находившихся вдалеке от Иерусалима. Я ответил ему: в Иерусалиме есть более "горячие точки", а та деревня в Иудейских горах, которую ты предлагаешь мне захватить, никак не влияет на наше положение. Мы находимся здесь, потому что боремся за Иерусалим — давай решим наши проблемы, а уж потом двинемся в центр страны. Но если ты стремишься просто удалить нас из исторической столицы евреев, из Иерусалима, то знай, что тебе это не удастся...

После встречи с Шалтиэлем я опубликовал листовку со всеми подробностями переговоров, и люди Лехи расклеили ее по всему Иерусалиму, чтобы никто не мог утверждать, будто это мы сорвали переговоры об объединении всех вооруженных сил для

защиты города. При всем том я не хотел рвать контакты с Хаганой и заявил Шалтиэлю, что мы будем поддерживать связь с его штабом и, если выступим на боевую операцию, дадим ему знать об этом, чтобы евреи не воевали против евреев... (Впоследствии), когда силы Лехи совершали боевые вылазки — например, в иерусалимском квартале Катамон — мы всегда согласовывали эти операции со штабом Хаганы...”

Совершенно иную картину рисует Шалтиэль. В беседе со мной (во время подготовки этого исследования) он утверждал, что никогда не вел таких переговоров с командирами Эцеля и Лехи. На процессе убийц графа Бернадотта Шалтиэль заявил, что действия Лехи в Иерусалиме были самочинными и принесли огромный ущерб, поскольку дали британской администрации повод позволить арабским вооруженным отрядам занять арабские районы для их “защиты” и тем самым настолько приблизиться к еврейским кварталам, что положение их стало угрожающим.

Однако эти заявления Шалтиэля противоречат его же докладу Бен-Гуриону в марте 1948 года о достижении местного урегулирования с Эцелем и Лехи, согласно которому Шалтиэль обязывался не препятствовать их боевым операциям при условии, что штаб Хаганы даст предварительное согласие на каждую такую операцию. Когда Бен-Гурион рассказал об этом командующему Хаганы Исраэлю Галили, тот сделал Шалтиэлю суровый выговор: “Ты не посчитал нужным доложить высшему командованию об этом соглашении... Я требую полного отчета, ибо у “местных” соглашений есть и широкий, “неместный” смысл, особенно сейчас, в дни переговоров о полном урегулировании между Хаганой, Эцелем и Лехи. Заруби себе на носу, что ты не уполномочен договариваться с ними без предварительного разрешения высшего командования Хаганы — в противном случае тебе придется отказаться от принятых обязательств, как это уже бывало в прошлом...”

2. Объект. В первые месяцы 1948 года Эцель и Лехи по разным объективным причинам резко снизили уровень своих действий в Иерусалиме. Однако бедственное положение города, с одной стороны, и переход Хаганы к активным наступательным действиям против арабов, с другой, пробудили в руководстве обеих организаций стремление активизировать свою деятельность. Тем не менее, когда Хагана предложила им присоединиться к ее силам, сражавшимся за Кастель, Эцель и Лехи не приня-

ли этого предложения, ссылаясь на отсутствие транспортных средств. Как уже говорилось, Затлер предложил Эцелю совместную атаку на арабский квартал Шуафат, что позволило бы, в случае успеха, соединить религиозный поселок Неве-Яков с горой Скопус. Этот план, кстати, соответствовал и требованиям видных командиров Хаганы, Иосефа Табенкина и Ицхака Садэ и, в конце концов, был ею осуществлен — увы, без серьезного успеха — в конце апреля 1948 года. Но на совместном заседании Эцеля и Лехи план Затлера был отвергнут, поскольку начальники оперативных отделов обеих организаций заявили, что позиции арабских и британских сил в Шуафате весьма сильны, а силы Лехи и Эцеля недостаточны для удержания этих позиций даже в случае первоначального успеха.

Взамен плана Затлера начальник оперативного отдела Эцеля Иошуа Гольдшмидт предложил другой — захват деревни Дир-Ясин на западной окраине Иерусалима, рядом с иерусалимским еврейским предместьем Гиват-Шауль. Гольдшмидт сам был родом из Гиват-Шауля и еще помнил, как во времена арабских погромов 1929 года дир-ясинские громилы учинили побоище в Гиват-Шауле; отец взял тогда с него клятву навсегда запомнить, “что сделали люди из Дир-Ясина”. Однако план Гольдшмидта диктовался не только желанием возмездия, но и здравыми тактическими соображениями. Дир-Ясин располагался на холме, и захват деревни давал возможность контролировать подходы к Иерусалиму и западные кварталы города. Поскольку ближайшие еврейские кварталы находились всего в семистах метрах от первых домов Дир-Ясина, можно было думать, что захват деревни не составит особых трудностей. Это соображение было особенно важно, потому что до этого Эцель и Лехи никогда не предпринимали совместных операций и ни одна из них не имела опыта атаки и захвата арабских деревень.

В чем, однако, вообще была необходимость этой операции? Уже после нее представители Эцеля и Лехи утверждали: “Дир-Ясин с самого начала беспорядков, вспыхнувших после 29 ноября, когда был провозглашен раздел Палестины, служил базой снабжения арабских шаек, а впоследствии — прибежищем для иракских и сирийских солдат, которые могли там сорганизоваться и выступить против еврейских транспортных колонн, доставлявших в Иерусалим продовольствие и снаряжение”.

Эти утверждения не подтверждаются ни документами того

периода, ни свидетельствами тех, кто оборонял Гиват-Шауль. Командир гиват-шаульского отряда Хаганы Иона Бен-Самон свидетельствует, что за все полгода своего пребывания в Гиват-Шауле не помнит ни одного случая, когда арабы Дир-Ясина вступили бы в конфликт с еврейским населением. В отчете от 5 января 1948 года, разосланном Шалтиэлем командирам отрядов Хаганы, говорится: "Дир-Ясин — спокойная деревня, избегающая конфликтов с евреями. Старейшины деревни заключили союз с представителями общины Гиват-Шауля". Известно также, что Хагана поддерживала регулярные контакты с дир-ясинскими старейшинами через специального связного. Когда 13 января арабский отряд вошел в Дир-Ясин с намерением атаковать Гиват-Шауль, старейшины деревни воспротивились этому плану, и отряд вынужден был отказаться от него. 23 марта население Дир-Ясина вопреки приказу Верховного Арабского Совета отказалось принять в деревне иракские и сирийские подразделения из так называемой "Армии арабского спасения".

Далее, однако, ситуация перестает быть однозначно ясной. Бои за Кастель, развернувшиеся в начале апреля 1948 года, изменили положение. 4 апреля газета "Давар" сообщила, что западные районы Иерусалима подверглись обстрелу "со стороны деревень Дир-Ясин и Эйн-Керем". В этом сообщении, достоверность которого сейчас, естественно, уже невозможно проверить, не сказано, что произошло на самом деле: велась стрельба из самой деревни или с одной из высот, соседствующих с ней. Во всяком случае, в телеграмме, которую получило командование Хаганы в Иерусалиме, говорилось: "Чтобы предотвратить атаку на поселок Моца-Тахтит и блокаду дороги на Иерусалим, ...следует захватить Дир-Ясин". А 9 апреля, за два часа до начала атаки Эцеля и Лехи на деревню, сам Шалтиэль сообщил Шимону Авидану, руководителю операции "Нахшон": "Арабы установили в Дир-Ясине миномет, чтобы обстреливать транспортные колонны, движущиеся по Иерусалимскому шоссе".

В целом, информация о положении в Дир-Ясине была противоречивой и путаной (что вполне естественно для тех дней) и можно было с таким же успехом считать, что Дир-Ясин остается мирной деревней, как и утверждать, что он стал прибежищем арабских шаек.

3. "Дир-Ясин у нас в кармане". После того, как Раанан и Затлер приняли решение о совместной атаке на Дир-Ясин, состоялась

встреча представителей двух организаций. Со стороны Эцеля присутствовали Иошуа Галь, начальник оперативного отдела, Бен-Цион Коэн, назначенный командиром операции от Эцеля, и командиры взводов, Иуда Лапидот и Михаэль Хариф. Со стороны Лехи — начальник оперативного отдела Мордехай Бен-Узия (Дрор), Птахия Заливанский, назначенный командиром операции со стороны Лехи, и Давид Шнейвайс (Замир). Встреча состоялась в центре Иерусалима, неподалеку от клуба "Менора", и имела целью выработку детального плана операции. Разведка Эцеля и Лехи утверждала, что в деревне находится около шестидесяти арабских бойцов, причем основную их часть составляют добровольцы, обладающие определенным военным опытом. Это означало, что предстоит тяжелый бой. Поэтому особое внимание было уделено вопросу о том, как обеспечить безопасность мирных жителей. Было решено, что с началом атаки бойцы Лехи будут патрулировать дорогу в бронированном автомобиле и через громкоговоритель объявят жителям деревни, что целью атак является лишь изгнание арабских шаек, а посему населению предлагается временно эвакуироваться в соседнюю деревню Эйн-Карем. Бен-Цион Коэн рассказывал впоследствии: "Споры начались, когда зашел вопрос, как вести себя во время захвата деревни. Мнения разделились. Лапидот и Хариф требовали, чтобы борьба шла только против вооруженных солдат. Я же считал, что если придется врываться в дома, то следует предварительно метнуть туда гранату или использовать взрывчатку. Решено было также отдать строгие приказы относительно обращения с пленными: избегать нанесения им ущерба, применять силу только в случае сопротивления, постараться перебросить пленных как можно скорее в другие арабские деревни". Другой участник совещания рассказывал: "Было решено, что всякий вооруженный мужчина, который не сдается в плен, подлежит расстрелу, но по отношению к женщинам и детям следует проявить гуманность, даже если бойцами овладеет сильное желание мести". На совещании договорились, что Эцель предоставит оружие для операции: 33 ружейных ствола, 35 автоматов типа "Стен" и три пулемета; это оружие Эцель должен привезти из Тель-Авива, где у него была оружейная мастерская. Лехи обеспечивала операцию пистолетами и взрывчаткой.

Первоначально атака была намечена на 7 апреля. Если бы она состоялась в назначенный срок, возможно, она оттянула бы арабские силы, сражавшиеся за Кастель. Увы, этого не случилось.

Приготовления затянулись, и атака была отложена на 9 апреля.

Знала ли Хагана о планах Эцеля и Лехи? Шалтиэль получил извещение об этих планах и через посредника еще раз предложил Раанану и Затлеру отказаться от захвата деревни и вместо этого принять участие в боях за Кастель. Это предложение не было принято. После этого Шалтиэль лично встретился с руководителями Эцеля и Лехи в Иерусалиме. А 7 апреля он направил в адрес командования Эцеля и Лехи два идентичных письма: "Мне стало известно, что вы собираетесь предпринять операцию против деревни Дир-Ясин. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что захват Дир-Ясина и последующее удержание его — это лишь часть нашей общей программы. Я отнюдь не против того, чтобы вы осуществили эту операцию, но при условии, что вы сможете удержать деревню. Если вы не в состоянии сделать это, я предупреждаю, что я категорически против подрыва домов деревни, ибо после этого она будет брошена жителями и развалины будут захвачены вражескими силами. Такое положение только усугубит ситуацию, вместо того чтобы облегчить ее. Вторичный захват будет стоить немалых жертв..."

Заметим, что в этом письме, по существу выражающем согласие на захват Дир-Ясина, нет никакого упоминания о наличии соглашения между жителями Дир-Ясина и Гиват-Шауля, а также об отказе дир-ясинцев впустить в деревню солдат "Арабской армии спасения" и другие арабские отряды.

Рассказывает Меир Паиль, который командовал специальным подразделением Хаганы в Иерусалиме, предназначенным для борьбы против Эцеля и Лехи (еще до начала Войны за Независимость): "За день или два до атаки на Дир-Ясин мой знакомый из Лехи сказал мне, что они выступают на захват деревни. Я немедленно побежал к Шалтиэлю, но оказалось, что он уже обо всем знает. Шалтиэль сказал мне, что он предупредил Эцель и Лехи о соглашении, которое было у Хаганы с жителями деревни, и пытался отговорить их от операции, но они отказались. Шалтиэль сказал, что он сильно колебался, прежде чем дать согласие на нее. Я не сомневаюсь, что Шалтиэль ни на миг не мог себе представить, что в деревне может произойти резня... По обстоятельствам того времени, он не хотел предотвращать операцию силой, но даже если бы захотел, у Хаганы не было достаточных средств, чтобы помешать атаке. Шалтиэль полагал, что Эцель и Лехи будут действовать и без позволения, поэтому он дал "добро" на опера-

цию — при условии, что они должны оставаться потом в деревне, чтобы оборонять ее от вражеской контратаки и поддерживать порядок. Я помню, что выразил удивление по поводу выданного Шалтиэлем разрешения, но я и сам был растерян и потому не спорил с ним. Я пришел к выводу, что разрешение было дано в силу безвыходности положения, в котором оказался Шалтиэль...”

В среду вечером Бен-Цион Козн и его младшие командиры провели рекогносцировку тропинок, ведущих в Дир-Ясин, и незаметно подобрались к самой деревне. “Дир-Ясин у нас в кармане”, — сказал один из младших командиров, увидев, как легко они подошли к деревне. Остальные согласились с ним.

В тот же день бойцы Лехи провели рекогносцировку в окрестностях Гиват-Шауля. Они встретились с бойцами Хаганы, занимавшими укрепленные позиции напротив Дир-Ясина и договорились с ними о пароле. С позиций доложили руководству Хаганы: “Люди из Лехи обследовали местность в направлении Дир-Ясина, но мы не могли им воспрепятствовать, поскольку у нас не хватало для этого сил”.

В тот же день люди Лехи реквизировали бронированный грузовик Хаганы на стоянке транспорта, что на улице Турин, а в магазине электротоваров Эпштейна взяли напрокат громкоговоритель (уплатив за него наличными 67 израильских фунтов). Со складов оружия и боеприпасов Эцеля было доставлено все необходимое. Приготовления шли до последней минуты. Не забыт был даже еврейский флаг, который бойцы получили бесплатно в универмаге “Шварц”; древко для него взяли из-под сорванного английского флага! Это еврейское знамя бойцы Лехи намеревались водрузить над домом мухтара (старосты) деревни после того, как она будет захвачена.

4. “Ахдут лохемет” (“Воюющее единство”). 8 апреля, в четверг, 72 бойца Эцеля собрались в квартале Эц-Хаим, на въезде в Иерусалим, 60 бойцов Лехи — в квартале Шейх Бадр, где нынче располагается здание Кнесета. Каждое отделение получило три винтовки и три автомата “Стен”. Один из трех пулеметов был выделен Лехи, один Эцелю, а третий — установлен на бронегрузовике с громкоговорителем. Командиры получили пистолеты. Санитары с носилками были вооружены дубинками. Каждому бойцу с винтовкой было выдано 40 патронов, автоматчики получили по 100, и все бойцы получили по две ручных гранаты. Рации или иных

средств связи не было. Время — два часа ночи, пароль — “Воюющее единство”. Бойцы Эцеля спускаются в “вади” (пересохшее русло), отделяющее Дир-Ясин от Бейт-Акерем, бойцы Лехи выходят на позиции Хаганы против Дир-Ясина.

Птахия Заливанский объяснил командиру Хаганы Ионе Бен-Сасону, что атака на Дир-Ясин согласована с Давидом Шалтизлем. Впоследствии Бен-Сасон рассказывал, что вся история показалась ему странной и он попытался связаться по телефону со штабом Хаганы, но командира округа не нашел и подтверждения тому, что услышал от Заливанского, так и не получил. Он знал, что если между Лехи и Хаганой нет координации, он обязан воспрепятствовать операции. Но вдруг они говорят правду? А кроме того его силы все равно были слишком малочисленны, чтобы задержать бойцов Заливанского. В конце концов, Бен-Сасон решил: не препятствовать операции, но и не содействовать ей.

Между тем жители Дир-Ясина заметили приближение вооруженных людей. Забеспокоившись, они прислали человека, который потребовал встречи со связным Хаганы. Бен-Сасон в просьбе отказал. Позднее он объяснял: он опасался, что связного захватят заложником. Однако отказ Бен-Сасона только усилил опасения жителей деревни.

Бойцы Эцеля приближались к Дир-Ясину тремя группами: Бен-Цион Козн в центре, Лapidот справа, Хариф со своими людьми — слева. Они проползли вдоль вади до самой южной окраины деревни. В это же время пять звеньев Лехи под началом Заливанского продвигались к Дир-Ясину со стороны Гиват-Шауля; командиром одного из этих звеньев был, кстати, Амос Кейнан (ныне известный журналист и рупор “левых” кругов Израиля). Сигналом к общей атаке должна была служить трассирующая очередь из автомата.

В 4.15 утра бойцы Эцеля, находившиеся к тому времени примерно в сорока метрах от деревенской изгороди, услышали какие-то шорохи. Один из эцелевцев, полагая, что это приближаются люди из Лехи, прошептал пароль: “Ахдут...” Арабский караульный, который тоже услышал подозрительный шорох, позвал товарища: “Ахмад!” Эцелевцу показалось, что он слышит слово “Ахдут”, и он прокричал отклик: “Лохемет!” Караульный увидел его и завопил: “Ахмад! Яхуд, амина!!” (“Ахмад! Евреи, берегись!!”). Караульные выстрелили в сторону эцелевцев и скрылись в крайних домах. Нападающие открыли ответный

огонь. С этого момента началась беспорядочная стрельба со всех направлений. Тем временем бойцы Лехи, никем не замеченные, уже успели подобраться к северной окраине деревни и залечь там в ожидании сигнала к атаке.

Барух Надель, находившийся в грузовике, рассказывает: "Мне и товарищам было поручено предложить жителям сдаться. Мы перерезали проволочные ограждения, а когда начало рассветать, двинулись вперед. Почти сразу мы наткнулись на груды песка и камней, за которыми тянулась широкая канава. Мы спрыгнули, чтобы засыпать ее песком, но тут из деревни открыли огонь и один из наших ребят был ранен в живот. Я прыгнул в машину, а один из товарищей схватил громкоговоритель и начал кричать, призывая к сдаче. Нас продолжали поливать огнем. Мы залегли, и я начал вести ответный огонь из "Брена" по тем домам, откуда в нас стреляли. Другие ребята еще пытались засыпать канаву, но огонь все усиливался и времени на засыпку уже не было. Мы вынуждены были продвигаться дальше пешим порядком. Я прикрывал. Было уже совсем светло и стрельба шла из всех домов. Ребята продвигались молча, лишь время от времени раздавался крик: "Я ранен!" — и кричавший падал. И снова крик: "Я ранен..." Раненых вытаскивали из-под огня, а я прикрывал огнем из "Брена" ребят с носилками".

Судя по всему, жители деревни не услышали призыва громкоговорителя, потому что они встретили атакующих сильным огнем. У бойцов Эцеля и Лехи было две возможности: вступить в бой при свете дня (причем рассчитывать на поддержку было неоткуда) или отступить. Командиры выбрали первую возможность. Какую-то роль сыграла случайность: арабская пуля попала в мешок с взрывчаткой, который нес один из бойцов, и она задымилась. Коэн приказал бойцу немедленно задействовать взрывчатку; тот бросил свой груз под стену одного из домов и произвел взрыв. В этот момент Коэн приказал дать трассирующую очередь из автомата — сигнал к общей атаке.

5. "Невообразимый балаган". Бойцы Эцеля в большинстве своем не имели должной подготовки для ведения боя на открытой местности. Они продвигались без взаимного прикрывания, без взаимодействия между атакующими звеньями, не используя естественные укрытия или участки "мертвой зоны", то есть непростреливаемые места. Неудивительно, что в первые же минуты атаки многие из них были ранены. Иуда Банай рассказывает:

“В самом начале операции, когда наше отделение еще находилось в шестидесяти метрах от деревни, противник открыл сильный огонь. Я получил приказ отступить, и в этот момент меня ранила вражеская пуля. Я пролежал около получаса, прежде чем меня вытащили с поля боя и отправили на пункт скорой помощи в Бейт-Акерем”.

Моше Мизрахи рассказывает: “Когда мы приблизились к деревне, нас остановил окрик “Андак!” (“Стой!”). Мы залегли. Послышался одиночный выстрел. Мы снова стали продвигаться вперед, но нас встретила автоматная очередь. Арабы занимали хорошие позиции — в домах и на крышах. Мы увидели группу из семи человек в мундирах цвета хаки, в арабских головных уборах, на которых мы разглядели белые и красные точки — такие уборы носили бойцы арабских шаек. Мы открыли огонь по этой группе, и она рассеялась. Тогда нас начали обстреливать из окон домов, так что мы не могли даже пошевелиться. Я был ранен. Каждый миг казался мне вечностью. Когда мы снова собрались все вместе, оказалось, что есть много раненых, в том числе командир отделения. Я подобрал плачущего арабского мальчика и передал его какой-то арабской женщине...”

Иошуа Шери: “Мы прошли через усадьбу, где не встретили никакого сопротивления, там было всего несколько женщин, и я сказал им по-арабски: “Войдите в дом, будьте внутри”. Потом мы увидели бегущего навстречу араба с ружьем в руках. Мы выстрелили, и он исчез. Когда мы продвинулись вперед, начался сильный огонь из-за домов. Мы залегли у забора. Я был ранен в левое плечо, меня отнесли в сторону, оказали первую помощь, а потом отправили в Бейт-Акерем. Склон горы, по которому пролегал наш путь туда, был под сильным обстрелом...”

К шести утра Эцель и Лехи захватили две передние линии домов, продвигаясь к условленному месту встречи в центре деревни. Одно из отделений подошло к юго-восточному склону горы, которая нависала над Дир-Ясином (сейчас это гора Герцля), но там было встречено сильным огнем, один из бойцов был убит, другой ранен, отделению пришлось отступить и высота с пулеметным гнездом на ней осталась в руках арабов, что позволяло им контролировать дорогу из Дир-Ясина в Бейт-Акерем, затрудняя эвакуацию раненых. Бойцы Хаганы из Бейт-Акерема и Яфе-

Ноф открыли огонь по пулеметным позициям противника, чтобы помешать прицельной арабской стрельбе.

Тем временем подразделения Коэна, Лапидота и Харифа, преодолевая огонь, продолжали продвигаться к центру деревни, один за другим подавляя очаги арабского сопротивления. Операция развивалась труднее, чем предполагали. Между домами было много открытого простреливаемого пространства, каждая группа сражалась отдельно, а арабы вели снайперский огонь с крыш и из-за укрытий, сделанных из мешков с песком. На северной окраине деревни бойцы Лехи вели рукопашный бой, метр за метром продвигаясь к деревенской площади. В семь часов утра обе атакующие группы встретились в центре деревни. К этому времени атакующие силы насчитывали двадцать девять раненых, многие из которых продолжали лежать под сильным огнем, истекая кровью. Боеприпасы почти истощились, некоторые автоматы заклинило. Кое-кто из бойцов заговорил об отступлении, но командиры решили продолжать бой до победного конца. В этот момент раненых стало уже тридцать: снайперской пулей был ранен Бен-Цион Коэн, руководитель операции со стороны Эцеля.

Меир Паиль, который прибыл в Дир-Ясин несколько позже, вместе с одним из своих подчиненных, рассказывает: "Было около десяти утра. Среди атакующих царил невообразимый балаган (Паиль в своем свидетельстве употребил именно это русское слово, которое в разговорном иврите тоже означает сумятицу, беспорядок, неразбериху). На нас никто не обращал внимания. Потом кто-то все же спросил, кто мы такие. Я ответил, что мы из Лехи, поскольку уже понял, что мы находимся в хвосте подразделений Эцеля. Я спросил, почему не видно машины с громкоговорителем. Мне ответили, что в темноте не заметили широкую канаву, и машина застряла в ней.

Атакующие вошли в деревню с трех направлений. Когда они захватили первые дома, жители начали покидать деревню. Никакого единого командования у атакующих не было. Спустя четверть часа после того, как начался захват домов, возникла общая сумятица, слышались бурные крики радости, начались беспорядочные перемещения людей, пальба в воздух, воцарился балаган. Я видел отдельные случаи мародерства. Обоюдный обмен выстрелами продолжался все время, винтовки и "стены" не умолкали. Захват домов тоже продолжался. Но ни отдаваемые

команды, ни услышанные разговоры не создавали у меня впечатления, что атакующие намереваются учинить резню...”

Примерно в это же время, около десяти утра, был захвачен большой склад оружия и патронов, что позволило атакующим пополнить истощившиеся боеприпасы. В Гиват-Шауль, где находились резервы Эцеля, был отправлен связной, чтобы сообщить о ранении Коэна. Мордехай Раанан вместе со своим начальником оперативного отдела, получив это донесение, бегом, под непрерывным огнем, бросились к Дир-Ясину. Вот что рассказывает Раанан: “Выяснилось, что главный очаг сопротивления располагается в доме мухтара. Нам не хватало средств, чтобы подавить это сопротивление. Тогда двое наших людей подложили пакеты со взрывчаткой, доставленные Лехи, под стену дома и задействовали взрыватели. Через несколько секунд дом превратился в груды развалин, среди которых валялись изувеченные трупы. Мы пытались убедить арабов в других домах выйти оттуда. Из одного дома вышли двое детей примерно десяти лет, за ними две девушки лет четырнадцати, а затем две женщины с грудным младенцем. Это были наши первые пленные. Мы тут же отправили их в Гиват-Шауль.. Многие очаги сопротивления не вняли нашим призывам о капитуляции, и нам пришлось взорвать еще несколько домов. Всего было взорвано пятнадцать домов вместе с теми, кто в них засел. Когда сопротивление ослабло, мы прекратили подрыв домов, чтобы избежать ущерба женщинам и детям и сохранить дорогостоящую взрывчатку...”

К полудню почти вся деревня была в руках атакующих, только в одном из домов группа арабов продолжала вести оборонительный огонь. Евреи дважды пытались атаковать дом, но обе попытки не увенчались успехом. К этому времени раненые командиры — Коэн и Хариф — уже отправились пешком в Гиват-Шауль. Многие из раненых, которые тоже пробирались в Гиват-Шауль, получили повторные ранения по дороге. Птахия Заливанский вытащил из одного дома кровати, уложил на них раненых и приказал четверем арабским женщинам нести эти импровизированные носилки в Гиват-Шауль. Женщины подчинились приказу, но по дороге сами попали под арабский обстрел и тоже были ранены. Один из бывших членов Эцеля, теперь служивший в подразделении бронированных машин Пальмаха, увидев, какво положение, испросил у своего начальства согласие прийти на помощь атакующим. Вместе с ним, на его машине, в Дир-Ясин

прибыли санитарки, которые стали организовывать переправку раненых в больницу в Рехавии. Но одного автомобиля для эвакуации всех раненых было явно недостаточно, и штаб операции послал связного в иерусалимский штаб Хаганы с просьбой о помощи. Командир батальона Хаганы Меир Зореа рассказывает, что связной обратился к нему со словами: "Если вы нам не поможете, мы пропали..." Другой командир батальона вспоминает, что связной умолял Шалтиэля о поддержке, на что Шалтиэль гневно ответил: "Зачем было вообще проводить операцию?! Ведь вы это сделали только в погоне за славой!" Командир роты Моше Саломон записал в своем дневнике: "Мы получили просьбу прийти на помощь Эцелю и Лехи в Дир-Ясине. Я сказал своим ребятам, что это будет самая большая наша месть "отколовшимся" — сначала мы им дали оружие, а теперь придем к ним на помощь..."

6. На помощь приходит Пальмах. Кроме проблемы раненых перед атакующими стояли еще две жгучие проблемы — очередная нехватка боеприпасов и недостаток сил после потери четырех человек убитыми и около сорока ранеными. Командиры Эцеля и Лехи потребовали, чтобы Бен-Сасон, командир Хаганы в Гиват-Шауле, дал им патроны с тайного склада. Растерянный Бен-Сасон, который к тому времени окончательно поверил, что операция проводится с ведома и согласия командования Хаганы, удовлетворил эту просьбу. Позднее, когда его действия стали известны Шалтиэлю, тот отстранил Бен-Сасона от командования и предал его суду, который вынес ему порицание. Связной от Эцеля и Лехи все еще тщетно добивался от Шалтиэля срочной помощи, а тем временем два других представителя штаба операции прибыли на мотоциклах в военный лагерь "Шнеллер", неподалеку от иерусалимского квартала Меа-Шаарим, и обратились к командиру тамошнего пальмаховского транспортного отряда Якову Ваге с просьбой об оружии и боеприпасах. Вага выдал им патроны, но наотрез отказался предоставить минометы и пулеметы. Зато он обещал, что немедленно прибудет со своими бойцами в Дир-Ясин и "завершит дело", если получит от командования соответствующее разрешение.

Между тем Шалтиэль связался с командиром Пальмаха Иосефом Табенкиным, который руководил еврейскими отрядами, в то утро, после тяжелых боев, овладевшими Кастелем. Шалтиэль сообщил: Эцель несет тяжелые потери в Дир-Ясине, следует оказать ему помощь или, по крайней мере, поспособствовать в эва-

куации раненых. Табенкин по радиации приказал Ваге вступить в Дир-Ясин с тремя бронированными машинами. В полдень подразделение из пятнадцати пальмахников вошло в деревню, имея при себе 52-миллиметровые минометы и три чешских пулемета, доставленные в Иерусалим 6 апреля знаменитым транспортным караваном "Нахшон". Заняв позиции, пальмахники открыли огонь по сопротивлявшемуся дому и обстреляли его из миномета. Вступление пальмахников в бой обозначило перелом в сражении. Началось бегство оставшихся арабов из самой деревни и с юго-восточного склона горы. В этот момент Вага получил новый приказ Табенкина — немедленно покинуть Дир-Ясин и вернуться в лагерь "Шнеллер". Прихватив с собой парочку-другую цыплят, бойцы Пальмаха покинули Дир-Ясин, оставив его в руках Эцеля и Лехи и получив напоследок приглашение вернуться вечером, "посидеть у костра в честь совместной операции". (Впрочем, Моше Даян, служивший в оперативном отделе Пальмаха и в тот же день прибывший из Тель-Авива в Иерусалим, сорвал "встречу у костра", назначив на этот вечер "разъяснительную беседу" с людьми из отряда Ваги.)

7. Подростки хоронят трупы. Захват деревни уже завершился, когда Мордехай Раанан был вызван в Гиват-Шауль на встречу с прибывшим туда Шалтиэлем. Впоследствии Раанан рассказывал, что он шел на эту встречу в приподнятом настроении: "Я думал, что, может, теперь Шалтиэлю станет ясно, что и мы в состоянии что-то сделать, и перед нами, возможно, откроются новые возможности для сотрудничества". Беседу с Шалтиэлем он описал так: "Я заявил ему, что захват деревни завершен и мы готовы передать Дир-Ясин в руки Хаганы. Ни я, ни он еще не знали тогда о размерах арабских жертв. Шалтиэль ответил, однако, что мы должны удерживать деревню еще сорок восемь часов. Я попросил разъяснений, но он не стал входить в разъяснения, а только сказал, что если мы покинем деревню раньше этого срока, его люди туда не войдут и возникнет опасность захвата ее арабами. Я решил удерживать деревню и укрепить ее на случай арабской контратаки".

Раанан и Затлер приказали атаковавшим подразделениям покинуть Дир-Ясин. Но их место заняли резервные отряды Эцеля и Лехи. Командовать ими был назначен Иуда Лапидот. Он же организовал сбор захваченного оружия, боеприпасов и продовольствия. Лапидот приказал также, чтобы пленные похоронили

убитых, но этот приказ выполнялся крайне медленно. Все это время деревня оставалась открытой для посторонних. Еще до вечера здесь побывали многие, в том числе несколько местных и иностранных журналистов, а также десятки иерусалимских евреев, среди которых нашлись и такие, кто пришел пожить в арабском добром.

Люди Эцеля и Лехи стояли в деревне три дня. За это время они не удосужились не только захоронить, но даже сосчитать трупы, хотя их было весьма много. Тем временем трупы стали разлагаться. Запах гниения доносился до самого центра Иерусалима. Люди Эцеля пытались сжечь часть трупов, но по неумелости не смогли организовать эту процедуру. Всю субботу и воскресенье шли изнурительные переговоры между Эцелем и командованием Хаганы: Эцель хотел как можно быстрее передать Дир-Ясин под контроль Хаганы, потому что ходили слухи о намерении англичан бомбардировать деревню с воздуха. Одним из спорных пунктов в переговорах был вопрос, кто должен захоронить разлагающиеся трупы. Между тем подразделения Хаганы окружили Дир-Ясин; между бойцами Хаганы и Эцеля происходил взаимный обмен угрозами — к счастью, ни одна из сторон не привела эти угрозы в исполнение.

Наконец, в полдень 11 апреля Хагана приняла деревню из рук Эцеля. Шестнадцатилетние парни из Гадны, молодежных отрядов Хаганы предали, в конце концов, земле сгнившие, разлагающиеся трупы жертв дир-ясинской резни.

8. Резня. В истории арабо-еврейского конфликта захват Дир-Ясина стал символом массового убийства арабского населения евреями, отступившими от принципа "чистоты оружия", от моральных правил ведения войны. Дир-Ясин стоит первым в ряду подобных трагических случаев, включающем захват деревни Кибия в 1953 году, гибель мирного населения в Кфар-Касеме в 1956 году и другие, вплоть до резни, учиненной ливанскими фалангистами в лагерях Сабра и Шатила в 1982 году. Правда, в последнем случае евреи не принимали участия в акциях против мирного населения, как это достоверно установила следственная комиссия Козна, но само вступление фалангистов в западный Бейрут было осуществлено с позволения руководства израильской армии.

Свидетельства о резне в Дир-Ясине путанны и противоречивы. Достоверно известно одно: во время захвата деревни погибли двести пятьдесят восемь арабов, большинство из которых со-

ставляли старики, женщины и дети. Многие из них нашли смерть в развалинах взорванных домов, где располагались арабские укрепленные точки и снайперские позиции, другие были убиты в лихорадке боя или расстреляны при захвате домов жаждающими мщения бойцами. Можно с уверенностью утверждать, что все эти случаи убийства мирного населения не были никем организованы заранее и не составляли часть какого-либо плана "устрашения". Об этом говорит внимание к защите мирного населения, проявленное на встрече руководства Эцеля и Лехи, которая предшествовала атаке на Дир-Ясин. Однако в обстановке боя, носившего, как видно из приведенных выше свидетельств, совершенно неорганизованный, хаотический характер, приказы командиров были забыты, да и сами они зачастую теряли голову.

Этой точке зрения противостоит другая, согласно которой резня в Дир-Ясине была продуманной и расчетливой акцией устрашения. Однако эту вторую версию выдвигают, как правило, политические противники Эцеля и Лехи из рядов Хаганы. Вот что писал впоследствии, например, Меир Паиль: "В тот же день вечером, потрясенный увиденным, я направил письмо Израэлю Галили в главный штаб Хаганы, в котором утверждал, что имел место случай организованной и запланированной резни мирного населения".

Напомним, что Меир Паиль долгое время возглавлял специальное подразделение Хаганы в Иерусалиме, задачей которого была борьба с Лехи и Эцелем.

В своем отчете Паиль писал: "Когда прекратился огонь арабских снайперов и деревня затихла, я увидел, что начинается — спонтанным образом — резня мирного населения. Я видел группы людей из Эцеля и Лехи, которые переходили от дома к дому и стреляли из автоматов и пулеметов по засевшим там жителям. Я не почувствовал особой разницы в действиях бойцов Лехи и бойцов Эцеля. Я почти не встречал также арабских мужчин — полагаю, что они бежали с поля боя еще вначале. Большинство оставшегося населения составляли старики, женщины и дети. Их убивали группами, собрав в углу комнаты и приканчивая очередь из автомата. В полдень были захвачены пятнадцать-двадцать мужчин; когда я их видел, они были безоружны. Их посадили в грузовики и отвезли в Иерусалим — по крайней мере, так я потом слышал. Когда их сажали в грузовики, из окружающей толпы раздавались возбужденные возгласы: "Возьми

десять лир и дай прикончить хотя бы одного!” Тем не менее всех арабов посадили в грузовики, а потом этот грузовик с ними вернулся в деревню и арабы были расстреляны в каменоломне между Дир-Ясином и Гиват-Шаулем. Я же видел их около полудня еще живыми. Резня в деревне длилась несколько часов. Ни один из командиров не возмущался, не предотвратил ее. Я кричал, искал командиров с помощью моего друга, члена Лехи, который позвал меня в Дир-Ясин. Я кричал им: “Вы с ума посходили! Вы творите страшные вещи!” Но один из командиров Лехи ответил мне: “Это не твое дело...” А потом спросил меня: “А что нам с ними делать?” Я ответил: “Перебросьте их в арабские кварталы”. Не знаю, сами они опомнились или на них подействовали мои крики, но я видел, что они собрали оставшихся женщин и детей в здании школы, около 250–300 человек. Я слышал споры — не подорвать ли весь дом с его обитателями? После полудня уцелевшие арабские женщины и дети были доставлены в Иерусалим и переданы в арабские кварталы. Я покинул деревню. Уходя оттуда, я видел людей Эцеля и Лехи, у них были лица убийц, они выходили из деревни, прихватив цыплят, овец и другие продукты...”

В этом тягостном описании есть ряд противоречий. Паиль пишет, что покинул деревню после полудня и в то же время утверждает, что резня продолжалась несколько часов после ее захвата — но Дир-Ясин был захвачен только около полудня. Паиль отмечает, что резня началась спонтанно — и в то же время утверждает, что она была “организованной”. Он говорит, что арабские мужчины покинули деревню “еще вначале” — непонятно, кто же тогда вел “снайперский огонь из домов” — и так далее. Я могу засвидетельствовать, со своей стороны, что большинство людей Эцеля и Лехи, с которыми я беседовал при подготовке этого исследования, категорически утверждают, что Паиль вообще не был в Дир-Ясине и многие из его обвинений — просто злостная выдумка, призванная опорочить “отколовшихся”. Впрочем, возникает вопрос — как могли эти люди достоверно знать, находился Паиль в эти суматошные часы в Дир-Ясине или нет?

Показания других членов Пальмаха — из числа тех, кто пришел на помощь Эцелю и Лехи, — совпадают со свидетельством Паиля. Заместитель Ваги Моше Эран писал: “Мы были свидетелями ужасного зрелища. Мы видели не только убитых, но и то, как

их убивали. Мы решили промолчать...” Двое из подчиненных Эрана подтвердили рассказ командира. Еще один боец Пальмаха, побывавший в тот день в Дир-Ясине, был свидетелем того, как люди Эцеля сжигали на костре труп арабского мужчины; несмотря на протесты этого пальмахника, командир Эцеля не воспрепятствовал своим людям сжигать труп. Пальмахник вспоминает, что его вырвало от отвращения; он тут же покинул деревню.

Очевидцы говорят, что стрельба из Дир-Ясина доносилась спустя много часов после полной капитуляции. Командир Хаганы в Гиват-Шауле Иона Бен-Сасон рассказывает, что ему доложили о намерении “отколовшихся” расстрелять пленных в карьере за Дир-Ясином. Бен-Сасон поспешил туда, увидел подготовку к расстрелу и заявил одному из командиров Эцеля, что будет препятствовать его действиям силой. Впоследствии, утверждает Бен-Сасон, он узнал, что подобные действия со стороны Эцеля все же имели место.

На следующий день после резни Шалтиэль направил в Дир-Ясин офицера своего оперативного отдела Элиягу Арбеля, поручив ему выяснить, что произошло. Арбель свидетельствует: “Я видел трупы женщин и детей, расстрелянных в собственных домах; в домах, где я обнаружил трупы, не было никаких признаков боя. Я видел труп женщины во дворе, подол ее платья был заголен, она была прошита автоматной очередью, рядом с ней лежали трупы трех ее детей. Я видел старика лет восьмидесяти, а рядом с ним маленького мальчика. Убитые лежали в доме, на кровати”.

Все сведения, поступавшие в разведку Хаганы из разных источников, подтверждали, что в Дир-Ясине произошла резня. Вот что говорилось в отчете самой разведки, составленном уже 12 апреля, на третий день после событий: “Некоторое число женщин и детей было доставлено в Шейх-Бадр в качестве пленных... Надзиратели лагеря пленных убили младенца на глазах у молодой матери, а затем застрелили и ее. Семеро пожилых мужчин и женщин были доставлены на грузовике в иерусалимские кварталы для... обозрения, а затем расстреляны в карьере неподалеку от Дир-Ясина... Араб, взятый в плен людьми Эцеля, о котором было известно, что он снайпер, был расстрелян, а труп его сожжен на костре на глазах у иностранных корреспондентов. При этом присутствовали все командиры Эцеля”.

В совершенно секретном документе от 18 апреля, который

распространил среди высших офицеров Хаганы Исер Харэль, глава разведки, в частности говорилось: "Когда в рядах "отколовшихся" появились первые раненые и убитые, воцарилась растерянность и была полностью утрачена дисциплина. Каждое малое подразделение вело бой в отдельности. Деревня была захвачена с проявлением жестокости. Целые семьи были убиты, громоздились груды трупов". Леви Ицхак, в ту пору начальник разведки иерусалимского округа, писал в 1971 году Менахему Бегину: "После захвата деревни мужчины, женщины и дети были погружены на грузовики и провезены по улицам Иерусалима. Затем они были возвращены в деревню и расстреляны из автоматов. Такова правда..."

9. "Как это делают мясники..." Гораздо более фантастичной выглядит картина резни по британским и арабским источникам. В британском отчете, составленном в день захвата деревни, сказано: "Евреи атаковали при поддержке бронированных автомобилей. В 15.40 пополудни арабы все еще удерживали свои позиции. Захват деревни был закончен к 17.25". Отчет отмечает, что в результате боя с арабской стороны насчитывается немало раненых и пленных, но не приводит сведений об убитых. О резне британские власти узнали позднее, из показаний офицеров полиции, врача и медсестер, которые по просьбе мандатной администрации опрашивали тех, кому удалось бежать из деревни и добраться до Кфар-Шилоах, арабского поселка в окрестностях Иерусалима. Глава комиссии, которая вела этот опрос, Ричард Катлинг, помощник начальника Си-Ай-Ди (британской службы информации), писал (15 апреля 1948 года): "Нет сомнения, что евреи, атаковавшие деревню, совершили немало надругательств. Многие из юных учениц местной школы были изнасилованы, а затем убиты. (Здесь следует подчеркнуть, что даже в самых секретных документах Хаганы и свидетельствах ее членов ни разу не упоминается о случаях изнасилования. — Прим. У. Мильштейна.) Издевались также над пожилыми женщинами. Передавался рассказ о молодой девушке, которую разорвали надвое (!) в буквальном смысле этого слова. Было убито немало младенцев. Я видел старуху, которая утверждала, что ей 104 года. Она рассказала, что была избита прикладами автоматов — ей нанесли удары по голове, а с рук сорвали браслеты и кольца. Многие женщины лишились мочки уха, когда с них срывали серьги". Одна из арабских женщин рассказала Катлингу: "Один человек выстре-

лил в шею моей сестре, которая была беременной на девятом месяце, а затем рассек ей живот, как это делают мясники...” Шестнадцатилетняя девушка Халиль рассказала: “Один из атаковавших мечом (?) разрубил надвое моего соседа Джамилля, а затем то же самое сделал на ступенях нашего дома с моим дядей Фатхи”.

Арабы тоже очень много писали о зверствах в Дир-Ясине, и трудно с достоверностью установить, что в этих публикациях просто преувеличение, а что — пропагандистская ложь. Большинство так называемых “показаний очевидцев” опубликовано вне Израиля. Так, в 1981 году одна из арабских газет опубликовала рассказ Арафа Самира, одного из уцелевших жителей Дир-Ясина, впоследствии — иорданского инспектора сети профобучения в Иудее и Самарии до Шестидневной войны. Вот его свидетельство: “В три часа утра деревня была атакована силами Эцеля и Лехи. Караульные, которые были вооружены охотничьими ружьями, не успели сделать даже предупредительных выстрелов — фразы, произнесенные на иврите в столь ранний час, привели их в полное изумление. Примерно в четыре утра на восточной околице деревни началась стрельба. В прошлом британские власти не раз объявляли о комендантском часе через громкоговоритель, и я всегда слышал его, даже находясь на противоположном конце деревни; более того — если кричали из Гиват-Шауля, то и без громкоговорителя можно было услышать этот крик на нашей стороне. Но в тот день мы ничего не слышали — ни громкоговорителя, ни криков. Мы проснулись от звука выстрелов. Первыми жертвами были рабочие, вышедшие спозаранку на работу. Затем началась бомбардировка из легкого миномета, не принеся почти никакого ущерба. А продолжение последовало уже внутри домов. С пяти часов утра до одиннадцати дня происходила систематическая резня. Начался обход домов. На восточном конце деревни ни один дом не избежал жертв. Целые семьи были уничтожены. В шесть утра захватили двадцать одного парня из нашей деревни. Их выстроили в шеренгу около здания школы и расстреляли. Многие из женщин, свидетельницы этой ужасной сцены, потеряли рассудок... Беременная женщина, которая возвращалась домой из пекарни вместе с сыном, была убита после того, как на ее глазах застрелили сына... На одном из захваченных домов был установлен пулемет, который косил всех, попадавших в поле зрения. Мой двоюродный брат

вышел узнать, что случилось с дядей, получившим пулю за несколько минут до того, и тоже был убит. Его отец, вышедший вслед за сыном, был расстрелян из того же пулемета, а мать, которая хотела узнать, что с ее семьей, нашла свою смерть рядом с ними... Был убит сторож-араб из Гиват-Шауля, пришедший узнать, что происходит. Девяносто четыре трупа — итог того дня... А в одиннадцать часов начался сбор пленных. Их собирали до девяти вечера и на грузовиках отправляли в Гиват-Шауль, а оттуда в Старый город..." Это пример свидетельства, в котором вымысел и противоречия вполне очевидны.

10. Шествие пленных. Многие из бывших членов Эцеля и Лехи, с которыми я беседовал в ходе подготовки этого исследования, утверждали, что исключительные случаи в Дир-Ясине были малочисленны и не отличались от аналогичных исключений, имевших место в ходе многих боев Войны за Независимость и последующих войн. "В войнах, которые вели весьма просвещенные народы, вроде англичан, французов и американцев, — продолжали они, — происходили вещи и пострашнее". Эти люди утверждали также, что Хагана и Рабочая партия намеренно раздули это дело, чтобы опорочить Эцель и Лехи. Вот что рассказал Иуда Лapidот: "Сразу же после захвата деревни ко мне явился некто, представившийся как доктор Авиغدори, врач Красного креста, и попросил разрешения осмотреть деревню. Я выдал это разрешение и прикрепил к нему провожатого. После обхода местности доктор Авиغدори отозвал меня в сторону и объяснил: "Я послан Сохнумом, чтобы написать отчет о том, как "отколовшиеся" надругались над трупами погибших в Дир-Ясине. Я осмотрел трупы и не нашел никаких следов надругательств". Неподалеку стоял Птахия Заливанский, и доктор Авиغدори повторил ему то же самое". Сам Заливанский добавляет: "Я просил доктора Авиغدори письменно подтвердить свое заявление, но доктор сказал, что сейчас сильно возбужден и ему трудно на месте сформулировать свои соображения. Он предложил встретиться через несколько дней. Но за эти несколько дней нас уже успели обвинить и в Стране, и во всем мире, и когда я позвонил доктору, он сослался на занятость и нехватку времени... В конце концов, я отказался от намерения встретиться с ним. Я полагаю, что он находился под сильным давлением, которому не смог противостоять..."

Непосредственных свидетелей резни в Дир-Ясине было немного, но слухи о ней немедленно поползли по всему Иерусалиму,

поскольку грузовики, доставившие в город захваченных в деревне пленных, видели сотни людей. Эти грузовики проехали по улицам в триумфальном "шествии" и в ряде мест — например, в районе рынка Махане-Иуда — собравшиеся еврейские толпы издавали при виде пленных восторженные крики. Вот что писал об этом "шествии пленных" Мордехай Раанан: "Мы посадили пленных в грузовики и за четыре-пять ходок перевезли всех людей кратчайшим путем к Яффским воротам. В Иерусалиме все уже говорили о падении Дир-Ясина, и люди на улицах приветствовали нас с воодушевлением. Это проявление добрых чувств со стороны горожан больно задело людей Хаганы, и они решили использовать случай с грузовиками, чтобы нас опорочить..."

А вот версия "людей Хаганы", изложенная в отчете, который был направлен Давиду Шалтиэлю: "Лехи и Эцель провезли по городу в грузовиках арабских пленных под восторженные крики горожан, не знавших (?!), что в грузовиках находятся женщины, дети и старики..." Далее в том же отчете говорится: "Следует использовать содержание этого отчета в целях разъяснительной работы, дабы расшатать веру в "отколовшихся" — как в плане их боевой готовности, так и в плане моральном".

Заметим, наконец, что медицинская комиссия, направленная в Дир-Ясин по решению Сохнута (Еврейского Агентства), посетила деревню 12 апреля. В отчете комиссии сказано, что на трупах, которые к тому времени еще не были преданы земле, не обнаружены признаки надругательства и насилия.

11. Моральные и политические последствия. Сообщения о резне в Дир-Ясине, появившиеся в еврейских газетах уже в воскресенье, 12 апреля 1948 года, потрясли многих евреев; нарушение человеческих и еврейских норм ведения войны всколыхнуло страсти. Иерусалимский штаб Хаганы 12 апреля выпустил листовку со своей версией событий. В ней говорилось, что Дир-Ясин был мирной деревней, атаковать которую не было никакой необходимости. Дальше следовало: "Эцель и Лехи целый день занимались преднамеренной и планомерной резней женщин и детей... имели место также случаи грабежа и мародерства".

Эцель и Лехи ответили своей листовкой, в которой предали гласности, в частности, такую фразу из письма Шалтиэля: "У меня нет никаких возражений в связи с предпринимаемой вами операцией". В этой же листовке утверждалось, что Хагана просила согласовать время атаки на Дир-Ясин со временем ее атаки на

Кастель. Исраэль Галили немедленно запросил Шалтиэля телеграммой: "Ты действительно писал Эцелю по поводу Дир-Ясина?! Ведешь ли ты с ними переговоры? Это следует немедленно прекратить!" На это Шалтиэль ответил: "Я принял решение в отношении их операции, учитывая соотношение наших сил и настроение "еврейской улицы" в Иерусалиме. Я бы запретил им действовать, но у меня не хватало сил".

Еврейское Агентство гневно заклеимило Эцель и Лехи. Верховные раввины Израиля, Герцог и Узиель, наложили на участников атаки "херем" (религиозное проклятие). Но кроме морального аспекта руководителей ишува беспокоили также возможные политические последствия произошедшего. Были опасения британских репрессий и потери престижа в глазах мирового и еврейского общественного мнения; но, по-видимому, главную тревогу вызывала возможность разрыва трансйорданским королем Абдаллой негласного соглашения с Голдой Меир. До провозглашения государства Израиль оставалось пять недель, и в назревавшей войне Израиля с арабами многое зависело от поведения Абдаллы. 11 апреля Арабская лига призвала Абдаллу "во имя жертв Дир-Ясина" вмешаться в судьбы Палестины. На следующий день Сохнут направил ему письмо, в котором гневно осуждал резню, назвав ее "варварской акцией, идущей вразрез с духовными ценностями еврейского народа, его моралью и культурным наследием", а также призывал короля, в случае непредотвратимости арабо-еврейского конфликта, соблюдать нормы ведения войны, принятые цивилизованными странами. В ответной телеграмме Абдалла писал: "Случай в Дир-Ясине — это один из факторов, который повернет события в ином направлении..." Известно, что у Абдаллы были намерения после Дир-Ясина послать свои войска на защиту других арабских деревень, но британские власти отговорили его от этого. Известно также, что так называемая "Арабская армия спасения" подумывала об организации ответной резни в еврейских поселениях Мишмар-А-Эмек, но, к счастью, еврейская оборона оказалась там такой сильной, что этот план так и не был осуществлен.

12. Как и почему? "Дир-ясинское дело" было порождением определенных обстоятельств. Большинство из них не были исключительными; исключительным и ужасным оказалось их стечение.

Вот какие факторы переплелись между собой, приведя, в конечном счете, к дир-ясинской резне:

1. Несогласованность или вообще раздельность действий Хаганы, Эцеля и Лехи.

2. Концентрация в Иерусалиме относительно больших сил Эцеля и Лехи и огромная поддержка их иерусалимскими евреями.

3. Слабость Хаганы и ее командиров в Иерусалиме.

4. Бездействие Эцеля и Лехи в период, предшествовавший нападению на Дир-Ясин, и, как следствие, их зависть к Хагане, проявившей в это время активность в боях за Кагель и операции "Нахшон".

5. Отсутствие боевого опыта и неумение вести бой за населенный пункт у членов Эцеля и Лехи, а отсюда — просчеты в планировании и проведении операции.

6. Упорное стремление Эцеля и Лехи захватить деревню несмотря на большое количество раненых и позиционное преимущество обороняющихся, а отсюда — большие потери среди мирного населения уже в ходе боя.

7. Слабость арабского командования, отвлеченного боями за Кагель и потому не пришедшего на помощь Дир-Ясину.

8. Отсутствие британского вмешательства, вызванное подготовкой к эвакуации из Палестины.

9. Помощь Пальмаха в окончательном захвате деревни.

10. Слабый контроль командиров Эцеля и Лехи за действиями подчиненных, которые, со своей стороны, жаждали мести и не только за погибших и раненых товарищей, но и за все жертвы, понесенные евреями с начала войны.

Все документы и свидетельства, собранные мною в ходе этого исследования, показывают, что именно эта жажда мести была главной причиной резни в Дир-Ясине. Резня эта не была, как утверждают некоторые, запланирована заранее. Но она и не была "продиктована необходимостью", как утверждают отдельные бывшие члены Эцеля и Лехи сейчас.

ИСТОРИЯ

Одно из немногих слов, которыми великий и могучий русский язык обогатил мировую лингвистику, — “погром”, — к сожалению, означает не только русское явление. Достаточно вспомнить погромы в цивилизованной Франции и французском Алжире в эпоху дела Дрейфуса. Но ни в одной стране в новейшей истории погромы не стали настолько обычным явлением, как это случилось в России в конце XIX-начале XX веков (за исключением, естественно, фашистской Германии). Но тема моей работы — не сами погромы, их история и причины возникновения, а еврейская самооборона во время погромов. Поэтому она и написана в виде хроники погромов — и самообороны.

Первый погром в России произошёл в 1821 году в Одессе. Поводом к нему послужила резня греков в Константинополе и убийство там православного патриарха Григория. После символических похорон Григория в Одессе, под воздействием ложных слухов о том, что евреи также принимали участие в издевательствах над православной церковью и избиении греков, греки и примкнувшие к ним русские бросились бить евреев и грабить их имущество. В этом погроме проявились черты многих будущих погромов в Рос-

Леонид Прайсман

ПОГРОМЫ И САМООБОРОНА

сии: достаточно любого ложного слуха, и толпа бросается громить. Евреи же ведут себя по старинке и не сопротивляются. Журнал "Еврейская старина" писал в 1911 году об этом погроме: "Мы хотим сообщить со слов старожилов, что многие евреи в роковой день скрывались в пригородах, переживая смертельный страх в ожидании грозы".

Погромы 1839 и 1862 годов в Одессе и Аккермане возникли, в первую очередь, из-за ненависти к евреям со стороны местного греческого населения. Первый погром, во время которого евреи пытаются защищаться организованно, — это одесский погром 1871 года. Под руководством студентов местного университета создаются первые, пока еще очень слабые отряды самообороны. Отношение образованной части русского общества к погрому не меняется. Светские дамы, офицеры, интеллигенты приезжали в каретах и смотрели на погром, как на какое-то веселое зрелище.

Но эти погромы были еще отдельными, частными вспышками. После же смерти Александра II, в 1881 году убитого террористами Народной воли, погромы приняли характер эпидемии и показали евреям, в каком страшном окружении им приходится жить. Причины погромной волны 1881—1883 годов отличались большим разнообразием, часто они были довольно противоречивыми. Здесь и застарелая ненависть украинского и русского населения юга России к евреям, и широко распространенные убеждения, что евреи убили царя-освободителя, и... активная пропаганда народников (как членов "Народной воли", так и "Черного передела"), готовых поднять народное движение на какой угодно почве, в том числе и антисемитской.

Погромы охватили всю черту оседлости, за исключением Литвы и Белоруссии, губернатор которых, герой Крымской и Русско-турецкой 1877—1878 годов войн Тотлебен заявил, что он не допустит погромов. Погромы 80-х годов отличаются от погромов 1-й русской революции. В первую волну погромов было сравнительно мало убийств — "всего" каких-нибудь несколько десятков человек, куда меньше зверств. Один из очевидцев погромов в XIX и XX веках так сравнивал их, когда писал об Одесском погроме 1871 года: "Он (погром) не отличался жестокостью и диким изуверством грядущих погромов, до повальных убийств, до вколачивания гвоздей в черепа, до насилования дочерей в присутствии матерей, до распарывания животов беременных женщин

тогда еще не дошло". Пока еще, за исключением погрома в Балте, солдаты и полиция не принимали непосредственного участия в погромах, но часто они действовали недостаточно энергично и начинали разгонять погромщиков на третий, в лучшем случае на второй день погромов. В отличие от погромов 1905 года, войска в ряде случаев применяли оружие и открывали огонь по погромщикам. Но в целом войска вели себя очень нерешительно, и это создавало у народа впечатление, о котором один из генерал-адъютантов, командированный для расследования причин погромов, писал: "...У массы создалось впечатление, что если начальство не останавливает нападение на евреев, то это дозволено, разрешено самим царем". Арестованные после Киевского погрома были искренне уверены, что "...дозволено трое суток потешаться над жидами", что за это "ничего не будет, а поживиться нашему брату не мешает".

Первый погром 80-х годов произошел в Елисаветграде. В нем, в основном, принимала участие городская чернь и крестьяне. В отчете правительственной комиссии говорится: "К вечеру беспорядки усилились благодаря прибытию в город целой массы крестьян из близлежащих деревень с целью поделиться еврейским добром". Евреев в городе пятнадцать тысяч, но они совершенно не готовы к погрому, никакой еврейской самообороны нет и в помине. Были отдельные случаи, когда евреи защищали свое имущество, их и убивали, и на этом все кончалось. Изнасилований и убийств в этом погроме не было — все впереди. На третий день погром был прекращен после вмешательства войск.

Вслед затем погромы вспыхивают по всей Украине. Очень часто инициаторами погромов являются приехавшие по железной дороге великорусские рабочие и босяки, прозванные "босой командой". Они соединяются с местными погромщиками.

Ряд фактов свидетельствует о том, что "босая команда" была связана с представителями местной администрации или влиятельными местными жителями. Например, ни один из членов "босой команды" не был арестован, хотя за участие в погромах под суд были отданы тысячи. Видимо, их всегда предупреждали заранее о дне, когда власти вмешаются, и они уезжали.

В апреле 1881 года мы встречаемся с первым случаем еврейской самообороны. В Бердичеве евреи подкупили местного полицмейстера, и он разрешил им организовать многочисленную еврейскую стражу, вооруженную дубинками. Отряды еврейской самообороны дважды встречали на вокзале поезда с "босой командой" и не дали им высадиться в Бердичеве. Но далеко не всегда попытки самообороны были столь успешными. Во время Конотопского погрома, участниками которого были в основном железнодорожные рабочие, оборона со стороны евреев заставила толпу перейти от грабежа к убийствам. Вообще еврейская самооборона не разрешалась полицией, и во время погромов ее члены арестовывали куда более ак-

тивно, чем погромщиков. Завершением весенней погромной кампании был трехдневный погром в Одессе. Учитывая особый характер одесского населения, многочисленный портовый сброд, готовый на любые зверства, погром мог иметь страшный характер, если бы не хорошо организованная еврейская самооборона под руководством студентов местного университета. Отряды самообороны сумели отстоять целый ряд еврейских кварталов. Вооружены они были, в основном, дубинками и железными палками. Револьверы были у немногих. В самообороне принимало участие довольно большое количество людей. Полицией было задержано 150 человек. Полиция и войска довольно энергично разгоняли толпы погромщиков, но это произошло только после вмешательства иностранных консулов, обеспокоенных угрозой для жизни и имущества подданных своих стран. Иностранное вмешательство, как видим, всегда мешало русским властям вести себя с евреями по-русски.

Летом 1881 года погромы происходят в небольших городах и местечках Украины. В ряде мест погромщики переходят от грабежей к резне. С самообороной мы практически не сталкиваемся. Войска в ряде случаев действуют активно, и, понеся потери убитыми и ранеными, погромщики разбегаются.

В декабре 1881 года произошел трехдневный погром в столице Царства Польского Варшаве. Погром был явно организован извне. И польская общественность просила разрешения организовать гражданскую стражу, гарантируя, что они наведут порядок за один день. Но это разрешение им не было дано. Это был первый погром в Польше, и евреи его не ожидали. Однако на улицах, густо населенных евреями, они активно защищались, и погромщики понесли потери (среди них были раненые), отступили и больше на этих улицах не показывались. По заведенному шаблону войска вмешались только на третий день, но уже было разрушено и разграблено 1,5 тысяч еврейских квартир и торговых помещений.

Наиболее страшный погром 80-х годов — Балтский — произошел в конце марта 1882 года. Балтский погром как по своим зверствам (было убито и тяжело ранено 40 евреев, легко ранено 170), так и по прямому участию солдат и полицейских в погроме (многие из них будут отданы затем под суд, а двое из них даже приговорены к смертной казни, правда, не приведенной в исполнение), является преддверием нашего просвещенного XX века. Еврейское население Балты втрое превышало христианское. Самооборона организована не была, так как жители опасались мер администрации и надеялись на помощь войск и полиции. Просто отдельные семьи тайно договаривались между собой помогать друг другу. Первая попытка организовать погром закончилась полным провалом. Быстро собравшиеся евреи заставили громил отступить и укрыться в здании пожарной команды. Но солдаты и полиция выпустили их из убежища и стали прикладами разгонять евреев. Количество погромщиков резко увеличилось. Тем не менее громить евреев в этой части города, даже под прикрытием солдат, они не решались. Вместо этого толпа направилась через мосты в так называемую Турецкую сторону, где было меньше евреев. Все три моста на Турецкую сторону были перекрыты цепью солдат, пропускавших городских погромщиков и прибывших к ним на помощь деревенских громил. А евреев, стре-

мившихся оказать помощь своим избиваемым собратьям, они не пропустили. Турецкая сторона была разгромлена. На следующий день в город прибыли многотысячные толпы крестьян, соединившихся с городскими погромщиками, к которым примкнуло много солдат и полицейских. Город был разгромлен полностью. Балтский погром был одним из последних погромов 80-х годов. Напуганное бурными действиями черни правительство решило прекратить неофициальные погромы и преследовать евреев официальным путем. Издаются знаменитые Временные правила 1882 года, закрывшие для евреев все деревни черты оседлости. В конце 90-х годов русским евреям вновь напомнили, в какой стране они живут. 18 и 19 февраля 1897 года в местечке Шполе Киевской губернии, а 16 и 17 апреля в местечке Каптакузенка Херсонской губернии местные жители и приезжие крестьяне полностью разгромили все магазины и дома, принадлежащие евреям. Жители заранее знали о погроме, но не готовились к защите, а связывали свои надежды с местными властями, которых они заранее предупреждали о погроме. Но губернаторы с отрядами солдат появились слишком поздно, когда все было кончено.

В 1899 году произошел трехдневный пасхальный погром в Николаеве. Самообороны нет. Власти подавляют погром (как уже принято) на третий день. Когда десятитысячная крестьянская армия прибыла на третий день на телегах для грабежа еврейского имущества, было уже поздно, и в город их не пустили. Крестьяне решили выместить свое зло на окрестных еврейских жителях, крестьянах в еврейских земледельческих колониях. Но удалось разгромить только одну колонию. В остальных евреи отстояли себя и отогнали крестьян.

В начале XX века была предпринята попытка организовать пасхальный погром в Екатеринославе (в 1901 году). Отряды еврейской самообороны были созданы местной организацией "Поалей Цион" — рабочей партией, примыкающей к сионистам. Во главе самообороны стоял В. Борохов. После ряда стычек, которые всюду заканчивались поражением погромщиков, последние бежали и погром не состоялся.

Погромы XX века открываются страшным Кишиневским погромом, произошедшим в пасхальные дни 1903 года. Это был один из самых диких погромов в России. 45 убитых евреев, 86 тяжело раненых или изувеченных, 500 человек раненых легко. Зверства явно превосходили все, что было раньше. Людям вбивали гвозди в голову и выкалывали глаза. Женщинам распарывали живот и отрезали груди. Маленьких детей выбрасывали из чердаков, разбивали им голову о камни.

Кишиневский погром вошел в историю как образец беспримерной жестокости русских и молдаван с одной стороны и еврейской трусости с другой. Известны гневные стихи Бялика на этот счет. С. М. Дубнов писал по поводу Кишиневского погрома: "Смертельно запуганные кишиневские евреи не решились даже в последнюю минуту оказать сопротивление убийцам и дорого продать

свою жизнь". Нам такая оценка представляется неправильной. Нужно сказать, что погрома в Бессарабии ожидали давно. На страницах единственной выходящей в Бессарабии газеты "Бессарабец", которую издавал антисемит Крушеван, велась антисемитская пропаганда. Погром готовили как представители местной администрации во главе с вице-губернатором Устюговым, так и агенты центральной власти, которую представлял посланец министра внутренних дел Плеве, жандармский офицер Левендаль. Евреи со своей стороны готовились к отпору. В начале века в России уже действовали многочисленные сионистские организации, и они взяли организацию самообороны в свои руки. Самооборона стояла на несравненно более высоком уровне, чем в 80-е годы. Первая попытка погрома была предпринята в Дубоссарах, но там погром не удался, так как еврейская самооборона в самом его начале разогнала громил. Руководитель бессарабских сионистов Бернштейн-Коган рассказывает, как руководимый им сионистский союз готовился к отражению погрома в Кишиневе: "Различные еврейские группы готовятся встретить погром. Раввин с помощниками идут к главе православной церкви... Молодежь реагирует по-другому: собирается, волнуется, добывает из-под земли оружие, назначаются квартиры под штаб обороны и для ударных батальонов прокладывается телефонная связь. А в моей квартире главный телефон, и место встречи, и приемы известий". Полиция знает об этом и понимает, что если не принять мер, то жертвами погрома станут сами погромщики. Поэтому уже в первый день погрома, в воскресенье, 6 апреля, в первый день христианской пасхи, "в четыре часа все роты самообороны были разоружены и стеснены в большие дворы, там членов самообороны арестовали и отправили в полицию".

Таким образом, уже в самом начале погрома евреи остались без своих лучших организованных сил. Вечером первого дня погрома группа евреев, вооружившись палками, попыталась отогнать бандитов. Войска однако отнимают это так называемое оружие у евреев, и погром продолжается беспрепятственно. Поражает совершенно равнодушное отношение русской интеллигенции к этим зверствам. Погода была хорошая, и вечером первого дня погрома центральные улицы были полны гуляющих чиновников, учащихся, адвокатов, врачей, но никто из них не пытался остановить погром. Наоборот, они равнодушно, а часто сочувственно следили за погромщиками.

Погром в Кишиневе отчетливо показал евреям, что они могут рассчитывать только на себя. Им неоткуда было ждать помощи: ни от правительства, ни от общественного мнения. По всей черте оседлости начинают организовываться кружки самообороны. Большую роль в их создании сыграл призыв известных писателей и публицистов, таких как Ахад-Гаам, Бен-Ами, Дубнов. В воззвании содержится страстный призыв к подъему национального духа и к организации самообороны. Вот выдержки из него: "Резня в Кишиневе — вот ответ на все наши слезы и мольбы. Неужели и в будущем мы решили ограничиться только слезами и мольбой. Позорно для тысяч душ полагаться на других, подставляя шею под топор палача и кричать о пощаде, не испробовав свои силы, чтобы защитить своё имущество, честь и саму жизнь". Воззвание заканчивалось следующими словами: "Нам нужна повсюду, где мы проживаем, постоянная организация, всегда готовая встретить врага в первую же минуту и быстро созвать к месту погрома всех, в ком есть силы восстать перед опасностью". Призыв был услышан. Создание самообороны идет ускоренными темпами. Во главе этого процесса стоят сионисты и партии, примыкающие к сионистам — сионисты-социалисты и "Поалей Цион". Создаются организации самообороны. С большим трудом добывается оружие. Действовать приходилось в необыкновенно сложных условиях. Царское правительство в лице министра внутренних дел Плеве решительно выступило против организации еврейской самообороны. Уже в конце апреля 1903 года Плеве рассылает циркуляр губернаторам, в котором пишет: "Никакие кружки самообороны быть не должны". Начинаются аресты участников самообороны, конфискуют с трудом добытое оружие. И все же самооборона готова к отпору, что и показал следующий еврейский погром, вспыхнувший в сентябре 1903 года в Гомеле. На сей раз поводом к погрому послужила базарная драка между евреями и крестьянами, во время которой один из крестьян был убит. Первыми против евреев выступили железнодорожные рабочие, к которым вскоре примкнули толпы каменщиков и просто босняков; впрочем, среди погромщиков было и несколько студентов. На Конной площади громили встретили отряды еврейской самообороны численностью в несколько сот человек, вооруженных револьверами и холодным оружием. Большинство отрядов было организовано партией "Поалей Цион". Во главе стоял И. Ханкин. По свидетельству оче-

видцев самообороне удалось бы с самого начала подавить погром, если бы на площадь не прибыли войска, которые тут же открыли огонь по силам самообороны. Сразу трое были убиты и несколько человек ранено. Погром мог продолжаться только под прикрытием солдат, которые пулями и штыками отгоняли бойцов самообороны. Всюду, где евреи прорывались сквозь солдатские цепи, они рассеивали погромщиков, нанося им потери. Погром дал другие, совсем не кишиневские результаты. 12 убитых и тяжело раненых евреев, 8 убитых и тяжело раненых христиан. Арестовано было куда больше евреев, чем нападавших на них русских, причем царское правительство на процессе о Гомельском погроме пыталось представить дело так, что это евреи, якобы, хотели устроить русский погром. Благодаря талантливым представителям защиты (на процессе представлен весь цвет еврейской адвокатуры) из этого навета ничего не вышло. Гомельский погром надолго остался в памяти погромщиков. Вместо избиения беззащитных людей — тяжелый бой, в котором только благодаря активным действиям войск толпы громил не были разогнаны. В тогдашних газетах приводили следующие разговоры погромщиков: "Бывало, побьешь жидка или плюнешь ему в рожу, — он ничего, отойдет, сейчас смотрю, как они всякими машинками американскими бьют, только их немного заденешь". Не случайно даже в страшном для евреев 1905 году в Гомеле не было ни одного погрома и только в январе 1905 года город был сожжен и разгромлен (но в этом погроме активную роль сыграли уже казачьи войска). Перед тем, как закончить рассказ о Гомеле, мне хотелось бы сказать, что наиболее активные еврейские бойцы во главе с И. Ханкиным уезжают впоследствии из Гомеля в Палестину и там создают первые военизированные организации, взявшие на себя защиту евреев от арабских банд — "Бар Гиора" и "Ха Шомер".

Мужество, проявленное гомельскими бойцами, зажигает десятки тысяч человек. В Киеве в отряды самообороны вступает 1,5 тысяч человек. В Одессе несколько тысяч. Из-за нехватки оружия и боеприпасов всех людей нельзя использовать. По сути, в этом и не было необходимости. При условии, что полиция и войска хранят нейтралитет, вполне достаточно нескольких сот человек в большом городе и нескольких десятков в маленьком, чтобы подавить в зародыше саму идею погрома. Но для войны и с погромщиками, и с армией и полицией сил самообороны было явно недостаточно. Впрочем, погромщики при отпоре очень ча-

сто вели себя необыкновенно трусливо. Погромы для этих людей — были своего рода праздником (не случайно столько погромов выпадало на дни христианской Пасхи), во время которого они хотят убивать, жечь, грабить, насиловать, а совсем не рисковать своими жизнями. В то же время для евреев — членов самообороны — их борьба являлась очень часто единственной надеждой защитить своих близких от избиения и поругания. Интересно, что в некоторых, правда, редких случаях, регулярные войска предпочитали не иметь дело с силами еврейской самообороны и обрушивали свою ярость на кварталы, в которых самооборона была менее эффективной. Так было, в частности, в Белостоке, но об этом чуть ниже. Надо сказать, что хотя необходимость создания самообороны после Кишинева понятна почти всем евреям, инициаторами в деле ее создания выступили сионисты. Именно сионисты создали первые отряды самообороны, которые смогли в Екатеринославе в 1902 году и в Дубоссарах в 1903 году подавить в зародыше попытки погрома. Все писатели, кроме Дубнова, подписавшие вышеуказанное воззвание, были сионистами. Именно сионисты стали претворять это воззвание в жизнь, апеллируя к национальным чувствам как сионистов, так и несионистов. Сионисты (практически без помощи других еврейских кругов) смогли создать организации самообороны в таких крупных центрах как Киев, Одесса, Екатеринослав, Ростов, Елисаветград, Николаев, Минск, Варшава. В Киеве, Одессе, Варшаве были предприняты попытки организации обороны целого округа. Существовала даже идея создания единой всероссийской организации еврейской самообороны, но из-за активного противодействия полиции эти идеи не были осуществлены.

До Кишиневского погрома отношение крупнейшей партии еврейских рабочих "Бунда" к идее создания еврейской самообороны было резко отрицательным. Бунд считал своей основной целью борьбу с самим самодержавием, допускающим еврейские погромы. Организация же еврейских отрядов самообороны была с точки зрения Бунда мелкобуржуазной затеей, способной привести к "затуманиванию классового сознания и ослаблению классовой борьбы". После Кишиневского погрома Бунд отходит от этой позиции. Бунд создает группы самообороны из членов своей партии, под своим партийным флагом. Но к совместным действиям с отрядами, даже состоящими из представителей левых рабочих сионистских партий, таких как Поалей Цион, бун-

довцы явно не стремятся. А во время революции очень часто вместо борьбы с погромщиками бундовцы открывают огонь по сионистам. Меняется отношение к погрому и со стороны еврейской буржуазии. Если до Кишиневского погрома буржуазия и слышать не хотела о пожертвовании каких-либо денежных средств на самооборону, надеясь, с одной стороны, на защиту войск и полиции и опасаясь, с другой, что эти средства попадут в руки революционеров, то к 1905 году буржуазия активно участвует в создании сил самообороны и жертвует на них большие средства.

Следующая волна погромов проходит в августе-сентябре 1904 года в небольших городах Украины и Белоруссии. Погромы устраивают мобилизованные на фронты русско-японской войны. Но до врага "внешнего" — японцев — далеко, и пока они начинают громить врагов "внутренних" — евреев. Наиболее страшный характер носил погром в городе Александровске Херсонской губернии 6—7 сентября. Пьяная толпа ворвалась в синагогу, в которой было очень много народу (Йом Кипур), и зверски избила двадцать человек. Часть из них, в том числе несколько гимназистов и студентов, вскоре умерли от ран. Поскольку эти погромы проходили, в основном, в маленьких городах и местечках, с самообороной мы здесь не сталкиваемся. Русская либеральная печать с удивлением указывала на обстоятельства, о которых мы уже упоминали: "Уже теперь можно отметить две резко выдающиеся черты этой картины. Одной из них является странное бездействие местных властей, нигде не применявших своевременных мер для предупреждения и прекращения возникавших погромов. Другой характерной чертой развернувшейся перед нами картины погромов является безучастное поведение местной интеллигенции. Массы этой интеллигенции по-видимому спокойно смотрели, как рядом с ними грабят, избивают и убивают беззащитных людей, и не считали нужным выйти из своего пассивного состояния и дать энергичный отпор темным силам, которые подготовили и осуществили это жестокое преступление, налагающее позор на русское имя".

Но все эти погромы были только первым вестником той страшной грозы, которая обрушилась на русское еврейство во время Первой русской революции. Царские власти явно намеревались утопить русскую революцию в еврейской крови, направив весь гнев русского народа не против действительных виновников его тяжелого положения, а против евреев. Это оказалось довольно просто сделать, так как антисемитская истерия широких слоев русского народа принимает гигантские размеры. Первые попытки погрома в годы революции были предприняты 18 и 19 апреля в Мелитополе, а 22 апреля в Симферополе. Эти попытки закончились полным провалом. Еврейская самооборона (а в Мелитополе ей пришла на помощь и образованная русская молодежь) разогнала погромщиков. Власти поняли, что без помощи войск подавить самооборону им не удастся. Урок был усвоен, и во время следующего погрома, в Житомире, войска с оружием в руках выступили против самообороны. Погром длился четыре дня. Поводом к нему послужил распущенный властями слух о том, будто евреи

упражняются за городом в стрельбе, используя в качестве мишени портрет царя. Группы самообороны действовали с большой смелостью, прорывались сквозь солдатские цепи и разгоняли погромщиков. Но войска все время вели по ним огонь, и подавить погром самообороны не смогла. Большинство еврейских домов было разрушено, 100 человек ранено, 15 убито, все — члены отрядов самообороны (в их числе русский студент, эсер Блинов, присоединившийся к еврейской самообороне, который был буквально растерзан погромщиками и солдатами, кричавшими: "Хоть ты и русский, но сицилист и хуже жидов, пришел на защиту их") .

Страшная трагедия разыгралась в местечке Троянове под Житомиром. Здесь толпа из нескольких сот человек напала на группу из четырнадцати плохо вооруженных еврейских юношей, направлявшихся из города Чудного в Житомир на помощь своим братьям. Из четырнадцати человек десять были зверски убиты.

Теперь еврейская самооборона была организована по всей черте оседлости. Она представляла собой внушительную силу, и ей удалось предотвратить погромы, которые царские власти и черносотенцы собирались устроить по всей "черте" в ответ на первомайские демонстрации. Однако, силу еврейского сопротивления ослабляло то, что бундовцы отказывались действовать совместно с отрядами, созданными сионистами. Из-за этого в Минске распался объединенный комитет самообороны, куда входили отряды Бунда, РСДРП, социалистов-революционеров, сионистов-социалистов и Поалей Цион. Очень часто вместо того, чтобы бороться с погромщиками, бундовцы вели борьбу с сионистами. В Пинске бундовцы срывали листовки сионистов-социалистов к 1 Мая, в Честонхове был убит бундовцами сионист-социалист Буссель, в Томашове бундовцы стреляли в окна квартиры, где проходило собрание сионистов-социалистов. А драки между рабочими-бундовцами и рабочими-сионистами происходили очень часто, причем раненые были и с той, и с другой стороны. Даже советский историк 20-х годов Бухбиндер, относящийся к сионистам, как и принято советскому историку, резко отрицательно, осуждает такую позицию Бунда. Он писал: "Непримиримой была позиция Бунда в отношении сионистско-социалистического лагеря. Это не вязалось с общей политической позицией Бунда. К 1906 году эти группы участвовали в революционной борьбе и по своей политической позиции были во всяком случае не хуже ППС, а их ставили правее кадетов. ...Вместо дальнейшего вовлечения их в общую революционную борьбу Бунд своей тактикой политической изоляции лишь сплачивал эти элементы, задерживая процесс дальнейшего расслоения".

Летом 1905 года произошли два крупных еврейских погрома. 30 июня — первый погром в Белостоке, когда солдаты неожиданно открыли огонь по толпам мирных евреев. 50 человек было убито. Через один месяц происходит погром в Керчи, вспыхнувший в ответ на мирную политическую демонстрацию, в которой участвовала и еврейская молодежь. Вооруженная еврейская самооборона, пытавшаяся подавить погром, была расстреляна залпами солдат, убившими сразу около десяти человек. Но настоящая буря разразилась над еврейством после манифеста 17 октября о даровании населению основных политических свобод. Погромы прошли сразу в 660 городах и местечках, и 24 из них произошли за пределами черты оседлости

(правда, ряд погромов вне черты оседлости — в Твери, Томске — не были направлены против евреев). Во время погромов было убито 1000 человек и многие десятки тысяч были ранены и искалечены. Тысячи женщин были изнасилованы, очень часто на глазах матерей и детей. Наиболее кровавый характер погромы носили в Одессе, Киеве, Кишиневе, Кременчуге, Чернигове, Николаеве. Сценарий погромов был довольно прост. В честь манифеста устраиваются шествия на улицах, часто с красными флагами. Среди манифестантов очень много евреев. Неожиданно им навстречу выходит манифестация черносотенцев, среди которых очень много переодетых полицейских. “Патриоты” начинают орать: “Ура, бей жидов, жида против нашего царя, чтобы на его место жида посадить”. Черносотенцы бросаются на демонстрацию, а потом начинается еврейский погром. На улицах много солдат, казаков и полиции, которые охраняют погромщиков от сопротивления еврейской самообороны.

Несколько слов о крупнейших погромах первой недели русской свободы. Самым страшным был Одесский погром. Примерно 300 человек убито, тысячи ранено. Погром начался 18 октября, когда прогрессивные круги, в основном состоявшие из евреев, праздновали свободу. Корреспондент “Русских Ведомостей” — очевидец событий так описывал начало погромов: “Толпы хулиганов разошлись по улицам, где последовательно все опустошали, наполняя карманы и подола платья награбленным добром и ломая все, чего нельзя взять с собой. Все живое, встречаемое на пути, предавалось смерти или изувеченью. Но лишь только группы самообороны начинали стрелять, казаки открывали по ним стрельбу”.

В Одессе были организованы еврейская самооборона и студенческая милиция, состоявшая из евреев и христиан. По свидетельству очевидцев, в первый день самообороны и милиция справлялись с погромом. Свидетель погрома, депутат 1-й Государственной Думы от города Одессы кадет Щепкин говорил в Думе: “Из Одесского погрома я могу привести пример, что в первые дни погрома, покуда войска не стреляли в дома, еврейская самооборона справлялась с погромщиками и вместе со студенческой милицией приостановила на целом ряде улиц погром. Только на второй и третий день погрома, когда отдано было распоряжение стрелять в революционеров, то есть во всех тех, кто смел с оружием в руках обороняться, только тогда оборона и милиция должны были очистить поле действия”. Корреспондент “Русских Ведомостей” дополняет картину: “Целый день продолжалась по городу стрельба. Самооборона преследовала хулиганов, где они появлялись. Хулиганы вооруженно отвечали на выстрелы самообороны. Студенты ловят хулиганов, арестовывают и отправляют в университет, куда доставлено свыше двухсот хулиганов”. Но даже действий войск и казаков оказывалось недостаточно, и тогда власти пускают в ход... артиллерию. Только после этого погромщики действуют без существенных помех. Зверства Одесского погрома напоминают ужасы будущих нацистских жертв: “...в еврейских больницах лежат раненые с отрезанными частями тела. В одной синагоге на Пересыпе хулиганы распоролы живот сыну служки и заставили отца облачиться в религиозные одежды и прочитать над ним молитву. Одного юношу солдаты схватили и приказали ему поднять руки и стоять прямо. Когда он это исполнил, взвод стал целиться. Проходивший мимо

молодой офицер помешал кровавой расправе, но юноша в минуту поседел. На Молдаванке хулиганы убили отца и мать на глазах единственного сына десяти лет. Мальчик сошел с ума. Попытки спастись бегством заканчивались провалом. Уезды под Одессой охвачены погромом. В поездах ехать более чем не безопасно. В одном из поездов, прибывших в Одессу, нашли десять убитых евреев и около двадцати раненых. Избивали как пассажиры, так и железнодорожники. Попытки спастись морем часто заканчивались еще хуже: "По известиям газеты из Бухареста на пароходе, вышедшем из Одессы с пассажирами, бежавшими от погрома, матросы возмущались и потребовали денег от несчастных беглецов. Богатые откупились, а тех, у кого денег не было, выбрасывали в море".

Другим крупным городом юга России, в котором произошел погром, был Киев. С одной стороны, Киев — центр черносотенцев, в котором издается самая погромная газета тогдашней России — "Киевлянин", а киевская городская дума очень реакционно настроена. С другой стороны, в Киеве многотысячное еврейское население и мощная самооборона. Депутат от Киева в первой Государственной Думе барон Штенгель говорил о начале погрома: "В Киеве толчком к погрому послужило обвинение евреев в том, что они будто разорвали царский портрет, и на следующий день распространилось известие — избивли монахов". Погром начался 18 октября. Местные власти, в основном, на стороне погромщиков. Полицейстер Цеховский приветствовал "патриотическую" демонстрацию и кричал: "Бейте жидов и грабьте их". Слова эти были покрыты криком "Ура" и толпа стала качать Цеховского. Генерал Бессонов, начальник одного из отделов охраны, куда входили Подол и Старый Киевский участок, говорил громилам: "Громить можно, но грабить не следует". Войска охраняют погромщиков, казаки прямо говорят: "Мы едем по улицам затем, чтобы никто не стрелял в погромщиков из окон и балконов". Но и в таких тяжелых условиях самооборона дала погромщикам упорный бой. В еврейской самообороне участвуют как бедные, так и богатые евреи. В газетной телеграмме из Киева говорится: "В Липках один из сыновей А. Бродского, студент, выскочил на улицу, стрелял из ружья и убил погромщика. В усадьбе барона Гинзбурга также стреляли из револьверов. А. Бродский и два его сына арестованы. В доме найдено оружие: револьверы, патроны, ружья". Об эффективности самообороны в Киеве говорит, что из семидесяти человек убитых и умерших от ран половину составляли христиане, то есть сами погромщики. Но, естественно, справиться с погромом, когда погромщиков поддерживают войска, еврейская самооборона не могла, и огромное количество еврейских квартир было разграблено.

Далеко не во всех местах еврейская самооборона действовала столь эффективно. В Ростове, Стародубе и ряде других мест самооборона оказалась бессильной перед погромщиками, но в целом евреи дрались героически и, как могли, сопротивлялись погромщикам, которых поддерживали войска и полиция. Поэтому в тех редких случаях, когда на стороне погромщиков не было поддержки войск и полиции, бойцам самообороны удавалось быстро навести порядок. В Витебске солдаты расстреляли еврейскую демонстрацию, радостно приветствовавшую манифест. Но затем события начали развиваться не по знакомому нам сценарию: "Спустя два часа после

того, как манифест был распространен по городу, депутаты от гласных (городской Думы), от коалиционного комитета всех действующих в городе партий были у губернатора. Охрана города была поручена дружинникам самообороны. Патрули сняты, городские уборы. Несмотря на это, порядок нигде не нарушался, исключая одиночные попытки хулиганов на базарах... дружинники являлись на место погрома и хулиганы разбегались от одного их появления”.

Последний погром, на котором я бы хотел остановиться, — это июньский погром в Белостоке в 1906 году. Поводом к погрому послужило убийство неизвестными лицами полицмейстера Деркачева, благожелательно настроенного к евреям. Погром начался 1 июня, когда во время церковной процессии был сделан провокационный выстрел, в котором тут же обвинили евреев. Но поскольку погром вспыхнул одновременно по всему городу, а солдатам за несколько дней до погрома был точно известен день, когда он начнется, то в провокации сомневаться не приходится. На этот раз погром был чисто военный. Войска превратились в погромщиков. Все свидетели погрома из Белостока отмечали, что отношения между христианами и евреями были хорошими, поэтому пришлось прибегнуть к армии. Один из членов думской комиссии, командированный в Белосток, чтобы выяснить, что же произошло на самом деле, прямо заявил: “На тех улицах, где войск и полиции не было, не было и погрома”. Из 82 убитых евреев большинство было убито штыками или выстрелами из винтовок. Погромщики не имеют такого оружия. Вот несколько картин белостокских ужасов из докладов членов думской комиссии. Главный докладчик комиссии Арканзасцев говорит: “В пятницу на квартиру Лейба Гинзбурга, живущего на Нагорной улице, явился околоточный 4-го участка Байбак с солдатами и приказал солдатам стрелять в находившихся там евреев. Солдат выстрелил и убил жену Гинзбурга Хану и ранил сестру Ханы Рахель. Этого мало. Хотя старик Гинзбург упал на колени и говорил: “Разве тебе мало тех, кого ты убил? Довольно!”, — тем не менее Байбак вывел из квартиры Гинзбурга дочь с ребенком на руках и приказал стрелять. Проманхнулся воин — убил ребенка, а не мать”. “Вдруг близ дома Каца был произведен выстрел. Солдаты бросились к дому Каца и стали его обстреливать по всем правилам военного искусства. Они потребовали, чтобы революционеры оттуда выходили, они не решались выходить, потому что они опасались. Наконец дом загорелся. Волей-неволей надо было выходить. Вышли женщины, их отвели в одну сторону. Женщины упали на колени, умоляя войска пощадить их мужей. Если уж решено убивать, то пусть убивают их, а не мужей, так как иначе погибнет семья, дети. Приказано было выходить мужчинам. И вот первым выходит А. Кац. Он убит. Выходит Гробовский с двухлетним ребенком. Какая однако наивность. Думал разжалобить ребенком, взяв его на руки. Ребенок не спас своего несчастного отца. Выстрелили — убили отца и ранили ребенка”. Страшные сцены избиения на вокзале под радостные возгласы образованной русской публики. Русской, а не польской.

А самооборона? Нужно сказать, что она в Белостоке была, но войска предпочитали с ней дела не иметь. Гнездо боевых еврейских отрядов — Суражская улица. Арканзасцев рассказывает о попытке погромщиков появиться на этой улице: “Двинулись было хулиганы туда, в это время

евреи им преподнесли бомбу. Эта бомба была безвредна. Но хулиганы подались назад и предложили полицейским чинам идти. Те отвечают — нет, спасибо, не пойдем. Пожалуйста, солдаты, но и солдаты отказались идти". Точно так же погромщики избегали района Песков и района Аргентины. Депутат-еврей Якубсон совершенно справедливо бросил в лицо русской думы: "Я смело могу сказать, что русско-японская война оказала скверную услугу нашим войскам, она научила их бояться выстрелов. Там, где была возможна стрельба, где ожидалось нападение, там войска и полиция почтительно отступали". Разгромлены были буржуазные районы, где самооборона была слабее, чем в рабочих, в которых действовали отряды Бунда. В буржуазных районах попытки самообороны были поистине равносильны самоубийству, так как приводили к полному разгрому дома, откуда делался выстрел.

Без сомнения, страшная погромная волна, прокатившаяся по всей черте оседлости, вакханалия зверства, в которой приняли участие как массы местного населения, так войска и полиция, ошеломила евреев и полностью повсюду предотвратить погром еврейская самооборона не смогла. Но вооруженные дубинками, а в лучшем случае охотничьими ружьями, еврейские бойцы оказывали героическое сопротивление.

Вне всякого сомнения, царские власти сыграли большую роль в организации еврейских погромов. В департаменте полиции работала настоящая типография под руководством ротмистра Комиссарова, которая забрасывала всю страну сотнями тысяч погромных прокламаций. Комиссаров прямо говорил: "Погром устроить можно какой угодно. Хотите на десять человек, хотите на десять тысяч". В речи в Государственной Думе бывшего товарища министра внутренних дел и бывшего бессарабского губернатора князя Урусова был вскрыт весь механизм организации погромов: "Помощник полицмейстера знал об этих воззваниях, но не докладывал своему начальнику. Приставу 1-го участка это доверие было оказано, но пристав 2-го участка этого доверия был лишен. У какого-нибудь из служащих жандармского отделения вдруг появились какие-то особые суммы. К нему начинали ходить какие-то неизвестные люди (черносотенцы), в городе начинали ходить тревожные слухи, жители начинали разъезжаться. Губернатор их успокаивал, но сам был не всегда уверен в том, что спокойствие будет охранено".

Но мы абсолютно уверены, что департамент полиции не был таким хорошо организованным учреждением, чтобы подготовить в одну и ту же неделю погромы сразу в 660 местах. Нужно иметь в виду, что председатель Совета Министров С. Ю. Витте и министр внутренних дел Дурново были решительными противниками погромов, и вообще сторонниками постепенной отмены ограничи-

тельных законов против евреев, как явствует из речи князя Урусова, да и вообще из всех свидетельств о погромах. Полицейские руководители и представители власти на местах были разные. Наряду с отъявленными погромщиками были и другие, настроенные против них. Распоряжения о погромах часто отдавались помимо высших эшелонов власти представителями придворной камарильи. Во главе ее стоял Трепов. И Урусов не случайно говорил, что "никакое министерство, будь оно даже взято из состава Государственной Думы, не сможет обеспечить порядок и спокойствие, пока какие-то неизвестные нам люди или темные силы, стоящие за недостигаемой оградой, будут иметь возможность хвататься грубыми руками за отдельные части государственного механизма, изощрять свое политическое невежество опытами над живыми людьми, производить какие-то политические вивисекции".

Таким образом, в отношении погромов мнение администрации, как ее верхних, так и низовых звеньев, разделилось — одни были "за", другие "против", одни организовывали погромы, другие им мешали. При таких обстоятельствах можно было устроить погром только при одном условии: когда подавляющая масса нееврейского населения рвется в погром, стремится избивать евреев. Там, где отношение к евреям к этому времени еще не достигло такой ненависти, погромов не было. Например, в Царстве Польском в 1900—1907 годах не было ни одного погрома. (Погромы в Белостоке не в счет, так как там не было гражданских погромщиков, а громила армия.) Мы абсолютно уверены, что и без провокации властей погромы все равно были бы. Пусть не такие большие, пусть меньше числом, но они были бы. Из всех свобод, дарованных русскому народу, он понял только одну, о которой нет ни слова в манифесте, — свободу беспрепятственно резать и громить евреев. За страшные погромы 1905 года несет ответственность не только и не столько администрация, сколько само русское и украинское население черты оседлости. Наибольшее зло, которое совершили царские власти, заключается не в организации погромов, а в охране и защите погромщиков.

РУССКИЙ ВОПРОС

Мне несколько неудобно выступать с этим сообщением на симпозиуме по научной фантастике, но на самом деле я думаю, что Михаил Сергеевич Горбачев вполне может рассматриваться как персонаж фантастический. Он имеет на это все права. Мое выступление — как бы собрание “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”, и не представляет собой упорядоченного целого, но это как-то соответствует и объекту, поскольку он сам по себе хаотичен, спонтанен и довольно динамичен во всех своих проявлениях. А посему мой доклад неизбежно будет иметь характер ненаучного импрессионизма, за что я заранее приношу извинения.

Итак, меня интересует Горбачев как религиозный оратор и религиозный мыслитель.

Мысль о глубокой религиозности Горбачева пришла мне в голову после того, как я ознакомился по советскому телевидению с некоторыми его крайне занимательными выступлениями и свыкся с их стилем. Нужно помнить, что очень многие из политических мифов нашего времени, очень многое из политической риторики имеет глубочайшие корни в религиозном мышлении, причем самом архаичном. В качестве примера, чтобы как-то разогнать эту тему,

Михаил Вайскопф

РЕЛИГИОЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА

(доклад на симпозиуме по научной фантастике в Иерусалиме, организованном журналом “22” в ноябре 1986 года)

я приведу хотя бы советское отношение к евреям. Есть два отношения к евреям. Одно — это “сионистский заговор”, другое — что еврейского народа вообще нет. Обе точки зрения каким-то образом гармонично совмещаются, хотя иногда и вступают в конфликт. Однако легко заметить, что такая двойственность восходит к очень давнему онтологическому отношению христианства к дьяволу вообще. Дьявол существует, он деятельный враг, — и дьявола нет, он просто отсутствие блага. Поэтому еврейского народа, как такового, нет, но — есть зато “сионизм”, который представляет собой агрессивное демоническое начало.

А теперь обратимся к Горбачеву как живому примеру актуализации архаических религиозных представлений в наше счастливое время. Прежде всего я хочу напомнить, с чего начал свою деятельность Михаил Сергеевич. Он начал с борьбы. Он начал немедленно бороться с пьянством, это была первая сторона его деятельности, а вторая называлась “ускорением”, или перестройкой человека. Эти две миссии Горбачева тесно между собой связаны.

Как известно, в официальной культуре пьянство имеет очень четкие мифологические коннотации. Оно традиционно воспринимается как некая диверсия дьявола в душу человека. Недавно профессор Серман на материале русской литературы шестнадцатого-семнадцатого веков, в частности — “Повести о Горе-Злочастии”, очень убедительно показал, что сюжет о пьянстве, как грехе, четко контаминировался с сюжетом о блудном сыне. Блудный сын — это тот, кто пьет. Все выступления Горбачева насчет пьянства крайне напоминают борьбу за возвращение блудного сына в отчий дом. Блудным сыном предстает в этом смысле весь советский народ, советский человек в целом, а Горбачев ведет борьбу за душу человеческую, душу, соблазненную чертом в образе зеленого змия. Здесь я хотел бы процитировать некоторые выступления Змиборца, но должен сразу же оговориться, что слышал их только по советскому телевидению, “Правда” же не всегда приводит их полностью, поэтому мое цитирование сведется к более или менее свободному пересказу, причем я попытаюсь сохранить акустические и речевые особенности моего персонажа: “Пьянство губит сэмьи, губит человека, у концэ концов, товаришы. Борьба с пьянством должна ытти у каждой семье. Пьянство, товаришы, создает усякие проблемы. Оно мешает человеку плодотворно трудыться на благо усега нашего общэства, мешает нам, у конэшном счете, продвигаться уперед”.

Интересны методы советского антиалкоголизма; сухого закона нет, цены на водку взвинчены, а человек должен, так сказать, обрести в себе моральные силы для преодоления порока.

В связи с этой борьбой я хочу привести вот такую цитату из журнала "Руководство для сельских пастырей" за 1860 год. Статья называется "Известия о распространении трезвости в Киевской губернии". Автор пишет: "Благодаря Бога, общества трезвости распространяются и у нас, в Киевской губернии. Едва получен был указ Святого Синода о внушении поселянам трезвости, сельское духовенство, всегда готовое содействовать благим целям правительства, начало со всею силою пастырской наставлять, вразумлять и убеждать прихожан, чтобы они заботились об улучшении своего нравственного, а вместе с тем и физического состояния прекращением пьянства. Напрасно откупщики-евреи и их клеветы, которых интересуется продажа водки, старались противупоставить убеждению пастырскому разные оболъщения и клеветы. Неослабная деятельность сельских священников и пробуждающаяся нравственная сила самих крестьян восторжествовали над всеми недобросовестными их выдумками. Ныне во многих уже зелах черкасского и чтиринского уездов, как это лично мне известно, крестьяне совсем перестали пить водку; другие же, хотя и не отстали еще совсем от вкоренившейся в них привычки к пьянству, но пьют гораздо меньше, так что можно надеяться, что со временем, при усиленном и благоразумном действовании служителей Христовых, вовсе не будет приметно между ними этого грубого порока, расслабляющего нравственные и физические силы нашего земледельческого сословия".

Эти былые успехи антиалкогольной кампании, как видим, несколько не менее разительны, чем нынешние. Вот и сейчас газеты сообщают, что во многих областях упало потребление водки, люди перестают пить, а советское телевидение начало транслировать серию передач "Трезвость — норма жизни". В одной из них какая-то тетка, откликаясь на призыв Горбачева, сказала так: "Ну шо? Пьют... Конечно, пьют — но пьют гораздо меншэ... От людей стесняются! По подвалам все ховаются, и там пьют..."

Однако, гонения на пьянства — только первая часть грандиозного горбачевского плана. Состоит он в том, чтобы создать для советского человека настолько занимательную, насыщенную жизнь, что пить ему просто не захочется. Социализм должен стать альтернативой пьянству. Социализм, конечно, "развитой",

а не просто социализм, и тут, понятно, у Горбачева возникают вполне естественные проблемы, вызывающие у нас искреннее и скорбное сочувствие. Ибо, увы, подлинной альтернативной базы до сих пор нет, — в чем он со всей своей честностью каждый раз признается.

Та установка на индивидуальное начало, на душу человеческую, которую провозгласил Горбачев, и о которой он постоянно, тоном почти священническим, говорит в своих выступлениях, установка на "спасение души", непосредственно связана с живым объектом его деятельности. Он ориентируется в своих призывах не столько на партию, или на административную систему советского общества, а на первичный его элемент — семью. Рано или поздно Горбачев начнет кампанию за укрепление советской семьи всеми доступными ему средствами. Но и сейчас он уже говорит, что бороться с пьянством нужно в самих семьях, государство здесь только помощник, но не администратор, силой ничего не сделаешь. Характерно, что Горбачев всюду появляется со своей Раисой. Дело тут не просто во вполне понятном сентименте к своей супруге, но и в общем стиле — в установке на личностные, семейные начала, то есть те, которые не подвержены коррупции. Горбачев давно и с горечью удостоверился, что советское общество, увы, испорчено. За годы возвышения, спаивая в Ставрополе влиятельных и прожорливых гостей, он проникся сознанием того, что моральный уровень советского руководства безнадежно убог. Когда Горбачев идет в массы, к людям, — а он очень любит беседовать с народом, — это несомненно проявление того же личностного принципа. Он сам хочет во всем убедиться, хочет себя показать людям и послушать людей. Это своеобразный материалистический мистицизм, который вообще весьма свойственен русской культуре. В частности, он — не знаю, насколько осознанно, — цитирует гоголевские "Выбранные места из переписки с друзьями"; он реализует гоголевскую программу "проездиться по России" — путешествует от Дальнего Востока до Средней Азии. Он всюду побывал, он все видел, он говорил с тысячами людей, он входит в народ, как в море — раздвигает животом толпу и шустро начинает беседовать, он сразу же пытается установить контакт, найти отправную точку для разговора. И это начало неизменно — человеческая душа. Однажды его спросили: "А с чего же начнется перестройка, Михаил Сергеевич?" — "С нас самих, товарищы... — ответил Горбачев. — А пу-

скай кажный заглянет у сэбе у душу и спросит самого сэбе (тут он так назидательно помывает толстым указательным пальцем): шо я сделал для того, шобы измэньтсся, для того, шобы пэрэстроится? Шоб соответствовать перестройке усега нашэго общэства!" У позднего, набожного Гоголя это звучит так: "А кто из вас, полный христианского смирения, не гласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собою, углубит вовнутрь собственной души своей сей тяжелый запрос: "А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова" ("Мертвые души"); "Прежде чем приходить в смущение от окружающих беспорядков, недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу" ("Выбранные места"). Возможно, Михаил Сергеевич никогда не читал Николая Васильевича, и ему просто что-то подсказали референты, но ориентация показательна.

Горбачевская "перестройка", на мой взгляд, — его Преображение в его чисто христианском смысле. Цитирую: "Конэшно, товаришы, перестройка — это процэсс многолэтний, продолжытэлный, мы у Политбюро это прекрасно усе понымаэм, это непростой процэсс, трэбуюшшый усех человеческих сил, упорства и врэмэни. Но я надеюсь, товаришы, что за полтора года мы сумэм в осноуном осушшестыть перестройку..." Чем не Преображение? Бывшему первому секретарю обкома вполне понятно, что трудно на деле перестраивать душу человеческую, но с другой стороны он понимает, что — надо! Весь мистический смысл деятельности Горбачева и эзотерическое ее содержание, по моему глубокому убеждению, сводится к тому, чтобы обновить природу человека, создать нового человека на месте испорченного, распущенного, старого руководителя, скомпрометировавшего социализм. И я не сомневаюсь в том, что Горбачев искренне верит, что он являет собой как бы последний шанс, предоставленный историей советскому обществу. И поэтому он говорит (это из его выступления на Кубани): "Мы должны доказать, что социализм, советская власть — это самая пэрэдовая формацыя. А если мы этого не докажем, товаришы, то выходит, что усе наши жертвы были напрасными, усе было напрасно... А я думаю, товаришы, и вы усе согласитесь со мной, что социализм это есть цель, достойная усех наших усилей". Это искаженная, но по существу верная цитата из апостола Павла: "Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тцетна, тцетна и вера наша... И ес-

ли мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Но Христос воскрес из мертвых... Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?.. Какая мне польза, если мертвые не воскресают?.. Отрезвитесь, как должно и не грешите... Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды... зная, что труд ваш не тщетен пред Господом”.

Таким образом, суть деятельности Горбачева — по крайней мере, риторической ее части — это обновление и спасение социализма. Нужно учесть, что протекает она в таких условиях, которые и сами значительно стимулируют распространение мистицизма в России. В частности, после “Чернобыльской аварии”, как ее деликатно там называют, по России, как известно, поползли нездоровые мистические настроения. Например, всюду мусируется этимология слова “Чернобыль” — горькая трава, полынь, что на фоне Апокалипсиса приобретает несколько гнетущее звучание и не вселяет бодрости в советского человека. Мы все хорошо знаем, что в 60-е—70-е годы, когда советско-китайская война казалась неизбежной, мистические настроения в Советском Союзе, подогреваемые, кстати, нелепыми ссылками на Библию, приобрели совершенно чудовищный размах. Я думаю, что они не обошли и Горбачева. Настоящий мистический ужас вселяет в него американская программа “Звездных войн” — смерть приходит из Космоса! Что касается практических результатов советского технологического провала, их политического аспекта, то параллели с последствиями Крымской войны тут вполне уместны.

Я хотел бы напомнить, что приведенная мной цитата из “Руководства для сельских пастырей”, относится к 1859 году, то есть кануну великих реформ. И борьба за трезвость, которая началась в те годы, была тесно связана с общим реформаторством. Известно, например, что в Виленской губернии тогда целые села клялись на Евангелии больше не пить водку, а потом, разумеется, мужики впадали в грех клятвopеступления, ибо устоять, увы, не могли. Конечно, и тогда во всем этом были мистические обертоны — “жиды-корчмари”, например, в интересах кагала “спаивали” русское население. Я думаю, что несколько сходное положение мы имеем и сейчас. Хотя реформы эти не столь грандиозны (например, закон об индивидуальной трудовой деятельности попросту разрешает заниматься всеми теми ее видами, которыми люди невозбранно занимались и до сих пор — только теперь велено пла-

тить налоги) и все, что реально делает Горбачев, — это фикция, химера, все сводится к риторике, но тут очень интересен магический, так сказать, пафос этой риторики. Горбачев искренне убежден, что если долго говорить об одном и том же, то в конце концов это станет истиной. Объект можно “заключить”. Вот почему он в Восточном Берлине полтора часа учил немцев работать! “Товарышы, нужно работать... У наших обшых ынтерэсах нужно трудытся, для нас самых...”

Я думаю, что в этих своих попытках Горбачев стремится найти опору прежде всего в общественном мнении, которое советский режим пытается сейчас — впервые за всю свою историю — создать. Это — постоянный рефрен в речах Горбачева: “Вот, повсэвшавшыс с людмы, объездив много городов, побывав у многих мэстах, я выжу, на основании опыта обшэния из людмы, пришел к выводу, шо, у обшэм и цэлом, советский народ одобряет нынешнюю линию... Вот с людмы поговорыш и видиш, шо люди — за. Усе охвачены стремлением к перестройке и ускорению”.

Очень интересно это сочетание “перестройки” с “ускорением”. Это и есть в сумме Преображение, — быстрое, радикальное преобразование общества и каждого человека в нем — при опоре на общественное мнение, относительно свободное и относительно массовое. И именно поэтому то, что нам кажется столь противоречивым в деятельности нынешнего советского руководства, в действительности вполне закономерно. Мы видим, что в газетах, журналах, на телевидении постоянно появляются различные конфликтные темы. Появился неслыханный ранее диапазон, спектр мнений. Это происходит не потому, что Политбюро поддерживает ту или иную тенденцию. Руководство, скорее, вообще не имеет своей точки зрения по многим из тех вопросов, которые поднимаются в прессе и телевидении. Оно ищет другого — как можно более широкой поддержки. И само оно, естественно, находится в несколько хаотическом состоянии и по отношению к объему поднятой проблематики. Правительство в данной ситуации попросту не хочет ни с кем ссориться. Горбачев, грубо говоря, — “солидарист”. Он пытается привлечь все жизнеспособные силы общества к своей программе религиозного, мистического преобразования социализма через душу человеческую. Отсюда — впечатление разброда и хаоса, некоторой сумятицы в нынешней советской идеологической линии. Но это не сумятица. Я ду-

маю, это — проба возможностей, поиск пути. По телевидению сейчас можно увидеть резко антипочвеннический фильм, состряпанный какими-то евреями на студии "Мультфильм", и сразу же после него — передачу о культурных ценностях и корнях какой-нибудь, допустим, Костромской области. Это установка типа "всем сестрам по серьгам", попытка привлечь к себе все возможные силы.

Понятно, отчего Горбачев так много талдычит о "гласности". При этом он оговаривается: "Клэвэтным и анонимшыкам мы, конэшно, волю не дадим, нэт... Но гласность — важнэйшээ условие продвижения нашего общества вперед..." Он, кстати, косвенно пожаловался при этом на газету "Правда", которая, как известно, цензурирует его речи. Выступая в Краснодаре, он сказал: "Вот недавно, первый сэкрэтар Курганского обкома парты произнес рэч. Хорошую рэч, товарышы, много там облычал конкретных выновников недостатков, назвал имена, такая, товарышы, деловая, прынцыпьяльная рэч... А вот местная газета, орган курганских коммунистов, произвела в этой рэчы, товарышы, тридцать купюр..." Это, несомненно, обида на газеты, которые искажают речи самого Горбачева.

Пацифизм нынешнего советского генсека, потрясенного программой "звездных войн", тоже имеет прямую параллель в русской истории — я имею в виду императора Павла I. Пацифизм этот связан, по-видимому, с общим утопизмом Горбачева. Но для него образец, конечно, не Павел I, а, скорее, Хрущев. Это видно из его замечания о том, что "последние два десятилетия наше общество, что греха таить, топчется на месте". Вся нынешняя борьба Горбачева за сокращение вооружений и, в конечном счете, разоружение, находит прямую аналогию в хрущевской поездке в Соединенные Штаты в 1959 году, когда Никита Сергеевич тоже выступил с предложением о всеобщем разоружении. Тогда все кончилось резким ухудшением отношений с Америкой. Психологически Горбачев, несомненно, близок к Хрущеву. Здесь та же вера в какое-то единое чудодейственное средство, которое позволит совершить мистическую "перестройку". Только вместо кукурузы теперь основной рычаг — человеческая душа.

Чем больше будет у Горбачева власти, тем, надо думать, больше будет "реформизма" в этом направлении. Пока у него, на мой взгляд, власти мало. Не случайно он все еще не решается прямо

упомануть Хрущева, хотя с симпатией говорит о "советских инициативах" того периода. Но это будут весьма специфические "реформы" — сопряженные с метаниями и разнобоем. Ибо Горбачев — несомненный прожектор. Он неизменно говорит о "революционном" характере своих планов. Но любая серьезная революция (которой на деле мы пока совершенно не видим) неизбежно вызовет в Советском Союзе испуг и реакцию. Видимо, сознавая это, Горбачев и ограничивает свои усилия риторическими заклинаниями магического свойства. В том же плане риторического, душеспасительного наставничества складывается и культ Горбачева. Внешне его вроде и нет: при Горбачеве, например, отменены ранее обязательные аплодисменты, прерывающие речь вождя, — но в действительности культ просто приобрел иные формы: Горбачев выступает как друг, учитель и наставник, который все объяснит, растолкует, со всеми поговорит. Установка Горбачева — на партийно-бытовое исповедничество: "Шо греха таить — и у нас у Политбюро нет готовых рецептоу, товаришы..." Его выступления отражают представления о жизни, как неудержимом процессе, который стремится куда-то ввысь, к евангельским высотам нового духа. "Главная задача у области эконономики, товаришы, — перестроить не только усю организацяю, не только отношение к труду, но и оборудование, и шо здесь, товаришы, часто провисьходит: вот, я узнал, у новые заводские корпуса привозят старое, морально изношенное оборудование..." Это ничто иное, как евангельское изречение о том, что нельзя вливать новое вино в старые мехи. Здесь перед нами в чистом виде Горбачев как религиозный оратор и религиозный проповедник.

На этом я позволю себе кончить, "товаришы".

Послесловие докладчика

С удовольствием перечитав свое выступление на симпозиуме по научной фантастике, я прежде всего хочу поблагодарить главного редактора Р. Нудельмана за почти адекватное воспроизведение фонетической специфики горбачевских речей в моей передаче. К сожалению, именно эта сторона утратила актуальность. Горбачев, судя по всему, усердно трудится над своим русским языком и, следует признать, добился ощутимых успехов: в частности, стремительно очистил звук "г" от фрикативности и слово "нужно" теперь произносит с ударением на первом, а не на втором слоге, как прежде.

В остальном я должен присовокупить, что безудержный рост советско-

го вербального, словесного либерализма (в области, например, продуктового юмора, публикации покойных писателей и т. п.) предусмотрительно сопровождается укреплением полицейского аппарата, потенциальным (а часто и вполне реальным) усилением террора. Горбачев и его сподвижники несколько видоизменили обычную эволюцию русских правителей: сначала либерализм — затем реакция. Второй процесс теперь подготавливается параллельно.

И я жду, когда же, наконец, Горбачев увидит, что неблагоприятное общественное мнение вышло за рамки советских приличий, и когда его придется отменить. Когда нынешняя "свобода" будет оборвана испугавшимся на смерть начальством...

Пока же у жалких реформ Горбачева есть одно ценное качество: отменяется обязательная бетонность мышления, и люди внутренне готовят себя к альтернативам. Это — главное.

М. В.

Февраль 1987 г.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Жюри конкурса Даля, собравшись 18 декабря 1986 года по рассмотрению ряда рукописей и недавно вышедших книг, единогласно решило выдать приз за 1986 год критическому очерку Ю. Карабчиевского "Воскресение Маяковского" (появившемуся в 1985 году в Мюнхене, в издательстве "Страна и Мир").

Открыт прием рукописей на 1987 год. Рукописи — романы, повести, эссе (за исключением стихов), просим присылать на адрес: CONCOURS DAHL c/o Les Editeurs Reunis 11, rue de la Montagne Ste-Genevieve 75005 PARIS вплоть до 1 октября 1987 года. Жюри сохраняет за собой право премировать и первую книгу малоизвестного автора, вышедшую не позже чем за год до объявления конкурса.

Председатель жюри: Виктор Некрасов. Члены жюри: Ирина Иловайская, Михаил Геллер, Жорж Нива, Никита Струве.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

призывает своих читателей и друзей, всех, кому дорога русская культура и бережное сохранение памяти о тех, кого уже нет с нами,
принять участие в сборе средств и а п а м я т н и к

АНДРЕЮ ТАРКОВСКОМУ

Памятник будет воздвигнут по проекту Эрнста Неизвестного

Деньги и чеки высылайте на адрес редакции
"Le Pense Russe" 217 rue de Fb. St. Honore, 75008 Paris
с обязательной пометкой: Memoire Tarkovsky.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

I.

2 февраля 1987 года исполнилось десять лет со дня смерти поэта и публициста Ильи Рубина. Он был одним из редакторов самиздатского журнала "Евреи в СССР", а затем — одним из основателей издательства "Москва—Иерусалим". Ему принадлежала идея создания журнала "Двадцать два". Творчество Ильи Рубина — стихи, эссе, проза — собрано в книге "Оглянись в слезах", выпущенной издательством "Москва—Иерусалим". Статьи Ильи Рубина продолжают участвовать в сегодняшних спорах вокруг вопросов современной культуры. Свидетельство тому — публикуемое ниже эссе "Кто был никем", впервые напечатанное свыше десяти лет назад в журнале "Сион".

Илья Рубин

КТО БЫЛ НИКЕМ...

Когда Авель ударился беспомощным затылком о каменную землю Иудеи, когда осиротели его стада, обезумевшие от запаха человеческой крови, свершилось нечто значительное, нечто большее, чем убийство, — и даже, чем братоубийство. В династических спорах, в семейных конфликтах, в делах веры и нравственности, в реестре наказаний, наконец, принятом во всех законодательствах, убийство терпелось, прощалось, допускалось, предписывалось. Снисходительность мифургов к самому факту убийства, к его уголовной ипостаси, подтверждается тем, что Каин, избежав человеческого суда и человеческого возмездия, еще много лет землепашествовал, плодил детей и строил города. По-собачьи огрызнувшись на вопрос, заданный ему Богом, он поворачивается спиной к трупу и уходит безнаказанный, невредимый, оскорбительно живой. Предание будто говорит нам: **м о ж н о и т а к**. Вариант Каина не есть социальный тупик — это есть один из возможных вариантов. Библия дает нам примеры тупиковых ситуаций — вероотступничество, "отречение от принципа". Тупиковая ситуация всегда знаменует собой полный распад чело-

веческой личности, ибо лопаются духовные узы, стягивающие ее в единое непротиворечивое целое. Так Валаам, вздумавший свершить невозможное — проклясть от имени Бога избранный Богом народ, — превращается в пустую оболочку, тупой и послушный инструмент, предназначенный для выполнения непонятной и чуждой ему работы.

Случай Каина совершенно не таков — нам недвусмысленно сообщается о допустимости этого пути, его физической — не метафизической — оправданности. Пусть знают все будущие Каины: у них есть свобода выбора, им не грозит человеческий суд. Но отсутствие кары одновременно намекает и на абсолютную непоставимость дозволенного Каину пути с путями истины — ведь кара призвана вернуть заблудшего человека к свету и добру, исправить ошибку. Но когда нельзя ничего исправить — незачем и карать. К чему окликать путника, если он ушел слишком далеко и не услышит Голоса?

Вот уже несколько тысяч лет, замороженные этой странной пастушеской сказкой, мы пытаемся постигнуть ее высокий смысл, сделать его внятным для разума и сердца. Но никто не подошел так близко к этому смыслу в его современной конкретности, исполненной обманчивой библейской простоты, как удалось это Пушкину в “Моцарте и Сальери”, самой трагичной из его трагедий.

II.

В 1824 году умер Сальери, задавленный величием тяготевшего над ним подозрения. В своей заметке Пушкин называет его “завистником”. Да и сам Сальери признается: “Я ныне — завистник. Я завидую; глубоко, мучительно завидую”. Но полно, какой же он завистник, когда смиренно признает гениальность Глюка и восхищается пленительным Пуччини. Зависть — наиболее расхожее, наиболее грубое объяснение мучений Сальери. Недаром Пушкин перечеркнул первоначальное название трагедии — “Завистник”. Сам же Сальери склонен скорее оскорбить себя, чем додумать до конца, довыяснить природу глубоких, изначальных причин, толкающих его на преступление. Кажется, будто он успокаивает себя низменностью своих побуждений, лишаящих задуманное им деяние космического смысла. Он не хочет увековечить себя в масштабности убийства, совершенного им, он — не Герострат.

Но рационалисту Сальери не удастся удержаться на успокоительной платформе уязвленного самолюбия. Он не может не рассуждать, он не может не быть логичным. Он в высшей степени наделен качеством обращать в предмет для философствования все, с чем сталкивается его извращенный, искусный разум. И камнем преткновения, о который разбивается это философствование, является неразрешимое (в системе ценностей, действительных для Сальери) противоречие между человеческой справедливостью и Божеской благодатью.

Провозгласив равенство возможностей, восемнадцатый век сделал тем самым борьбу за справедливость борьбой за достижение всеобщего равенства — и материального, и духовного. Благодать, изначальная избранность, не отвергалась — просто не принималась во внимание. Ей не оставалось места ни на Земле, ни на Небе — религия "Высшего существа", этого первоаппарата, главного болта механической Вселенной, не содержала и намек на идею избранничества. Недаром насаждавший ее Робеспьер даже атеизм считал чересчур аристократичным.

Но есть неотменимые условия человеческого бытия. Всякая попытка устранить их — или игнорировать — неизбежно приводит к образованию фантомных суррогатов. Так, любая революция, отменяя Божественный произвол социального порядка, ставит на его место произвол человеческий, низводя его из сферы духа в сферу плоти. Уничтожая метафизическое, изначальное неравенство, она не может не усугублять неравенства физического, земного. Равенство в Боге она делает равенством в смерти, в страхе. Аристократию, духовно преодолевающую в Истории свое земное избранничество (вспомним декабристов), она заменяет безликой и беспощадной властью большинства, почти не способной к самосознанию — а, значит, и к творческому самоотрицанию — неременному условию нормального развития государственности, неотчужденной от жизни общества. Утверждение "нет правды на земле" автоматически приводит к тому, что "правды нет — и выше". Чашу Грааля не изготавливают, а ищут. Неумение видеть высшую правду и ее земное отражение не есть атеизм, но хуже — чудовищное извращение идеи Бога. Атеист отворачивается от Бога — но он не распнет его Сына.

Путь насильственного насаждения безблагодатной материальной справедливости представляется соблазнительным, почти легким, тому сорту людей, кто заменяет разум его рабочим инстру-

ментом — логикой. Всякая революция вообще характеризуется “инструментностью” мышления, сводящей сложность вечных проблем к мнимой простоте и разрешимости. Простота эта всегда оборачивается простотой разрушения, не наполненного чаще всего никаким позитивным содержанием: ждут, что оно появится само собой в результате “освобождения”, кровавой расчистки. Но уничтожение во имя созидания — бессмысленно. Творческое созидание — высшая форма бытия, порядка, хрупкий мост, перекинутый через пропасть конечности, смертности. А разрушение ведет к увеличению во Вселенной количества черных дыр небытия, мучительного, кровоточащего хаоса. Смерть может быть и прекрасна, она может стать последним поступком, творческим актом. Но убийство исключает такую смерть, превращает ее из высокой трагедии в грубый фарс.

III.

Почему жертва Авеля оказалась угодной Богу, а он, Каин, — отвергнут? Где справедливость? Тут было налицо вопиющее нарушение логики даяния — воздаяния, в причинно-следственном кругу которой вращался и вращается каждый здравомыслящий человек. Почему вдруг зачеркнут весь он, землелашец, с его трудами и молитвами, а брат — предпочтен? Каин понимает, что неравенство между ним и братом неустранимо, потому что имя ему — прихоть Божья. Но и бездействовать он не может — ибо земная справедливость, ее бездуховная мстительность, ее мертвая, пустая оболочка важнее для него безусловности истины, ее кажущейся немотивированности, сквозь которую не в состоянии проникнуть его убогий разум. Пытаясь отменить вечную ситуацию, он тем самым просто выводит себя за ее пределы. Не в силах снискать благодать, не в силах склониться перед высшей мудростью ее закона, Каин встает на единственно возможный для него путь — убийство брата, заслонившего его от Бога. Он должен уничтожить тот ненавистный сосуд, куда благодать столь неумеренно изливалась. И убийство задним числом подтвердило пророческую безошибочность Божьего выбора.

Был и другой путь — путь ожидания, путь смирения. Был путь забвения земной справедливости перед лицом Божественного произвола. Но этот путь не годился Каину — родоначальнику

всех борцов за справедливость, где благодать распределяется между гражданами, как сапоги, хлеб и мыло, — поровну.

И наказать Каина было нельзя. Наказание всегда подразумевает исправление ошибки, формирование души. Ведь и преступление может быть частью избранничества — вспомним Раскольникова. Его преступление — страшная ошибка на пути к истине. Но его избрали на эту ошибку, соразмеренную с величиим конечной цели. И наказание — следующая ступень, поднимающая к ней. Преступления же Свидригайлова бессмысленны, хаотичны, вне порядка. Он не избран. И поэтому для него не существует и очистительной кары — его жизнь не заслуживает высшего отрицания. Но Свидригайлов не отвержен так страшно, как Сальери или Каин. Ведь осознание полного духовного банкротства, всегда ведущее к самоуничтожению, — не есть гениальность, но есть несбывшаяся ее возможность. Подобное осознание — суровая милость, но и она дается не всякому.

IV.

“Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше”. Так начинает Сальери свой трагический монолог. Он, прилежный подмастерье Муз, постигший тайны святого ремесла в конце “тернистого пути” “любви горячей, самоотверженья, трудов, усердия, молений”, отвергнут небом. Небо избрало своим глашатаем “безумца, гуляку праздного” ...Сальери видит в этом чудовищное попрание справедливости. В нем восстает вся рассудочность его умного века. Сальери говорит не только от своего имени, нет, он вещает от имени всех “жрецов, служителей музыки”. Нет, Сальери не завистник! Он, столько раз помышлявший о самоубийстве, остается жить надеждой на появление нового Гайдна, дабы насладиться великим. И вот он пришел, новый Гайдн. О, если бы небесные звуки, источаемые Моцартом, были плодом тяжких раздумий, ошибок, трудов и молитв! Если бы Моцарт заработал свое избранничество или выклянул его у Бога! В Сальери достало бы широты склониться перед ним. Но произвол небесного выбора бесит его, соразмеряющего и соотносящего вдохновение с количеством пота и ламповой копоти. Он грудью встает на защиту единственно понятного ему мира даяния-воздаяния. “Я избран, чтобы его остановить”, — говорит Сальери. Слово “избран” в

устах Сальери — не случайность. В известной мере, он и себя чувствует избранником, спасителем. Он — посредственность и знает об этом, но посредственность, осознавшая себя и свое мировое значение, посредственность высшего типа. Моцарт, называя Сальери гением, как бы интуитивно прозревает избранность его, но простодушно, доверчиво переносит эту избранность из сферы взбесившегося, неодухотворенного разума в сферу духа, порядка, музыки.

“Боже! — восклицает Сальери, — ты, Моцарт, недостойн сам себя!” Это крик души. Для Сальери убить Моцарта — значит разбить сосуд, недостойный излившейся в него благодати. Правда, человечество лишится источника божественных звуков. Но сама “бескрылая” натура человека противится призывам этих “райских песен”. Да и все равно со смертью Моцарта искусство снова падет туда, где прозябало до него, ибо нельзя научиться благодати, а то, чему нельзя научиться, чего нельзя заслужить, купить или завоевать, — бессмысленно, преступно, не должно существовать.

Человечество для Сальери — это общество одиноких, тленных оболочек, не составляющих высшего единства. Поэтому и сам Сальери так бесконечно одинок. Он не видит в человечестве отражения идеи Бога, где неповторимое и однажды достигнутое становится навсегда достоянием всех через интуицию, благодарность, бессмертие души. Наиболее ярко это проявилось, пожалуй, в сцене со скрипачом. Ведь Сальери, как и многие ревнители и защитники земной справедливости, ненавидит и презирает ту часть человечества, что воспринимает гениальность не мудро, но благодарно, косноязычно, но почтительно, — “маляров негодных”, “презренных фигляров”. Принять во всей ее полноте идею Божественного избранничества — значит принять тот истинный аристократизм, когда отражение избранничества одинаково свято на каждом месте социальной иерархии. Разрушение же этой иерархии, хотя на словах почти всегда совершается во имя нищих духом, затрагивает их не меньше, чем элиту, — а иногда и больше. “Было бы ошибкой думать, что страдали главным образом только зажиточные люди. Напротив, из 2750 жертв Робеспьера только 650 принадлежали к высшим и средним классам. Повозки, с утра до вечера вращавшиеся между площадью Революции и Сент-Антуанским предместьем, были наполнены рабочими”. (Б. Бакс. “Великая французская революция”, Пг, 1920.) Так

Сальери воспроизводит собой весь спектр чувствований и мыслей целой отрасли человеческого бытия, влачащейся вне благодати — по пути бессмысленного, самоубийственного беспорядка. Так смех Моцарта, ребячески восхищенного наивным звучанием своих мелодий в беспомощной игре трактирного скрипача, провидящего в этом звучании глубокое, осмысленное родство, не находит отклика в мертвой душе Сальери. Только в Боге они могли встретиться — Моцарт и бродячий музыкант. Их встреча — шутка перед Господом, но Сальери не способен воспринять ее случайность. Его слепота гораздо страшней физической и интеллектуальной слепоты скрипача — это духовная слепота.

И убийство совершается наяву, свершившись сначала в душе Сальери. Только тогда убийца начинает понимать, чего он себя лишил. Он безвозвратно потерял всякую надежду на гениальность. Он мог бы еще стать гением смирения, затушив адский огонь, пылавший в нем, пощадив Моцарта, простив ему, избраннику, его избранность. Но Сальери и ему подобные не могут быть гениальны, ибо лишены благодати. Таков страшный, каиновский круг, в котором горячей крысой мечется Сальери.

V.

Многие критики, анализируя пушкинскую трагедию, смущенно, почти с ужасом отмечают трагическую привлекательность образа Сальери, глубину и возвышенность его страданий, заставляющую читателя сочувствовать ему и сопереживать. В чем же тайна этой привлекательности? И надо ли преодолеть ее в себе?

Вместо ответа мы позволим себе привести цитату из письма Константина Леонтьева священнику Фуделю. Вот она:

“Однажды я спросил у одного весьма начитанного духовника-монаха: отчего государственно-религиозное падение Рима, при всех ужасах Колизея, цареубийств, самоубийств и при утонченно-сатанинском половом разврате, имело в себе, однако, так много неотразимой поэзии?.. — Никогда не забуду, как он восхитил и поразил меня своим ответом! — Бог это с в е т , и духовный, и вещественный; свет чистейший и неизобразимый... Есть и ложный свет, обманчивый. Это свет демонов, существ, Богом же созданных, но уклонившихся, как вам известно. Классический мир и во время падения своего поклонялся хотя и ложному свету

языческих божеств, но все-таки свету..." (К. Леонтьев. "О Вл. Соловьеве и эстетике жизни", изд. "Творческая мысль", М, 1912, стр. 37).

Так вот в чем дело: в эстетической привлекательности ложного света! Эта эстетическая привлекательность по сути своей синонимична свободе выбора, его напряженности и духовной непредвзятости. Недаром сейчас бытует во всем мире газетный штамп: "свет революционных идей". Это все тот же свет, и все так же его эстетическая доступность манит за собой все новых и новых последователей Каина и Сальери. Ведь если бы уродливость ложного пути вставала перед нами в отталкивающем, антипоэтическом внешнем обличье, велика ли была бы заслуга людей, свободно отвергнувших этот путь? Но путь Троцкого, путь Сальери, путь Че Гевары включает в себя, все внешние атрибуты истинной судьбы: жертвенность, презрение к опасности, силу мысли, любовь к человечеству, забвение себя ради идеи, трагическую гибель... Сальери привлекателен тем, что он — мученик. Ложный свет создает мучеников. Но лишь истинный свет создает святых.

Сопереживать Каину и Сальери нас заставляет ощущение внутренней необходимости изжить в себе их путь, изжить подробно, осмысленно, эмоционально. Ведь Сальери и Моцарт, Авель и Каин иконологически, ипостасно связаны по отношению к проблеме избранничества. Неразрывность связи подчеркивается их братством — по крови, по ремеслу. Но горе тому, для кого это братство станет источником духовной путаницы, ложного выбора. "Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение; ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я".

ОТ РЕДАКЦИИ: в № 50, в предисловии к "Библиографии", вкрались несколько досадных ошибок. Редакторами журнала "Евреи в СССР" так называемого третьего призыва были **ВЛАДИМИР ЛАЗАРИС**, Марк Азбель и Эмилия Сотникова. В первых номерах "22", в числе других произведений, определивших лицо и путь журнала, была напечатана замечательная повесть **Я. ЦИГЕЛЬМАНА** "Похороны Моше Дорффера". Переводы еврейской поэзии, принадлежащие перу **В. ЛАЗАРИСА**, относились исключительно к средневековому периоду. В самой "Библиографии" по недосмотру пропущены публикации двух авторов — **А. ЗСКИНА** (Израиль) и **С. СОКОВОЛА** (США). Эти и другие исправления будут внесены в отдельное издание "Библиографии журнала "22" (№№ 1—50)", предпринимаемое издательством "Москва—Иерусалим". Приносим искренние извинения.

ИСКУССТВО

У советских актеров нет личной жизни. То есть, у многих она, конечно, есть, но узнать о ней любознательный любитель "клубнички" может только из сплетен.

На Западе интерес обывателя к личной жизни "звезд", наоборот, поддерживается и поощряется. Есть, правда, и здесь свои крайности. Порой западная пресса сообщает обывателю такие подробности из жизни "кумиров", о которых человеку интеллигентному знать неприятно и просто стыдно. Но ведь не для него это и пишется.

Одно сближает Запад и Восток. Ни в Нью-Йорке, ни в Москве вы не прочтете о том, что личная жизнь может стать фактом искусства.

Речь в этой статье пойдет о трех случаях, когда любовь оказалась способной породить высокие художественные свершения. А начну я с самого малоизвестного из этих случаев, герои которого, хотя и были людьми заметными, но не принадлежали к числу, как говорили в старину, "первых сюжетов" театральной жизни России своего времени.

Главная роль Бориса Сушкевича. В 1940 году руководитель ленинградского Нового театра, известный режиссер и педагог Борис Михайлович Сушкевич впервые после

Эдуард Капитайкин

**ЛЮБОВЬ ПРИ СВЕТЕ
ПРОЖЕКТОРОВ**

десятилетнего перерыва решил выступить как актер. Для этого своеобразного “дебюта” он избрал роль Матиаса Клаузена в драме Г. Гауптмана “Перед заходом солнца”.

“Перед заходом солнца” — пьеса-исповедь. Обычно ее играют актеры, чей жизненный путь клонится к вечеру. Они торопятся высказаться, потому что завтра может быть уже поздно. Пьеса эта — монодрама. Партнеры старательно подыгрывают главному герою, кто лучше, кто хуже, режиссер предпочитает вежливо отойти в сторону и работать над созданием “фона”, и только Матиас Клаузен гордо и независимо несет свою благородную седую голову. Он окружен атмосферой непонимания и недоброжелательства. Но ему все равно. Он общается непосредственно со зрительным залом, и не от имени театра, а от своего собственного.

Для Сушкевича все эти пути были заказаны. Он мог работать только в доброжелательном общении с понимающими партнерами. Как истинный ученик Станиславского и Сулержицкого, он был способен раскрыть себя в роли и роль в себе лишь среди людей, которым доверял и которых любил. Кроме того он во все не был “заслуженным солистом”. Как режиссер Первой студии МХАТ, Пушкинского и Нового театров в Ленинграде он пользовался известностью и уважением. Однако как актера (не выдающегося, но хорошего) его к тому времени успели позабыть. И Сушкевичу еще было далеко до “захода солнца” — в 1940 году ему исполнилось 53. До встречи с молодым (1933 года рождения) Новым театром он много работал, играл, ставил, учил, но так и не успел сыграть своей главной роли. Не успел или не смог. Внешне спокойный, казавшийся равнодушным, даже флегматичным, он был человеком тонкой душевной организации, склонным к беспощадному самоанализу, легко ранимым, нервным и самолюбивым. И в жизни, и на сцене он предпочитал стыдливо скрываться за маской скепсиса и иронии. Оценивая его крупнейшие актерские достижения, лучший театральный критик 20-х годов П. Марков писал: “Сушкевич передает на сцене скептическую и равнодушную мысль. Его образы окутаны спокойствием безнадежности...”

Можно сказать, что в Первой студии МХАТ Сушкевич был режиссером среди актеров и актером среди режиссеров. Его спектакли никогда не выбивались из русла общей идеи и художественных устремлений коллектива, которые определял гениальный Михаил Чехов. В лучших постановках Сушкевича — “Деле” Су-

хово-Кобылина и "Закате" Бабеля — звучала излюбленная, выстрадавшая тема Михаила Чехова, тема трагического и безнадежного столкновения мечтателя и романтика, благородного "чудака" и "дон-кихота" с людьми реального дела, с массой ничтожных и жалких посредственностей, с пошлой жизненной прозой настоящего.

После эмиграции Михаила Чехова в 1928 году студия превратилась в тонущий корабль (который и погиб восемь лет спустя — правда, не без активной помощи советских государственных и партийных организаций). Но сначала на "корабле" начались раздоры и бунт. Непокорных выставили за борт. В 1933 году Сушкевич тоже покинул родной дом, одним из строителей которого он был, и переселился в Ленинград. Через несколько лет он пришел в Новый театр и тут произошла его встреча с молодой актрисой Ксенией Владимировной Куракиной, "из тех самых Куракиных", как сказал бы в этом случае Андрей Битов, женщиной мягкой, утонченно-интеллигентной, способной окружить любимого человека теплом и заботой, создать ему Дом и Очаг.

До той поры у Сушкевича такого Дома и Очага никогда не было. В юношеские еще годы его женой стала Надежда Николаевна Бромлей, дама эмансипированная, умная и острая на язык, склонная к эксцентрике в жизни и на сцене (она тоже была актрисой и режиссером Первой студии), к тому же дама литературная, автор сборника запоздало-символистских рассказов и странных полуграфоманских, как будто переведенных с неведомого языка пьес. Одной из них, "Архангел Михаил", впрочем, заинтересовался Вахтангов (правда, как утверждали злые языки, гораздо больше его увлекал автор...).

...Я встречался с Надеждой Николаевной Бромлей раза два или три за несколько лет до ее смерти — в старой, типично петербургской, захламленной квартире, недалеко от набережной Фонтанки. Каждый визит обставлялся как ритуал или явка. Предварительный звонок за день-два до встречи. Затем условный сигнал (четыре звонка) у входа, и мне открывала некая домработница или приживалка. Постучав — тоже несколько раз — в закрытую дверь, она вводила меня в полутемную комнату, посреди которой в глубоком кресле восседала Н. Е. — всегда в облике "пиковой дамы", но не пушкинской, а скорее из Чайковского где-нибудь в провинции.

Она уже была на пенсии, из дома не выходила и, как потом мне

стало известно, страстно увлекалась фотографией. Сфотографировала она в первый же визит и мою, совершенно ошалевшую от этого приема, тогда еще юную физиономию, добавив при этом: "У вас честное лицо!.."

После ее смерти десятки альбомов с фотографиями, вместе со всем ее архивом, перешли в собственность ленинградского Театрального музея, где я тогда работал. Своего изображения среди прочих великих и малых театроведов я не обнаружил — то ли Н. Н. не успела проявить пленку, то ли усомнилась относительно меня...

Конечно же, она была уже психически больным человеком. Долго и утомительно рассказывала, как ее, работавшую в начале 50-х годов все в том же Новом театре, пытался отравить возглавлявший его тогда опальный Н. Акимов. Оживилась Н. Н. лишь однажды, когда я робко (тайну я уже знал) упомянул спектакль "Перед заходом солнца". "Я его не видела, — отрезала она, — ведь там играла э т а женщина..."

Ради "этой женщины", ради Ксении Владимировны Куракиной, сумевшей, пусть ненадолго (так распорядилась судьба) вернуть его к счастливым временам, Сушкевич и поставил пьесу Гауптмана, сыграв в ней главную роль. И в этой добротной, но, может быть, излишне, по-немецки глубокомысленной драме подчеркнул "вторичный", по советским критическим понятиям, мотив — любви Матиаса Клаузена и Инкен (в своей драме Гауптман почти навязчиво переносил в современность историю помолвки без памяти влюбленного 74-летнего Гете с юной Ульрикой фон Левецов). Ради этих сцен — Сушкевича с Куракиной — буквально ломились зрители в мало кому ведомый до сей поры, скромный театрик на Владимирском проспекте и на всю жизнь сохранили воспоминание о спектакле.

Вот первая встреча героев: Матиас-Сушкевич появляется в доме Инкен. Какое-то время он молча стоит на пороге. Бледное лицо, безмолвие в течение нескольких мгновений, фигура, словно застывшая в немом вопросе. Клаузен издали смотрит на Инкен, как на святыню...

Куракина-Инкен всей душой помогала Сушкевичу. Своей активностью, цельностью, нетерпеливым и трепетным ожиданием счастья она как бы притягивала к себе Клаузена, заставляя его (а заодно и Сушкевича) отбросить обычную сдержанность, иронию и трезвость. Чего стоило хотя бы ее бесхитростное, лику-

ющее, почти инстинктивное “Наконец-то!” — в ответ на первый робкий поцелуй любимого! А в финале пьесы оба они, Клаузен и Инкен, застывали в объятии, тесно прижавшись друг к другу: “И так — до конца! Будем стоять друг за друга!”

Не следует думать, будто сцены Клаузена и Инкен были главными в спектакле. Пьеса не давала для этого повода, да и сама Инкен у автора вовсе не романтическая героиня Гете, а просто единственный здравомыслящий человек среди всех ее персонажей. Но для Сушкевича было важно, что его любимая женщина все время оставалась где-то рядом, на всем протяжении спектакля, — благодаря этому он словно бы очнулся от долгой спячки, поверил в себя, смог, наконец, высказаться до конца.

В спектакле “Перед заходом солнца” Сушкевич сыграл рекем по Первой студии, по Сулержицкому, по Михаилу Чехову, Дон Кихоту и Менделю Крику, по многим реальным и театральным чудакам, вынужденный рекем по идеалам своей юности и, может быть, по самому себе. Хотя было ему, как я уже сказал, всего 53 года. Но он словно чувствовал, что больше уже ничего не будет. Так и случилось. Спектакль “Перед заходом солнца”, о котором редкие уцелевшие ленинградские театралы довоенной поры до сих пор рассказывают легенды, видели немногие. Вскоре после премьеры Новый театр отправился на длительные гастроли по Дальнему Востоку, где его застала война. Возвращение домой затянулось на пять лет. За это время Сушкевич тяжело и безнадежно заболел. В Ленинград он вернулся на свою старую квартиру, к Бромлей. Вернулся умирать.

“Тогда, летом 46-го года, стояла невиданная жара, — как-то по-особому брезгливо поджимая губы, рассказывала Бромлей (мне, знакомому с ней без году неделя). — А он был такой толстый... Умирал невыносимо долго, и очень мучился, и мучил меня...”

Ксению Владимировну Куракину я хорошо знал и глубоко уважал. Я нередко бывал в ее гостеприимном доме, где вместе с ней жили тогда сын с невесткой, моей сокурсницей и приятельницей. Иногда пытался Ксению Владимировну крайне робко и деликатно расспрашивать... Тогда она сразу же переводила разговор на другую тему. Никогда ни о чем не вспоминала, даже намеком. Хотя о Сушкевиче-режиссере, педагоге, актере, замечательном директоре Театрального института, публично на различных сборищах говорила часто, с восхищением и любовью. И толь-

ко спектакль “Перед заходом солнца” с этих трибун не упоминала никогда.

“Тайну”, фактически, знали все — по крайней мере, весь театральный Ленинград. Но для Ксении Владимировны это не имело значения. Это была е е тайна, е е любовь, е е боль. А что думают или пишут другие — их дело. “Каждый пишет, что он слышит. (Каждый слышит, как он дышит.) Как он дышит, так и пишет...” (Б. Окуджава).

П о с л е д н я я л ю б о в ь М о с к в и н а . В 1944 году Московский Художественный театр поставил пьесу Островского “Последняя жертва” с А. К. Тарасовой и И. М. Москвиным в главных ролях (Юлия Тугина и Фрол Федулыч Прибытков). Выбор этот по тем временам нельзя было не признать неожиданным.

Во-первых, у Островского был в Москве свой постоянный дом — Малый театр, у входа в который он уже много лет тяжело восседал в своем знаменитом кресле. Все иные сцены, даже самые модные и популярные, были для него всего лишь временным пристанищем, случайной остановкой, даже и тогдашний первый театр столицы, МХАТ, у которого, кроме классического “Горячего сердца” в постановке Станиславского, никогда не было сколько-нибудь заметных удач в репертуаре Островского.

Во-вторых (а скорее, во-первых) шла война, и казалось, что зрителям нет дела до страданий молодой вдовы, обманутой любовником и — для спасения его — идущей в содержанки к богатому старому купцу.

Но оказалось, что дело есть. Как в добрые старые времена, у касс каждую ночь выстраивались огромные очереди, и каждый вечер в узкое окошечко администратора Ф. Михальского (Фили из “Театрального романа” М. Булгакова) требовательно стучались фронтовики, прибывшие в отпуск с передовой. А когда Юлия падала перед Прибытковым на колени с рыданием: “Не погубите меня” — а он растерянно бормотал: “Зачем вы себя так унижаете...” — и потом, в ответ на ее благодарный поцелуй, долго и ошеломленно повторял: “Дорогого стоит-с” — в рядах обязательно мелькали давно позабытые здесь носовые платки, и зал тут же буквально взрывался ликующими аплодисментами, когда в финале на него из глубины сцены торжественно шла рука об руку степенная пара — богатый старый купец и молодая красавица.

Зрители не задавались вопросом, хорошо это или плохо, зато

по долгу службы эту проблему вынуждены были решать многострадальные критики. Наверное, впервые на советской сцене купец, капиталист, у которого "один бог — Бюджет", человек, покупающий за деньги молодость и красоту, оказывался героем спектакля, причем по всем объективным признакам — героем положительным.

Некоторые поспешные рецензенты в замешательстве ссылались на Островского — сложный, дескать, характер, где причудливо перемешаны чувство и долг. И характер исконно-русский, народный, может — даже из бывших крепостных...

Сказать о Москвине, что его Прибытков — русский характер, значило не сказать ничего. Трудно было найти в МХАТе и окрест более русского человека и актера, чем Иван Москвин. Недаром ему никогда не поручали ролей в иностранном репертуаре: это было заранее обречено на провал. Даже чеховский Епиходов в его исполнении походил на иностранца... к тому же Москвин в "Последней жертве" не играл ни купца, ни простолюдина — скорее, купца-интеллигента, из тех, кто аплодирует в театре — Патти, а в загородном саду — креолке Кадудже, исправно посещает галерею своего возможного приятеля Третьякова, а в свободное от лабаза и биржи время читает "Русские ведомости".

Актер хорошо знал таких людей, дружил с ними и писал свой портрет Прибыткова с Бахрушина, Щукина, Тарасова и других. (Тарасов, молодой мультимиллионер, один из тех, кто содержал МХАТ, необычайно одаренный дилетант и светский человек, покончил с собой из-за несчастной любви в возрасте двадцати четырех лет.) Москвин встречался с ними и на собраниях пайщиков Художественного театра, и на знаменитых на всю Москву балиевских капустниках, и в отдельных кабинетах любимых ресторанов, где никто из них рюмку мимо рта не проносил...

Но в чем же все-таки была завораживающая магия "Последней жертвы" на сцене МХАТа? Можно сказать, что постановщик Хмелев и художник Дмитриев угадали в позднем Островском... предшественника Чехова — с его полутонами, нюансами и настроениями. Ю. Юзовский писал: "На ясный фон (Островского. — Э. К.) ложатся тени, окутывая постепенно весь спектакль прозрачной дымкой, дымкой поэзии".

Прежде всего, "дымка поэзии", и я добавил бы еще — тайны, окутывала дуэт Прибыткова и Тугиной, Москвина и Тарасовой.

Лишь много лет спустя, в 1982 году, В. Виленкин в своей пре-

красной книге “Воспоминания с комментариями” дал разгадку: “У меня в дневнике есть запись от 22 апреля 1944 года (разгар репетиций “Последней жертвы”): “Вечером разговор с Москвиным в театре: “Работаю я плохо, потому что на душе у меня...” Он в это время был в тяжелейшем душевном состоянии, трагически переживая разрыв с Тарасовой, которая в течение десяти лет была его женой. Иван Михайлович любил ее безумно, самозабвенно. Он так и не оправился от удара, который она нанесла ему своим уходом...”

В том же 1944 году МХАТ торжественным спектаклем “Царь Федор” отметил его 70-летие. “Наверно, в связи с этим юбилеем наступил у него какой-то подъем, — продолжает Виленкин. — Он с удовольствием играл “свои” спектакли. Только “Последнюю жертву” ему было трудно играть; он говорил мне, что иногда заставляет себя выходить на сцену. Рана не заживала”.

Следует пояснить, что реальная жизненная коллизия лишь в малой степени напоминала коллизию “Последней жертвы”. Москвин, конечно, был стариком. Но и Тарасова вовсе не была юной красавицей — в момент разрыва ей исполнилось 46 лет. Но не все следует толковать буквально “по жизни”. Актер такого масштаба, как Москвин, играя Островского, не мог ограничиться трагическим монологом о собственной судьбе в укор Тарасовой. Он играл и Островского, и эпоху, и купца-интеллигента, но все-таки щемящая личная нота преобладала. Это и было “магией”, “тайной” мхатовского спектакля, его поэзией. Надо сказать, что лучшие критики это тонко почувствовали и зафиксировали (впрочем, они не только о многом догадывались, но и многое знали). Снова Юзовский: “Его (Москвина. — Э. К.) взволновала в пьесе истина, которой он хочет поделиться со зрителем ... меньше как Прибытков, больше как Москвин... Лейтмотив его игры — любовь... Не влюбленность — он не хочет казаться моложе своих лет. Но и не “любовь старика”, которая, к слову сказать, не обязательно должна выглядеть “скабрзено” — напротив, она может прозвучать благородно, как п о с л е д н я я л ю б о в ь в жизни человека”.

И еще один мотив, в азарте блестящего анализа упущенный Юзовским, но замеченный двумя другими талантливыми критиками той поры, Г. Бояджиевым и Н. Волковым, — мотив человеческого одиночества, печальная перспектива одинокой старости, неумолимо грозящая герою.

Иван Михайлович Москвин умер в 1946 году, через два года после спектакля, который, следуя его внутренней логике, следовало бы назвать не "Последняя жертва", а "Последняя любовь"...

Чем жертвовала здесь Тугина-Тарасова, понять нелегко. Разумеется, на сцене она откликалась, не могла не откликнуться на отчаянные душевные порывы и призывы Москвина. Все критики, включая любимого мною Юзовского, ее в этой роли горячо и единодушно хвалили. Но тот же Юзовский в статье о спектакле с редкой пронизательностью как бы оговорился: "Образ Тугиной пленяет нас не только благодаря Тарасовой, но и благодаря Москвину. Мы смотрим на нее м о с к в и н с к и м и г л а з а м и".

И нельзя не признать, что взгляд этот полон был высокого душевного благородства. Из той же рецензии: "Он укоряет ее без нравоучения. Внутренне возмущаясь и страдая за нее, он словно хочет, чтобы она разделила это страдание и возмутилась собой. Он поднимает ее в наших глазах в тот самый момент, когда она падает..."

Когда-то Алла Тарасова явилась на сцену в расцвете юности и красоты в ставшем почти легендарным образе гимназистки Финочки из пьесы З. Гиппиус "Зеленое кольцо". В ее Финочку были поголовно влюблены молодые зрители Второй студии МХАТ. Позже, перейдя на основную сцену, Тарасова как-то потускнела, поблекла, ушла в тень, дублируя, в основном, главных актрис театра, например, загадочную Веру Соколову – рыжеволосую Елену Тальберг из "Дней Турбиных", – что было заведомо проигранным делом.

Так продолжалось до 1937 года, до взлета в спектакле "Анна Каренина", сразу же официально объявленного классикой советской сцены. Рассказывают, что Сталин, побывавший на премьере своего любимого придворного театра, был настолько потрясен, что по окончании спектакля ночью, пешком (!), в полном одиночестве (!!) проделал "трудный" и "длинный" путь от проезда Художественного театра до Кремля... Сталин даже немедленно послал МХАТ с "Анной Карениной" на гастроли в Париж, что давно уже ни с одним советским театром не случалось.

В Париже спектакль с треском провалился, но в Москве от этого решено было отмахнуться. Кто зрители-то? Белогвардейцы? Ну, что с них взять...

Естественно, Тарасова сразу стала народной артисткой СССР,

лауреатом Сталинской премии, а затем уже все пошло своим чередом – премии, ордена, депутатство, звание Героя социалистического труда. Бывшая Финочка, защитница павших духом, стала не только первой актрисой МХАТа, но и весьма агрессивной партдамой, под стать своей преемнице Ангелине Степановой, вдове Фадеева (кстати, актрисе несравненно лучшей, чем Алла Константиновна).

Я застал Тарасову, говоря словами одной из старух Островского, женщиной “рыхлой, сырой”, попросту говоря – удручающе старой, хотя играла она по-прежнему молодых героинь: ту же Анну Каренину, на сей раз в фильме-спектакле, или Марию Стюарт в трагедии Шиллера. Играла она (по моим личным впечатлениям) настолько фальшиво, манерно, истерично, что бедный Станиславский, будь он жив, наверняка сорвал бы свой могучий голос, непрерывно выкрикивая с режиссерского места сакраментальное: “Не верю!”

Потом случилось нечто неожиданное. Когда после смерти Тарасовой, вскрыли ее завещание, оказалось, что она всю жизнь тайно верила в Бога и просила похоронить ее по православному обряду – с отпеванием в церкви, что и было сделано к великому смущению властей. Надо, однако, отдать им должное – смущались они недолго и похоронили Тарасову не на Новодевичьем кладбище, что ей явно полагалось по рангу, а на гораздо менее престижном (подумать только, и кладбище может быть престижным?!) Немецком. Отомстили, так сказать, за измену. Достали за гробом...

Однако в конце этого печального рассказа уже как-то не хочется иронизировать и злословить. Последним признанием Алла Тарасова просила у Бога прощения за многие грехи свои. В том числе – и за ту смертельную душевную рану, которую она нанесла Ивану Москвину...

М а с т е р и е г о М а р г а р и т а. В стихотворении “Мейерхольдам”, посвященном близким друзьям, Всеволоду Эмильевичу и его жене Зинаиде Николаевне Райх, Пастернак писал: “Так играл пред землей молодою /Одаренный один режиссер, /Что носился, как дух, над водою /И ребро сокрушенное тер. /И протискавшись в мир из-за дисков /Наобум размещенных светил, /За дрожщую руку артистку /На дебют роковой выводил...”

В этих строчках уже сказано все и обо всем. О том, как Мастер, он же – Творец, создал из собственного, адамова режиссерского

р е б р а Еву-Актрису. О ее неуверенной д р о ж а щ е й руке в его — сильной и нежной. О трагической р о к о в о й развязке, как оказалось, недалеко отстоящей от д е б ю т а.

Правда, Пастернак не был первым прорицателем судьбы Мейерхольда. Еще в 1924 году Булгаков, человек, “преданный МХАТу, но тайно и мучительно заинтригованный Мастером”, писал, опережая хронологию, в повести “Роковые яйца”: “...Театр имени покойного Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского “Бориса Годунова”, когда обрушились трапеции с голыми боярами...”

В сезон 1936—1937 годов Мейерхольд, действительно, репетировал “Бориса”, но завершить эту работу ему не было суждено. Булгаков ошибся на роковое число 13 (официальная дата гибели Мастера — 2 февраля 1940 года) ...

Впрочем, об этом, как и многом другом раньше и лучше меня написали М. Каганская и З. Бар-Селла в книге “Мастер Гамбс и Маргарита”, жанр которой можно — произвольно, конечно, — определить тоже, как “театральный роман” — театр в литературе или литература на театре: игра, условность, импровизация, мистификация, розыгрыш, даже капуста. (Думаю, многие страницы этой книги мог бы читать с эстрады Сергей Юрский...)

...Впервые Мейерхольд появился вместе с З. Райх на занятиях своей режиссерской студии (с жутким названием ГВЫРМ) на Новинском бульваре. Было ей тогда 28 лет, на двадцать меньше, чем Всеволоду Эмильевичу. Ученики Мастера запомнили ее “преlestные, как вишни”, глаза, “матовую кожу” и то неуловимое свойство, которое сегодня легко именуется “секс-апиальностью”, а тогда называлось более поэтично — “абсолютной женственностью”.

Мейерхольд любил Зинаиду Райх страстно, беззаветно, самоотверженно. Эти “надсоновские” слова кажутся неприменимыми по отношению к театральному революционеру и ниспровергателю основ. (“Пышноголового Мольера сменяет нынче Мейерхольд. Он ищет новые дороги, его движения грубы. Дрожи, театр старья, в тревоге, тебя он вскинет на дыбы!” Э. Багрицкий.) В театре Мейерхольд был действительно груб, жесток, мнителен, коварен, мстителен, деспотичен. Но в любви он оказался нежен, доверчив, деликатен, отзывчив.

“Мейерхольд был целомудренным человеком”, — пишет лучший знаток его творчества К. Рудницкий.

В его жизни были три женщины: первая жена Ольга Мунт из домашней Пензы, юная актриса Александринского театра Нина Коваленская (игравшая Нину в "Маскараде"; роман мимолетный и, как утверждали, платонический) — и Зинаида Райх.

Всеволод Эмильевич был ей поддержкой и опорой в дни тяжелой депрессии после разрыва с Сергеем Есениным; он воспитал ее детей от этого неудачного брака — Костю и Таню (Константин Есенин стал инженером и известным в спортивных кругах футбольным статистиком; Татьяна Есенина — журналистка где-то на периферии, автор, возможно, памятной кому-либо занятой повести "Женя — чудо XX века", напечатанной в "либеральные" времена А. Твардовским в "Новом мире"); он даже опекал уже постоянно пьяного к тому времени и невыносимо истеричного Есенина, который часто навещался в дом Мейерхольдов (не знаю, почему, но уж во всяком случае не ради детей; скорее всего, спасаясь от одиночества). Наконец, Мейерхольд, подобно Пигмалиону, сотворил из Зинаиды Райх Актрису.

Но и она дала ему очень много. Александр Гладков, бывший секретарь Мейерхольда, а впоследствии драматург, автор прелестной романтической комедии "Давным-давно" и незаурядный мемуарист, вспоминает мудрые слова, сказанные ему однажды К. Гольцевой, племянницей и ученицей Мейерхольда: "...Если бы не было в жизни Всеволода Эмильевича этой огромной, всепоглощающей, страстной любви к ней, то он давно превратился бы в усталого и равнодушного старика. Поверьте мне, перед встречей с Зинаидой Николаевной, в начале 20-х годов, он казался старше и дряхлее, чем сейчас, спустя пятнадцать лет. Я видела своими глазами чудо этого омоложения. Если бы не оно, то, может быть, не было бы "Рогоносца", "Леса", "Ревизора", "Дамы с камелиями"... "Я сам, — добавляет мемуарист, — множество раз видел, как "молодел" Всеволод Эмильевич при Зинаиде Николаевне, какую тонизирующую силу влияния имело на него ее простое присутствие рядом..."

Красоту Зинаиды Райх не смог уловить ни один из снимавших ее фотографов. Вениамину Каверину, впервые увидевшему ее в Ленинграде, она "с широко расставленными глазами, соотнесенная сперва с собой, а уже потом со всем остальным человечеством, но легкая", показалась красивой невероятно. Молодой поэт Борис Корнилов, нередко бражничавший со своим приятелем

лем Ярославом Смеляковым в открытом московском доме Мейерхольдов, посвятил Зинаиде Райх стихотворение "Соловьяха" (помеченное 5 апреля 1934 года, через две недели после премьеры "Дамы с камелиями"). Не думаю, что это, слишком уж посенински надрывное и нарочито "по-деревенски" фамильярное стихотворение могло ей понравиться...

Но зададим себе лучше другой, главный вопрос: была ли Зинаида Райх выдающейся актрисой? Изначально, по всей вероятности, нет. Но Мейерхольд силой своей любви, вдохновения и режиссерского педагогического гения помог ей достичь определенных высот мастерства. Игорь Ильинский, по-женски ревновавший Мейерхольда к Зинаиде Николаевне, через много лет в книге "Сам о себе", скрепя сердце, признал, что в конце концов она стала актрисой "не хуже других". Следовало бы, скрепя сердце, написать честно: лучше многих других.

Конечно, в этом смысле постоянному сопернику Мейерхольда по мировой славе А. Таирову "повезло" больше: его женой и первой актрисой Камерного театра была Алиса Коонен. Но разве в этом дело? Мейерхольд, подобно Несчастливцеву из пьесы Островского "Лес" (один из эпизодов которого в постановке Мейерхольда так и назывался победно: "Актриса нашлась!"), захотел найти Актрису и уверился, что нашел ее. Этой уверенности хватило на двоих.

Ради Зинаиды Райх он пожертвовал поистине великой актрисой своего времени и своего театра Марией Бабановой, ради Райх он не терпел у себя ни одной мало-мальски способной конкурентки. Почти во всех постановках Райх оказывалась в центре. Он отдал ей несравненную роль Бабановой в "Великодушном рогоносце", когда та вынуждена была покинуть ГосТим. Райх была героиней "Леса" (Аксюша), "Горя от ума" (Софья), даже... "Ревизора" (Анна Андреевна). Неугомонный Виктор Шкловский дал своей рецензии на этот великий спектакль Мейерхольда язвительное название "Пятнадцать порций городничихи", имея в виду ее почти постоянное пребывание на сцене, непредусмотренное Гоголем, — за что Мейерхольд незамедлительно и публично обозвал Шкловского "фашистом".

В своем неистовом желании выделить Зинаиду Райх, где можно и нельзя, Мейерхольд порой доходил до курьеза и нелепости. Вот один из таких эпизодов в описании Рудницкого. Мейерхольд ставил мелодраму А. Файко "Учитель Бубус" (1925). До премьеры

оставались считанные дни, и Мейерхольд уже начал устанавливать свет. Когда во время большого монолога Бубуса режиссер осветил не Ильинского (исполнителя заглавной роли), а Стефку-Райх, безмолвно проходившую в глубине сцены, актер взбунтовался, на полуслове прервал монолог и дерзко спросил, не считает ли Мейерхольд, что в данном-то случае надо бы направить свет на Бубуса. "Не считаю", — безапелляционно возразил Мейерхольд. В тот же день Ильинский подал заявление об уходе... Он еще не раз уходил и не раз возвращался, но неприязнь к Райх пронес, что называется, через всю жизнь...

В 1934 году Мейерхольд поставил забытую и даже, можно сказать, высокомерно презираемую к тому времени мелодраму А. Дюма-сына "Дама с камелиями", с юношеской отвагой и безрассудством отдав Зинаиде Райх роль Маргерит, в которой прославились Сара Бернар и Элеонора Дузе. Этот удивительный по тем временам спектакль вызвал мрачную газетно-журнальную критику и грубую брань бывших соратников Мейерхольда по "Театральному Октябрю". Один из рецензентов, Д. Тальников (Моментальников из "Бани"), просто процитировал слова Дюма-сына о директоре парижского театра "Водевиль", который сперва не хотел ставить пьесу, но потом "нашел там роль для своей жены и принял ее".

Но не все были так откровенно прямодушны. Вс. Вишневский, никогда не грешивший чувством юмора, на сей раз превзошел сам себя. На страницах "Литературной газеты", в обширном "подвале", он утверждал, что "спектакль асоциален", и перечислял, что Мейерхольдом в "Даме с камелиями" упущено: парижские коммунары, гарибальдийцы, Тьер, Гюго, создание Первого Интернационала, "Марсельеза", чернокожие сыны Франции, ожидающие освобождения...

Зато зрители буквально валом валили. Достать билеты было труднее, чем во МХАТ, тогда еще сохранявший былую славу.

По своей непоколебимой привычке Мейерхольд мистифицировал критику и власти, пуская "дымовую завесу". То он заявлял, что собирается превратить буржуазную мелодраму Дюма-сына в трагедию, чуть ли не в мистерию, то обещал разоблачить "все-ленский разврат" безнадежно уходящего старого мира, а на одной из публичных репетиций (который очень любил давать) изрек явно на публику: "Я хочу, чтобы побывавший на нашем спектакле пилот после лучше летал бы..." Летчики тогда были

в моде: Чкалов, Громов, Коккинаки... Но какое отношение они имели к мелодраме о "падшей женщине", сказать трудно. Впрочем, Мейерхольд в советские годы говорил и куда более ужасные вещи.

Интересно другое. Может быть, впервые в своей режиссерской биографии темпераментный и злопамятный Мейерхольд никак не реагировал на критику. Он был неколебимо уверен, что "Дама с камелиями" — одно из его самых совершенных творений. Рудницкий пишет: "Известно, что в театре его ~~всегда~~ называли Мастером. "Мастер сказал... Мастер решил..." — так повелось с давних пор, и Мейерхольду это нравилось. Но мастером в полном — до самоограничения художника, до обуздания экспериментатора — смысле слова он стал только в работе над "Дамой с камелиями"..."

Постановка была откровенным моноспектаклем Зинаиды Райх. Все здесь — от декораций и костюмов до света и мизансцен — служило тому, чтобы оттенить и подчеркнуть ее красоту, а когда надо — прикрыть, увы, недостаток у нее подлинной трагической силы и темперамента. Остальные исполнители были, по существу, статистами. Когда Мейерхольду вдруг померещилось, что М. Царев в роли Армана, любовника Маргерит, стал "срывать" не меньше аплодисментов, чем героиня, он, не задумываясь, заменил его молодым мало кому ведомым актером Снежкиным, не поленившись переманить его из другого московского театра для этой единственной роли.

В одном Мейерхольд обманул зрителей и даже критиков. Он действительно превратил мелодраму в трагедию. Смерть Маргерит Готье в исполнении Зинаиды Райх потрясала зал не меньше, чем у ее великих предшественниц. "По пьесе Маргерит, угасая, говорит: "Ты видишь, я улыбаюсь, я сильная... Жизнь идет!" У Мейерхольда она с этими словами вдруг вставала из кресла и, обеими руками ухватившись за штору, открывала окно. Яркий солнечный луч освещал комнату. Не выпуская конца шторы из правой руки, Маргерит опускалась в кресло спиной к зрителям. После долгой паузы левая рука ее падала с подлокотника и повисала как плеть. Так Мейерхольд фиксировал мгновение смерти". (К. Рудницкий.)

Ощущение "рокового" финала не оставляло Мастера.

Символично, что известие о закрытии театра совпало с очередным (оказавшимся последним) представлением "Дамы с каме-

лиями". Зал, все уже знавший, после каждого акта овациями вызывал Мейерхольда, но он не выходил, не желая превращать спектакль в демонстрацию сочувствия. Когда в последний раз опустили занавес, Зинаида Райх тут же на сцене потеряла сознание.

Что было дальше — более или менее известно. Короткая передышка у Станиславского, с редким благородством приютившего у себя в Оперной студии бывшего ученика; почти ежевечерние визиты Пастернака; отчаянно-откровенная и предельно честная речь на Всесоюзной режиссерской конференции 1939 года и чуть ли не сразу после одного из ее заседаний — арест.

Конец Зинаиды Николаевны Райх был страшен. Вскоре после ареста Мейерхольда переодетые "энкаведисты" или нанятые ими уголовники ночью ворвались в ее квартиру, инсценировав убийство с целью ограбления. Эти "исполнители второстепенных ролей" по своей звериной жестокости могли бы сравниться разве что с палачами Освенцима. Беззащитной, слабой, измученной 45-летней женщине выкололи глаза, нанесли множество ударов ножом в спину...

Много и многое приходилось мне читать о Мейерхольде и самого Мейерхольда, но каждый раз у меня физически сжимается сердце, когда я перечитываю короткую записку, отправленную Мастером своей Маргарите незадолго до Развязки:

"Дорогая, горячо любимая Зиночка! Мне без тебя, как слепому без поводья. Это в делах. В часы без забот о делах мне без тебя, как незрелому плоду без солнца... Когда я смотрел 13-го на сказочный мир золотой осени, на все эти ее чудеса, я мысленно лепетал: Зина, Зиночка, смотри, смотри на эти чудеса и ... не покидай меня, тебя любящего, тебя — жену, сестру, маму, друга, возлюбленную. Золотую, как эта природа, творящая чудеса. Зина, не покидай меня!..

15 октября 1938 года. Горенки. Всеволод".

ЛЮДИ И КНИГИ

Б. Камянов

О ЧЕМ СТУК, или ХАЛТУРА — МОЕ ремесло

*(Пародия на перевод романа Раймонда Чандлера "Беда — мое ремесло",
сделанный И. Шамиром; "Время и мы", №№ 90—91).*

*"Но, в общем, не сюжетом, а языком
славен Раймонд Чандлер. Вот его описания:
"...он был неприметен, как тарантула на
бутерброде у ангела".*

(Из предисловия переводчика)

В довольно клево́м городке Арзамас-Сити, где деторождение считалось
разнузданным половым актом, 1 чувиха сказала мне хильявым голосом:

— Суд признал меня невинной. Может ли это остаться между нами?

— Талуй, — ответил я. — То есть, пардон, — зависит.

Мы обменялись эдакими взглядами.

— Почему все не могут оставить всех в покое? — вякнула она, вынула
сигарету из пачки, припиленной к козырьку, и прикурила. — Ты ничто не
про че не секешь, друг. Я думаю, и не просекешь.

— Я человек старый, усталый и бескофейный, — ответил я.

У чувихи было бессчастное лицо. С темно-синей шляпки свисала вуаль.
На ней были перчатки. Два положения казались очевидными: она была в
транзите и никто не встречал ее поезда.

— Я до смерти исхожу, подруга. Хильнем в мою берлогу? — и я борта-
нул ее в свою роскошную машинешку. Мы захлопнули дверцы и откинулись
на спинки сидений — на каждой из них был накинута плетеный коврик: у
меня — для вящей сухости, у нее — для пущей вящести.

Войдя в малину с клево́й вывеской "Эпикур", я подошел к портье и при-
пал вежливым локтем в конторке:

— Ключи от моей берлоги! Усек?

— Ухм. Частично, — и любопытная усмешка появилась на его лице: — Чаво
вы там на холме делали?

— Я думал пофаловаться. А вообще — твое дело 10-е. Мы были на высоте
300 метров. Весь город раскинулся перед нами как на аэрофотоснимке, под
45°.

* Жирным шрифтом выделены прямые цитаты из шамировского пере-
вода. Все особенности стиля бережно сохранены.

Получив ключи, я паснул чуву в ресторан:

— Сначала надо заправиться.

Бармен судачил с мэтром. Зал был лажовый: 30 человек набили бы "Эпикур" битком. Объект слежки — инструктор лыжного спорта с прекрасными блондинистыми мышцами — стоял на трибуне с пол-литрой в кармане (после захвата русскими Арзамас-Сити виски в городе стали выпускать исключительно в 500-граммовой таре).

— Я узнал, что объекта слежки шантажировал человек по имени Ларри Митчелл, — сказал я своей чувихе, схватил стакан, отпил, попробовал на вкус, взвесил в уме и одобрительно кивнул.

Она казалась не в фокусе, ее лицо казалось нарочито маленьким.

— Не хохми со мной, фраер, — прошипела она. — Слишком много нос суешь, м-р Частный Детектив!

— Ты думаешь, что я забыл, где мы были, в затянувшейся книге моих слов? — решил я проверить ее на вшивость. — Застегни рот, подружка! Думаешь, я фраер!

— Ты — клиент, который хочет за слишком мало денег получить слишком много информации. Но если смотреть поглубже, с евреем торговцем приятно иметь дел, — трехнула она, вполне по-арзамасски путая падежей и пренебрегая знаками препинания.

Она была поспешный едок, несмотря на свою болтовню, быстро нахавалась и потянула меня в берлогу.

На своем этаже я постучал в дверь горничной.

— О чем стук? — высунулась шалава. Она лыбилась. В ее комнатке были слышны голоса. Голоса говорили. Меня заинтриговало. — О чем стук? — повторила она, болтая и хмылясь.

— Где Ларри Митчелл?

— Ща гляну под диван, — нагло сказала она. — Че к нему цепляешься? Он — мой старик, и он все равно в натуре.

— Для полного кошера! — хмыльнулся я.

Ее улыбка чуток понервела.

— Коридорные его не видимши, — сказала она почему-то с канзасским диалектом.

— Мы в Арзамасе, а не в Канзасе, дура! — рывкнул я и паснул свою чуву к берлоге, дверь в которую была рядом: две комнаты разделяла лишь жестяная платина.

— Это самый офигенно вежливый город в моей жизни, — услышал я гундосый шалавин голос из коридора.

Мы с моей чувихой сели на стандартный бетонный диван, какие появились в американских отелях после оккупации Соединенных Штатов русскими. Она закурила, а я налил себе виски из пол-литры. Моя голова взлетела кверху, я допил до дна и зарубил сигарету.

— Какого хрена ты куришь? — спросил я чуву.

— Я курю, только когда я особо в депресе. Какое твое собачье дело? Какое собачье дело кого угодно? Ты грязный, низменный шпик. Поцелуй меня.

Я задрал ей юбку и увидел белые бедра над ее длинными ногами...

Главный редактор – Рафаил НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, Н. РУБИНШТЕЙН,
М. ХЕЙФЕЦ, Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА

*заведующая редакцией – Мириам БАР-ОР
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", Р. О. Б. 7045, Рамат-Ган.
Телефон редакции – /03/-394525*

Представители журнала за рубежом:

США: L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805.

ФРГ: L. Roitman, 67 Oettingest. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22.

L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

Великобритания: R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва–Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 50 шек., за рубежом – 40 долл. (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56 долл.), для организаций – 50 долл.

В октябре-январе журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: А. Анер (Холон) – 30 шек., Х. Ботинко (Реховот) – 10 шек., З. Бродзинская (Бат-Ям) – 10 шек., д-р Беленький (Иерусалим) – 10 шек., Н. Байтальская (Нагария) – 10 шек., О. Горнштейн (Бат-Ям) – 10 шек., И. Гольденберг (Бат-Ям) – 10 шек., Х. Иоспин (Тель-Аль) – 10 шек., А. Коган (Петах-Тиква) – 25 шек., А. Карапетян (Кфар-Саба) – 10 шек., Х. Краковский (Тель-Кабир) – 10 шек., М. Козленко (Холон) – 15 шек., А. Лихтеров (Иерусалим) – 10 шек., Я. Лах (Беэр-Шева) – 18 шек., Д. Улановская (Иерусалим) – 20 шек., Г. Шапиро (Иерусалим) – 15 шек., Т. Бешер (США) – 25 долл., Л. Шамкович (США) – 10 долл. Выражаем глубокую признательность нашим друзьям.



Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС", ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив

